

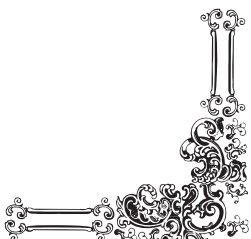
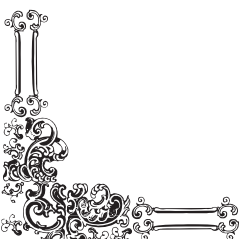


ПЕТРОВСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК И ИСКУССТВ

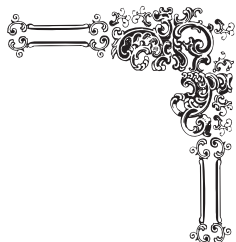
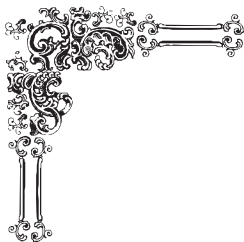
АЛЕКСЕЙ ЯШИН

ТЯЖЁЛО ДЫШИТ СИНИЙ НОРД

Северные рассказы



ТУЛА
«Тульский полиграфист»
2002



Яшин А. А.

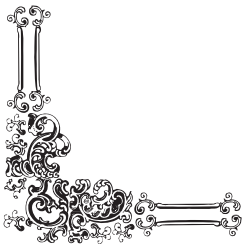
ТЯЖЁЛО ДЫШИТ СИНИЙ НОРД: Северные рассказы.— Тула: Петровская академия наук и искусств (Тульское отделение). Изд-во «Тульский полиграфист», 2002.— 244 с.

ISBN

Каждый писатель рано или поздно обращается к воспоминаниям детства, особенно, если это детство прошло в специфической среде проживания, в данном случае — в Заполярье, в «вотчине» Северного флота. Тема детства есть, прежде всего, формирование характера и мироощущения. Но пишет-то уже совершенно взрослый человек?— Поэтому и само отображение давно бывшего проходит через фильтр современной действительности. Такая вот неоднозначная задача стоит перед автором воспоминаний. Большинство рассказов публикуется впервые; сама же книга суть повесть в рассказах.

© Яшин Алексей Афанасьевич, 2002

© Яшин Алексей Афанасьевич,
оформление, 2002



*Памяти моей матери,
архангельской поморки
Марии Андреевне
Яшиной (Третьяковой)*

ПОСВЯЩАЮ



Тула, весна 1980 года, у родительского дома в Криволучье

ОТ АВТОРА

Читатель, если только он не профессионал литературы или ее преподавание, не любит авторских и иных предисловий; в доброе советское время их иронично именовали «идеологическими предисловиями». Зря иронизировали, очень часто они наставляли читателя на истинное, вечное, ... непременно доброе. Хотя, рассуждая здраво, откровенно и чистосердечно, авторское предисловие — это его, своего рода, «архитектурное» излишество. Просто книга уже написана, а расставаться с темой ох как не хочется! А это именно и есть расставание: написанная книга уже не принадлежит автору; это общеизвестно и неоспоримо.

Каждый писатель рано или поздно обращается к воспоминаниям детства; у некоторых — это лучшие книги: Аксаков, Гарин-Михайловский, Гладков, Чаплыгин... Но и у Толстого, у Горького, кстати говоря, это не худшее из написанного. Так в чем притягательность темы детства? — На этот вопрос полнее и лучше всех ответил Достоевский; он не написал своей трилогии о детстве-юности, но создал величайший роман «Подросток», в котором великолепно вылепил (другое определение трудно подобрать) впечатляющую и психологически полную картину самоосознания себя личностью, причем личностью творческой, хотя только в неясных мечтах и ощущениях, доселе мальчика, ребенка. Это и есть сверхзадача каждого, кто пишет книгу о детстве.

При этом вовсе не обязателен *color local*, но если он есть, то не ставится во главу, хотя и многое дополняет в обрисовке характеров и обстоятельств. Тема Севера всегда приветствовалась в русской, а особенно — в советской литературе: от очерков Короленко, рассказов Мамина-Сибиряка, путевых заметок Немировича-Данченко до чудесных романов, повестей и рассказов Германа, Маркова, Бадигина. В предвоенные годы слово «полярник» звучало адекватно космонавту 60-70-х годов: папанинцы, героические сверхдальние полеты с апофеозом чкаловского перелета через Северный полюс... И здесь же не менее героические стройки северной индустрии, создание Северного флота — самого действующего в Великую Отечественную войну.

Во всем этом принял участие мой отец, Афанасий Андреевич, а реалии 50 – 60-х годов и сам автор этой книги наблюдал воочию. Отсюда и два основных персонажа рассказов; они легко угадываются. Молчалив, скуп на слова был моряк-североморец, а потом маячник Афанасий Андреевич, выросший в старообрядческой семье в калужской деревне. Лишь выпив стопку-другую, вспоминал предвоенные годы, саму войну... Только вот редко ему такое удовольствие выпадало: и на маяках, где жила и работала семья, и по переезду в Полярный — это вотчина Северного флота со

строгим «сухим законом». Тогда дисциплина флотская строго соблюдалась.

Но не только по рассказам отца и матери, архангельской поморки, постигал наш герой-подросток уроки жизни в суровом северном, заполярном крае: свой, личный опыт также немаловажен. Все это читатель и сам почувствует, листая страницы книги. Книга же писалась не в один присест: первые два рассказа относятся к 80-м годам, остальные написаны в две осени-зимы 2000-го и 2001-го годов (Поэтому-то в них чувствуется в авторских отступлениях весь смрад, но и нелегкий оптимизм современной жизни...).

«*Тяжёло дышит синий норд*» — дано название книге. В другом повествовании*, недавно подготовленном автором к изданию, другим героем объяснено: откуда эта стихотворная строчка. Но лучшего названия нам придумать не удалось.

* Роман «Историк и его История».



ДУШИ НА ОСТРОВАХ

♦ Вы жили на Севере? Тогда трудно, может быть, вам будет представить. Для этого родиться там нужно, чтобы вообразить от веку забытую богом землю. Землей-то трудно ее назвать: гранитные, двухсотметровой высоты обрывы берегов. С самой высокой сопки куда ни помотришь — на три стороны только камень, камень, лишь в ущельях, где срастаются основания сопок, видна земля или то, что можно назвать землей: тонкий мазок древнего торфа, лежалой пыли тысячелетних ветров, что со свистом и звериным воем проносятся по извилинам межгорий. Это и есть земля, а вы: поэзия, колорит!..

С четвертой стороны, северной, где отвесной стеной обрываются гранитные скалы, — ужас: каменящий душу ледяной океан. Зимой прибрежное море не замерзает, пересиливает Гольфстримом мороз, но от этого тоже мало радости, любоваться тут нечему: вода-то переохлаждена, кипит и извергает туман, да не простой, а такой, что легкие душит. Адское варево изо льда, замерзающего пара и ртутно-холодной, тяжелой, как паста, густой, воды. А когда ударит снежный заряд, заштормит на месяц — еле еле тлеет жизнь на побережье, жизнь и без того искусственная, единственно возникшая по случайному капризу моря: не замерзать в сорокаградусный мороз. Живых же людей держит здесь удвоенный с половиной оклад.

Но совсем прячется жизнь на продуваемых сквозными ветрами, обкатываемых со всех сторон ледяными валами островах. Ни один отблеск огня не пробивается сквозь туман, снежный заряд, крошечную смесь падающих, вздыбливающихся, разбивающихся в ледяную пыль волн. Только рев и посвист звуковых маяков обнаруживает острова для пробивающихся к портам рыбацких сейнеров и торговых судов — «купцов».

Все население острова — три-четыре семьи — живет чаще под одной крышей: так уютнее и легче поддерживать существование. И как бы ни

плясала, ни грохотала, ни сходила с ума сорвавшаяся со всех мыслимых и немыслимых цепей дикая природа, по издавна заведенному маячному порядку по субботам хозяйки ставят хлеба на под большой русской печи в комнате-пекарне. Это и клуб: женщины не отходят от печи, то и дело приотворяя дверцы и пробуя вилкой запекающиеся корочки пшеничных буханок, поворачивая противни с пирогами. Ах, эти пироги! С чем только их не пекут по субботам матери с наследным мастерством поморок Архангельского и Терского берегов? Ребята притихли на лавках вдоль стен, но зорко смотрят: не опоздать бы и, обжигая пальцы, побыстрее схватить с вытащенного матерью противня раскаленный сладкий пирог или творожную шаньгу и со вздохом проводить глазами отправляемый остывать рыбник — запеченную в хлебном домике трехкилограммовую треску или плоскую, истекающую жиром камбалу. В самом же большом, к ближнему празднику заготовленном рыбнике — распластанная пятнистая зубатка с волчьими клыками. Но еще более влекут руки и источают слюни открытые и на весь противень пироги с засахаренной морозкой, черникой, голубикой и клюквой. Поверх же пирогов — корочка сахарной глазури. Несколько менее интересны пироги с грибами... Попозже, когда пироги сняты, а хлеба доходят, подтягиваются на огонек мужики, все, кроме дежурного, ушедшего в чертовое месиво пурги на маяк в ночную вахту.

◆ Ребята сидят, раскрыв рты, а в них влетают горячие пироги и рассказы, одни занятнее других. Место здесь глухое, одинокое, а рассказы чем страшнее, тем интереснее. Та же сказка на ночь. За окнами, облепленными снегом, — злобное, воющее, черное и дикое, а в пекарне — хлебный дух, банная жара, отблески печного пламени. Маячники — среди них помнящие даже предвоенные годы — не первый десяток лет живут на островах, старожилы побережья. Для них острова, море, вечные шторма — не такая уж серая и одноликая нежить. За все есть зацепка в памяти, а в субботу в пекарне сами собой, без особых усилий памяти и побуждений разматываются воспоминания, быть мешается с небылью. Дети же знают только подхватывают пироги с остывающих противней да ловят ушами рассказы о былом, давнем. Чего только не узнаешь? Многие повидали за свою жизнь маячники, люди с родовой, не в первом колене профессией, привыкшие впятером-вдесятером годами жить на отдаленных островах, при этом исправно, с точностью безотказных часов нести вахты, не спать, не сходить с ума от однообразия жизни и малой комфортности ее.

Помнили старожилы папанинцев, их первую остановку на твердой земле. Всю войну также точно и размеренно несли вахты на маяках. Помнили, а мать говорит, что я и сам смотрел, да от крайнего младенчества не упомянул, как касатки загнали в залив молодого кита и тот, пуская фонта-

ны, добежал почти до Мурманска, но, оправившись от страха, снова уплыл в море. Много чего порасскажут маячники, знай только слушай!

Получается, не такая и бедная событиями жизнь, если человек научился отмечать обычные ее явления даже среди серых гранитных обрывов, ледяного и кипящего холодом моря, раздирающего душу крика чаек. А ведь говорили раньше: только волк тундры — росомаха может здесь жить? Получается — жить можно, если есть что вспомнить и через десять, и через пятьдесят лет.

Да, я помню. О страхе мы говорили. У него, страха-то, глаза большие, разный он бывает: когда тебя напугают и когда сам напугаешь. Две истории хочу вам рассказать, а вы сами решите: сколько оттенков у детского страха?

Еще раз повторю: острова — места уединенные, до семи лет ребята растут, чужих людей почти и не видя. Раз в месяц, а то и реже, по казенной надобности приедет на катере техник, покопается на маяке и опять на катер. Вот и все «чужие». Да и взрослые на островах, что дети становятся.

Как-то раз наслушался я разных историй в субботней пекарне, таких невероятных и страшных, что даже стихла резко, как бывает в тех местах, пурга, осели на землю взвешенные в воздухе хлопья снега, а на небе выступили звезды, включив в центр своей россыпи холодную Луну.

— К морозу,— говорили, расходясь маячники. Действительно, наутро светило низкое зимнее солнце, воздух замер, море успокоилось, а тихий ветерок-поземка срывал с его поверхности плоские, прилипшими тучками бредущие в открытое море густые туманы. Остров — белый платок, накинутый на россыпь снежных камней.

♦ Ловя недолгий дневной свет, каждый, от мала до велика, принялись за свои дела: кто топит баню — на маяках банный день в воскресенье — и носит дрова, другой раздалбливает на озерке промерзшую за ночь пробку. Женщины с ведрами идут за водой, начальник маяка Федоров с помощником торопятся с регламентной работой: меняют шкивы на движке электрогенератора. Федоров спешит, до темноты бы успеть. Отец, свободный от вахты на маяке, засыпает заготовку дрови — кубики нарезанных свинцовых блинов — в барабан ветряка: маленькой ветряной мельницы. Ребята прямо от крыльца дома съезжают на лыжах по пологому спуску в лошину между сопок. Время спешит вместе с людьми.

Отец засыпал дробь в мельницу и пошел на маяк заступать на вахту. Значит, уже двенадцать. Солнце заиндевело, задрожало и очень быстро спряталось. Потянуло с залива сырым холодом, затемнело. Матери выглядывают из форточек и зовут обедать. А тут малец кричит:

— Па, смотри, люди идут!

И показывает пальцем на дальнюю, противоположную оконечность острова. Люди? На острове! Это почти диковинка. Ими могут быть только свои, возвращающиеся из города, знающие час отлива, когда обсыхает насыпной перешеек на соседний остров. А все чужие — техники либо начальство, комиссии с урной для голосования в дни выборов — приезжают на катере со стороны залива. А ведь все маячники дома, в город никто сегодня не ходил?

Федоров сбежал в дом, вынес бинокль, посмотрел и только сказал со значением:

— С ружьями!..

Всплывшим ужасом вчерашних рассказней дунуло на всех: детей и взрослых, даже Федоров, на что мужик основательный, поколебался:

— Бабы, заберите-ка ребят по квартирам, да чтобы по коридору без дела не бегали. Сами тоже! — И жене:

— Клава! Готовь ужин, рыбников принеси, уток со вчерашней охоты разморозь, зажарь, сообрази еще чего...

— Не слишком ли того, Николаич, думаешь? Охотники, наверное, из города забрались,— спросил Гусев, помощник Федорова.

— Ничего я не думаю, а охотников отродясь на острове не помню.

Федоров вроде как опомнился, чего-то еще хотел сказать, махнул уверенно рукой, но и досадливо в то же время. Все-таки ответственность на нем!

Но Федоров явно что-то думал и готовился, а к чему готовился? А к чему готовиться нам, ребятишкам? Все трое мы с братишками забились в темной спальне, накрывшись от разыгравшегося страха одеялом. Как огородились от всех напастей. Оно-то спасет, теплое, на гагачьем пуху.

На кухне мать стучит посудой, ставит ужин на стол отцу, пришедшему с маяка. Тот посмеивается над осторожностью начальника, однако в смехе то есть что-то стеклянное? Мы шепчемся. Проходит неопределенное время, незамеченное, в зимних сумерках безразмерное. Не схватишь: откуда пришло, куда ушло? В нестойкой полудреме узнаем из разговора родителей: Федоров встретил и привел обоих чужаков к себе, устраивает пир горой, даже выставил две бутылки! Это на острове-то! Слышим, как отец облизнул губы и крякнул.

Дрема отброшена, понемногу смелеем и высказываем в коридор, а там уже другие ребята. Федорова жена шепотом прикрикивает на нас, таща бегом к гостям всякую всячину из кладовой. Из полуоткрытой двери начальника квартиры валит папиросный дым, а с ним и смех, голоса мужиков, звон посуды, довольное покашливание. Федоров заливается без умолку, врет веселое, гости хохочут в голос. Наконец, он уводит обоих в вытопленную баню, а те хвалят, не жалея слов, маячное гостеприимство. В

растворенную для проветривания дверь видим: Федорова жена по новой накрывает на стол, ставит жареных уток, рассыпает по тарелкам грибы, пироги, всякой выделки рыбу, даже тарелку с мандаринами ставит! Сын Федоровых Сашка в коридор не выходит, важничает из-за гостей.

В кладовках Федорова шепчет женщинам, что-де сам отослал Гусева в город, пусть, мол, поинтересуются: кто такие? Женщины охают, кудахчут, в который раз загоняют ребят по квартирам. Тем временем с улицы — смех и голоса. Распаренный Федоров с такими же гостями вваливаются в коридор и — прямо за свеженакрытый стол. Хитрит, думаем, Федоров, заманивает, задерживает, вот и ружья чужаков — мол, здесь тесно, ребята бегают — выносит в пекарню и — на ключ! Зовет к себе маячных мужиков. Из-за двери шум, анекдоты, смех. Голос Федорова — веселый, довольный и полный самого разудалого гостеприимства — гремит по всему дому. Но от этого, как нам чудится, притворного веселья на душе страшно невсамделишным страхом. За тонкой дверью, которая не спасет от пули, в темноте спаленки, под пуховым одеялом, тесно прижавшись друг к другу, а старшему мне шесть с половиной, шепчемся:

— Шпионы!

Сколько-то времени прошло? — выглянул из-под одеяла. В квартире тишина, в темную комнату падает ослабленный занавеской свет с кухни, что-то шелестит. Догадываюсь: мать, надев очки, по причине свободного времени пишет письмо сестре в Плисецк. Тишина, чуть потрескивает натапливаемая на ночь печь, за окном — белесая тьма: снова пошел снежный заряд, но уже без ветра. А со стороны коридора все тот же отдаленный хохот, голоса и развеселые крики. Все то же нарочитое веселье, пир без конца и умолку, как пируют в сказках хорошо поработавшие богатыри. И отец не возвращается оттуда, да кто же уйдет от редкого для маяка застольного веселья?

Время идет. Снова под одеяло. Братья размеренно сопят. Заснули, счастливые, а ко мне сон не идет. Временами от тишины, тепла начинает чудиться: смолкли песни, настала секундная тишина, а потом вдруг злые окрики, ругань, выстрелы, взрывы припрятанных гранат. Всюду огонь, женщины с криком бегут, горит дом, дышать нечем, кто-то ломится в дверь. Душно!

Выкарабкиваюсь из последних сил из-под одеяла и ловлю ртом воздух. Уфф! Примерещилось под пуховиком. Вокруг все та же тишина, вдали уже поют нестройными голосами, а стук — это мать задвинула чугунную вышку в дымоходе натопленной печи.

Сердце стучит, но отходит: чуть не задохнулся под одеялом. Лежу, откинув его. Когда же начнется, наконец? Когда же кончится, думаю... Тикают часы на кухне: тик да тик. И вот вроде как в бухте застрекотал мотор.

Катер! Послышались дальние голоса с улицы. Прошипела за окном красная ракета, за ней — зеленая и еще одна — желтая. Условный сигнал: брать осторожно — с оружием! Сразу вслед раздался топот по коридору, крики:

— Руки вверх!

И случилось все-таки, захолонуло сердце холодом отчаяния, от которого нет защиты и спасения. Загремели выстрелы, застрекотал автомат. Крики, стоны раненых. Всполхнула граната, и зашатался дом. Грохотом сорвало меня с постели. Гольшом выбежал в коридор, а в глаза брызнуло ярко и беззвучно, едва успел упасть и закрыть голову ладонями — граната прямо передо мною разорвалась. Бежали люди с катера, дергая на ходу затворы карабинов, а в дальнем конце коридора стоял кто-то огромный и темный и беспрерывно строчил из автомата. Долго и непонятно шел этот бой, а я, распластавшись на полу в тупике коридора, никем не замечаемый, с ужасом ждал и смотрел... И вдруг запылал дом, стало невыносимо жарко, жаром опалило глаза, я рванулся и — проснулся вновь!

♦ Утро. На улице чуть забрезжило, а в спальне включили свет: лампочку без абажура прямо над моим лицом. Братья пыхтели и толкались, играя спросонок в бессмысленную игру. На кухне, уже давно вставшие, разговаривали отец с матерью. Не вставая с постели, выглянул в открытую дверь: отец пил чай, мать что-то жарила на плите.

— Ну как, взяли их? — сорвался на хрип мой голос.

Отец рассмеялся.

— Взяли, взяли,— ответила мать,— в час ночи катер приходил. Обоих в город до дома и подвезли. Спасибо, говорят, маячникам, хоть охота не получилась, зато в баньке попарились и отдохнули. Один-то, слышь, что постарше, зубной врач. Федорову обещал протез безо всякой очереди сделать.

Отец хмыкнул, но уже скорее зловредно, чем сконфуженно: зря, мол, Федоров припасенной к празднику водкой охотников и маячников на дармовщину поил.

Я пошлепал умываться, а субботние байки в пекарне с тех пор слушал вполуха, тем хуже... для пирогов.

Извините, забыл: вы жили на Севере? И никогда не были? Впрочем, это не помешает, хотя и хочется рассказать земляку. Не то, что лучше поймет, нет-нет! — Легче и приятнее будет рассказывать. Вы, ради бога, не обижайтесь. Да никакой обиды в этом и нет. Просто когда говоришь с человеком, с которым есть схожее у тебя, общее, тайное, то даже голос меняется. Словно струна в голосе натягивается, трепещет она, голос осекается на ней, а душа-то собеседника открывается при первом уже замечен-

ном трепете такой струны. И станет он самый размиленный и разлюбезный тебе человек. Всех забудешь в тот час, лишь в глаза ему будешь смотреть не нарадуясь. Уже и струны голоса, души трепещут, встретившись, розыскав друг друга в пустыне расстояний и времен, в песке людских голов различив ту песчинку, что от одной с тобою скалы ветром сдуло и понесло по миру.

И можно час и два говорить а помнится после будет: как год минувший только с ним одним и виделся, говорил, а приятное до сладости вспоминается и день, и два, и три...

Да-да, я помню. О страхе. Я слегка захмелел, видите ли, небольшой сабантуй после работы и с поводом: статью у меня напечатали в очень престижном научном журнале. На английском языке полный перевод в Штатах издается... А на хмельной-то вид все люди одинаковы. Не как инкубаторские курицы, все белые. Нет, в лучшем смысле, в понятии души. Она, твоя-то расслабившаяся и добрая душа, от такого качества и наделяет всех избытком выхлестнувшейся доброты, любви и услужливости.

Вот опять сбился, уже который раз нить разговора упускаю. Нет, я не учитель.

Я вот только что о малом, надуманном страхе рассказал, который по малолетству, почти младенчеству случается. А вот постарше когда становишься — другой уже страх может случиться.

Страх! А что страх? На то и дан человеку: пугать его, но лишь на минуту, на час, на день, ну... много на неделю. А потом обязательно отпустит. Да-да, я вам говорю.

Все мы здесь, вон только дед у буфета,— родились после войны или голоштанными застали, не знаем того страха. И бывшие там рассказывают: страх-то не длится больше положенного времени, вспыхнет и угаснет. А если ужас годами длится, то совсем не означает непрерывного зуда страха. Не один ведь он схватил и держит в цепких лапах человека. Есть и другие чувства в самых лютых обстоятельствах. А тот... вспыхнет, но здесь же и отступит. Иначе бы жизнь была невозможной, люди без конца самоистребляли бы себя.

Страх обязательно отпустит, как только ужас отдалится, либо станет нормой самой жизни.

Где-то есть в голове человека место, куда старается каждый быстрее затолкнуть, упрятать страх, пока не захватил он всю душу и не вверг в безумие. И так устроена человеческая природа, что ужас, страх, боль только сиюминутно чувствуешь. А потом все отбрасывается, убирается в темную кладовку памяти и кладовка накрепко защелкивается, чтобы и помину не было. А иначе что? Не знаете?

Ерунда, водкой он зальешь. Водка малый страх, пусячок выгонит и то

до протрезвления. А было бы то, что воспоминание о пережитом страхе сидело сиднем в душе, в голове, в каждом нерве тела, и человек боялся бы, как стреляный заяц, всякого куста и слова. Большой зуб в петлю загонял!

Странно, но ты всегда должен готовиться и быть открыт для нового страха и новой боли, иначе прожить невозможно. Учился, помнишь экзамены в институте?

Сейчас расскажу, только мысль dokonчу. Об экзаменах.

Ясно, как их сдаешь: за два дня учебник в пять сантиметров толщиной запоминаешь, не зазубриваешь даже, а просто запоминаешь, сознательно, на время. Сдашь, а к вечеру начисто все забудешь и также сознательно освобождаешь голову для следующего заполнения. Так несколько раз за сессию: наполняешь и опустошаешь голову. То же и со страхом: выкидываешь и прячешь его.

Нет-нет, все помню, к этому и веду. Неужели не замечаете? Я об обычном говорил страхе, прямом, непосредственно осязаемом ужасе, что немедля заставляет бледнеть, когда вмиг седеют волосы. А я о детском хочу, прошлом страхе рассказать.

Детей у меня нет? Опыта нет? — Хуже, сам был ребенком. Так вот, опять не о страхе, что сразу в крик, в плач, а о том специальном детском чувстве страха. Он и взрослых не всегда минует. У детей просто чаще случается. Оттого не поймут порой матери: почему ребенок ночью проснулся и заплакал? Ведь не обязательно сон дурной приснился. — То пришел осознанный прошлый страх. Ужас, его причина, прошел где-то днем, не зацепив душу ребенка, живую, не умеющую еще сосредотачиваться, непосредственную, а отложился в той самой кладовке, о чем я говорил. И особенность души ребенка, детской психики в том, наверное, и состоит. Щадя ее, природа человеческая прячет страх до поры, до времени в кладовку и потом лишь выпускает. Не выпустить никак не может, это будет человек без впечатлительности. Выпускает в подходящее время, когда осознание страха менее губительно для здоровья, когда ужас выходит со слезами на материнской груди, на отцовских коленях.

Только такое объяснение и могу дать случаю, что вспомнил, слушая вас.

♦ Как было давно! Хотя и помню до мелочи, но время выжигает в памяти не огажки забывчивости, а осаждаст тот туман, мглу расстояния во много лет, что делают любое, самое яркое и запечатленное воспоминание зыбким. И труднее всего одеть воспоминание в одежду колорита, если хотите — словесного выражения давно прочувствованных переживаний, волнений и бурь души.

♦ Летом на Севере плохо засыпается. Даже уставшие на работе, утомленные дневной суетою, долго ворочаются с боку на бок, пока не поймают сон. Первый час ночи, а солнце не думает уходить за горизонт даже на самую малую толику времени. В полночный час лучи его текут вровень с землей, переваливаются через окно в комнаты, рисуя на стенах решетки оконных переплетов и четкую вязь тюлевых занавесок. От солнца заведывают окна плотными шторами, и только тогда в помещениях умирает вечный день, а наступивший полумрак отпускает в сон измаявшихся в борьбе со светом людей.

А дети? Им вовсе невозможно заснуть. Их на лето укладывают в комнатах без окон, если на счастье родителей такие есть в доме, а чаще в кладовках с маленькими оконцами, завешанными плотной тканью тряпками.

И если взрослые со знанием пользы регулярного сна побеждают вечный свет, убеждая себя, что искусственный полумрак заменяет нормальную ночь, то дети не думают о том: для них все естественно. Если над миром стоит трехмесячный день, зачем же делить его на отрезки действительного светлого времени и выдуманную ночь? А «ночь» эта — лучшее время для своих, ребячьих дел на улице, где нет взрослых и машин, родительских понуканий и толчеи, нет школы и учителей, всего, что осложняет жизнь днем. Родители не в силах удержать их от соблазна воли и с отчаянным: «А иди куда хочешь! Можешь не возвращаться!» — отмыкают двери и выпускают на улицу в час ночи. Не правда ли — дико по здешним местам звучит?

Радость-то! А поспать можно утром; детский сон, сморивши ребенка, не боится света, не выискивает затемненных уголков. А пока — величайшая из детских свобод: на несколько часов им отдан опустевший, спящий город. Им и не мешающим никому парочкам.

Это в соседнем городке. Мое же детство прошло на островах. Представляете? То же солнце, скользящее в час и в два ночи по выпуклой крышке мира и моря там, вдали, на невидимой, на воображаемой составителями географических карт границе прибрежного моря и великого ледяного океана. И густо разбросанные по морю острова: бурые, скалистые с обрывов берегов, зеленые сверху, сплошь белые зимой.

Много островов на выходе из залива в море, но совсем мало живет на них людей: рыбаки, а чаще стоят на островке три-четыре домика, в них столько же семей маячников. Вся их жизнь и работа связаны с проходящими судами. Наш остров двойной, собственно наш, где живем, — поменьше, а рядом, отделенный полусотней метров мелкого проливчика, другой, гораздо больший, и названный Большим. Во время отливов, утром и ранним вечером, вода оттекает с обеих сторон пролива и открывается песчаная дорога между островами. Еще в начале пятидесятых и в полную

воду она была проходимой, насыпанная в войну. На островах установили тогда зенитные батареи для защиты от налетов Мурманска и лендлизовских караванов. По насыпи подвозили снаряды, стройматериал. Но батарею убрали, а монотонные приливы-отливы постепенно и незаметно растащили песок насыпи. Но тем не менее светло-желтая полоса была и осталась дорогой, даже в начинающемся приливе по ней можно перейти с острова на остров, засучив штаны. Летом, конечно, когда вода на мелководье теплеет.

Вечером, ближе к ночи, по всем приметам тихой и теплой, мы, четверо — вся самостоятельная ребятня острова, перебежали, брызгаясь, по залитой морем дороге на Большой остров.

Со стороны, верно, интересно посмотреть: по проливу, зеркалу воды, ломающему скользкие лучи ночного солнца, бегут четверо мальчишек, лишь до середины икр замачивая ноги. Но некому и посмотреть: тихий и светлый мир вымер...

Вы не смейтесь! Это не брод на обмелевшей речке, все же море, зовущееся Студеным. И вправо, и влево от залитого перешейка берега островов быстро разбегаются на закруглениях друг от друга, а десяток шагов от насыпи — настоящий морской залив с невидимым дном; где спят в густых водорослях рыбы и ползают крабы, перекатываются колючие известковые морские ежи, откуда высовывается поглядеть на мир божий усатая песья голова тулени, где с плеском и уханьем прорезают воду стаи касаток. А вода — не парное молоко деревенской речушки, а ртуть холодного моря, и в жаркий июль не теплее нескольких градусов.

...Уже полтора десятка лет не видел того моря, но ощущение холодащей ноги воды, перешеек с песчаным дном, скрытую морем дорогу помню хорошо и запомню, наверное, на все оставленное мне время жизни.

А тогда, как и сотни раз до этого, мы перебежали на Большой остров. Теперь же в памяти как со стороны вижу четверых ребятешек. И говорить буду: они.

Второй остров действительно большой, не наш. Тот за полтора часа по берегу кругом обегашь, а на Большом за это время на всех рысях только что до противоположного берега доберешься.

Но если наш, на судоходном траверсе залива, многолюден: семьи маятников, пост службы связи, — то тот, большой, пуст. Только на противоположной стороне, отделенной проливом от городка на материковом берегу, живут несколько семей. Летом, правда, бродят по острову ягодники-грибники и парочки из города; редко-редко это люди гражданские, все больше матросы с подругами — и те в самоволке. Светлая ночь на Севере устав не отменяет. Дети обедают моршшкой и голубикой, не замечая скучные, в натуре несъедобные грибы. А парочки ищут уединения.

♦ Четверо ребяташек пошли наискосок острова в дальнюю бухту через болотистые площадки меж сопок, сплошь усыпанные перезрелой влажно-багровой морошкой. Излюбленная бухта, ничем не заслоненная от залива. Противоположный его берег чуть виден за плоскостью тихой, зеркально отражающей лучи купающегося солнца водой.

Тишина и дымка, и запахи — терпкие запахи северных ягод, вереска и вороничника на сопках. Сопки торфяной попоной сбегаят к берегу, а берег очерчен полосой выброшенных осенними и зимними штормами обкатанных камней и плавающих обломков: бревен, досок, ящиков. Деревяшки холстами выбелены морской солью и солнцем. Любимое занятие ребят — часами, днями бродить по берегам бухт, выискивая невесть что, принесенное морем. А оно, щедрое, несет все что ни попадя, деревянный хлам всех пород, видов и форм с надписями на всех языках мира, бутылки и большие жестяные банки с испорченным яичным порошком, обрывки сетей и спичечные коробки, пробковые аварийные плотики, спасательные круги с названиями судов и портов: «Kobenhavn», «Norge-Bergen», «Adlermeer aus Lubeck», «БМРТ-2, п/п Мурманск», МБП «Ревущий»...^{*} Тут же промокшие, засоленные навек тюки прессованного сена, ломаные весла и продырявленные шлюпки. И великое множество поплавков с промысловых сетей: целые вязанки пенопластовых шашек с дыркой посередине, нанизанных на пеньковые тросики, большие стеклянные шары темно-зеленого, бутылочно-го оттенка в веревочных сетках-авоськах, кухтыли — металлические полые ядра с приваренными ушками, огромные, как бомбы, понтоны.

Все, все выбрасывает штормовое море...

В бухте разожгли костер из досок, ящиков из-под масла, вина, консервов — из всего, что оказалось поблизости. А после ухнули и пару целиковых бревен в разгоревшийся костер.

Дурачились, лихо пропели «Кирпичики», бросали в сторону лежавшего на море огромного и тускло-красного солнца плоские камешки, считая подскоки:

— Раз блин, два блин, три блин...

Бревна занялись ровным, облизывающим пламенем, начали утомлять тишина, зеркально-неподвижная вода и замершее над морем солнце. Даже в этот полнолуночный час лучи его были во сто крат ярче струй пламени костра, вокруг которого прилегли ребята на постеленных поверх теплых белесых досок телогрейках. Кто-то читал, а кто и прикорнул. Двое тихо разговаривали.

Прошло время. Иногда подтаскивали к костру новый ящик, подпихи-

^{*} «Копенгаген»; «Норвегия-Берген»; «Морской орел из Любека»; большой морозильный рыболовный траулер-2, порт приписки Мурманск; малый буксирный пароход «Ревущий».

вали в пламя отгоревшую доску, бревно, тогда костер разбухал с новой пищей. Кто-то отодвигался вместе с телогрейкой, а кто и оборачивался к огню менее чувствительной спиной.

Представляете это блаженство? И у вас ведь в детстве было подобное? Эта солнечная, тихая до глухоты ночь, блестящее и синее море, нет, именно синее, светлое. Не гомеровское море в романах, те — южные, винно-пенные, зеленые... Синее это море то ли оканчивается вдали берегом или берег прячется в дымке? Бесшумно, как само море, милях в десяти скользит серый корабль. А на этом конце залива — белая окантовка берега, зеленой вороничной одеждой восходящего вверх и горящегося над морем невысокими сопками. Из-за них выглядывают другие, повыше. А на их плоских вершинах, высвечиваемые солнцем, которое само-то ниже сопки, как тоненькие хворостинки попарно колеблются, передвигаются взрослые, занимаясь своей таинственной и далекой от нас любовью.

Не знаю и знать не хочу: так ли хорошо и отчетливо вы помните свое детское счастье... У меня же нет воспоминания более радостного и волнующего душу ощущением прошедшей прелести детства.

Осматривая мысленно всю свою недолгую еще жизнь, кусками вызываю из памяти такие воспоминания. И всюду в них вечная летняя ночь, низкое, сгорающее в топке солнце и неярко сверкающее море со скользящим в дымке серым военным кораблем.

Море, неугасаемое лето, сопки и извивающиеся вокруг них вытянутые узкие заливы и проливы. Как передать словами заложенное веками и возрождающееся в каждом детстве поколения чувство неотделимости от твоего мира, твоего моря и проливов среди брусничных сопки?

Славянская равнинная кровь отца разбавлена материнной — поморской, новгородского смешения прибрежных племен: от угорцев до варяжского племени русь. Темна история каждого рода. Не потому ли детские впечатления есть осязания этой земли, скал и моря, накопленные сотнями раставших без следа и памяти поколений...

Радость детства. Твои запечатленные картины невещественного счастья вечно со мной; сейчас, позже, и встанут перед глазами уже отжившего свое. Бессильные, со вспухшими венами, изуродованные старостью и крестьянской наследственностью руки вздрогнут, задвигаются губы, выкатится слеза отраженного воспоминания и запрыгает по морщинам сухой бугристой кожи.

...Отжившее положенное живому и разумному созданию природы. И тогда вспомню, как сейчас, это солнце, море, костер и тишину скользящего вдали серого корабля. Не люблю грядущей старостью, а думаю о вечном воспоминании: и прошлого, и будущего.

◆ Подожди, не уходи... с портфелем!? Дослушай же человека, рассказывающего о своем счастье. Тебя-то что ждет? Вечер на продавленном диване. Будешь тупо смотреть в белесое пятно телевизора, а голова зайдется зудом от восьми кружек пива. Потом сидя заснешь. Иди! А вы дослушайте.

Итак, счастье. Нет, то есть я хочу про ужас, страх. Хотя в детстве все хорошо соседствует.

Долежали у костра до того, что солнце заметно подпрыгнуло над морем. Часов, понятно, не было и быть не могло, но по тому, как исчезли парочки на сопках, а по заливу замелькали катера, было ясно: наступает утро, а с ним потянуло в сон. Растащили костровище по берегу и потешались, сталкивая тлеющие с обгоревших концов доски и бревна в воду. С шипением и паром заныривали они и тут же всплывали, мокрые, с черными заостренными носами. Подобрали слежалые телогрейки и побрели в свою сторону. Назад шли другой дорогой, через дальний конец бухты, ближний, однако, к дому. На самом же стыке пологого берега с полуотвесной скалой, воротами бухты, увидели большой, метров в десять, обхвата в два толщиной, ржавый-прержавый понтон с овальным носом и хвостовиком. Похожие штуки часто выбрасывало штормом. Правда, были они либо поменьше — от рыболовных сетей, или побольше — от плавучих мишеней. Такие же — ржавые, позеленевшие, обросшие известью ракушек и лохмотьями морской капусты, — не встречались.

Было ясно, что подняло со дна и выбросило в сильный майский шторм. И хотя они не раз с того времени бывали в бухте, но понтон не замечали, и не удивительно: сюда редко уклоняется протоптанная тропинка, не по пути. Только карабкаясь по почти отвесной скале, здесь можно выйти с берега. К тому же после шторма берег завалило морской травой, под цвет обросшего понтона. Только теперь, когда трава пожухла, высохла и сморщилась, железяка стала заметной, но и теперь только вблизи, волна уложила ее как раз в расселину скалы. И увидеть понтон можно только сверху, с первого приступа, куда мы и забрались в тот раз.

— Смотри, здоровый какой! — увидел Вовка первым и нагнулся над расселиной, высматривая. Остальные тоже нагнулись, рассматривая. Вовка же тем временем, насмотревшись вдоволь, раскачал лежавший на приступке камень пуда в два и столкнул на железяку, угодил в самую середину понтона. Глухо ударившись, камень отпружинил на гранит зажавшей железяку скалы, отприкошетив, и успокоился на прежнем месте, на понтоне, от стенок которого отскочило облачко известковой пыли.

— А что так глухо? — я по опыту знал, как звенит пустой понтон.

— Может, не пустой? — понял меня Сережка.

— Как не пустой? Должен быть пустой, — затвердил. Вовка, — если

только вода не вытекла, на дне ведь лежал, дырявый, а выбросило дыркой кверху, вот вода в нем и осталась.

Мы спустились, цепляясь за трещины скалы, и стали расхаживать по понтону. Вовка же монотонно долбил камнем в одном месте. Я подошел и увидел, что он успел очистить кусок стенки с ладонь размером, вынул из кармана перочинный ножик, раскрыл и, взявшись за лезвие, постучал темляком по железу: отзвук получился глухой и далекий.

— А стенка-то толстая!

— Конечно, толстая. И понтон не маленький, посчитай-ка, метров десять.

Вовка попятился на шаг-другой и начал вновь отбивать ракушечный нарост. Обнаружил, что и здесь звук сильный и звонкий.

— А вот тут воды нет!

— Попал в небо пальцем! Часть вытекла, вот и пустой наполовину.

Действительно, понтон лежал в расселине наклонившись, а место второй пробы — ближе к носу, приподнятому вверх.

А неугомонный Вовка предложил развести костер: вспомнил читанную не раз, валявшуюся дома, без начала и конца затрепанную книжку, где написано про польскую казнь гайдамака, посаженного в раскаляемый на огне медный полый бык, открытая пасть которого исторгает стократ усиленный вопль несчастного.

— Дырка где-то есть, вода нагреется, паром будет выходить, гудеть будет,— объяснил он. Подтащили несколько ящиков, досок, собрали для растопки кучку свисшейся сушеной бересты, сложили под нависший нос понтона и подожгли. Полчаса скучно смотрели, как в огне обугливаются водоросли, лопаются и отваливаются известковая чешуя. Обнажилось ржавое, щербленое въедливой морской солью железо. Скоро оно закоптелось, но раскалиться, конечно, не раскалилось. В напрасном ожидании пришла скука, и костер забросили. Он было потух, но упорный и глупый Витька, пытая, подтолкнул толстенное бревно и закатил в огонь. Перед уходом подурачились, а Вовка огорошил:

— Ребята, а ведь это торпеда!

Подняли на смех, но тут же стало абсолютно все равно: торпеда так торпеда. Ведь старая и пролежала в воде лет пятнадцать с войны, а главное — всех неумолимо потянуло в сон, слипались глаза, в голове стоял сладкий туман полного безразличия. Кто-то вспомнил: читал или в кино видел про такой случай, ребята торпеду или мину нашли. Сам командующий их благодарил. В сон, в со-о-он... Раззевались.

И хотя осторожный Сережка спрыгнул с железины и встал поодаль, метрах в десяти, остальные почему-то развеселились, заскакали по машине, в такт распевая:

— Торпеда, торпеда, подожди до обеда!

Странная веселость, как я понял значительно позже, уже взрослым и умным, была лихорадкой близкой опасности, но явно не осознаваемой. А оттуда, изнутри, лихорадило и опьяняло, и веселил тело, дергая мышцы, холодный, странный бес веселья через силу. Сколько-то минут побегали и попрыгали по железяке, стуча по ней камнями и колотя палками. И вершина веселья: выразили свое детское величайшее пренебрежение, со смехом справили малую нужду прямо на понтоне; конечно, ясным-то умом все полагали: понтон это, понтон, никакая не торпеда! Дальше этого придумать более издевательского для железяки было невозможно, от хохота икалось и сводило катающуюся смешинку в низ живота.

Снова пригнало скуку, а сон увел последний всплеск возбуждения; Вновь раззевались и с тем ушли. Поднявшись на сопку, оглянулись и увидели глубоко внизу, у самой воды бурую сигару, под ее тупым носом неярко попыхивал костер, разгоревшись подтащенным Витькой бревном.

А на другом конце бухты, километром дальше, дымил чужой костер, виднелисьдвигающиеся фигурки ребят пришедших на утреннюю рыбалку из города.

◆ На свой остров перешли по обмелевшему в утреннем отливе перешейку.

Когда вошел в квартиру, стараясь не скрипеть дверью неслышно протопав по коридору маячного дома, то увидел пьющего чай отца — собирався на вахту на наутофон*. Мать и меньшие братишки спали. Отец спросил куда сегодня черти носили. Ответил: ходили на Большой остров, жгли костер, нашли здоровый понтон, со дна подняло и штормом выбросило, весь оброс ракушками и травой, а Вовка говорит — торпеда. Отец, доселе не скрывавший скуки к моему отчету, отставил стакан, насторожился:

— А ну-ка, какая из себя?

Рассказал и даже нарисовал: с хвостовиком, овально-закругленным носом. Сказал, что костер под ней разожгли, били камнями, а звук глухой, как водой залита. Вроде какой бес тянул за язык, даже сон переморгался.

— Костер и сейчас горит?

— Да, там ребята из города. Тоже по дыму найдут наверное,— совсем уж непонятно для чего добавил и испугался: отцово лицо побледнело, он странно на меня посмотрел, как бы сбоку, издали. Поднялся со стула спросил, в каком месте понтон (В Гагачьей бухте с правого края в расселине?), не говоря ни слова, вышел в коридор, постучал в соседнюю дверь — квартиру начальника маяка Федорова. Через тонкую, оштукатуренную доща-

* Тип стационарного звукового маяка.

тую стенку слышался их разговор. Потом Федоров взялся крутить ручку индуктора телефона. Не четко разобрал:

— Комендатура (значит, прямо в город звонил), дежурный? Это с маяка... да, в Гагачей бухте, по всем признакам. Ребята видели, костер под ней оставили, дурни... Ясно. Я прослежу.

Звякнул отбой, вернулся отец, а с ним Федоров. Отец все так же странно — искоса посматривал. А обычно веселый, с прибаутками, нарочито дурашливый Федоров словно и не видел меня. Очень был озабочен. Взял листок с рисунком, рассмотрел, положил на стол.

— Похожа. Немецкая скорее всего.

— Так ближе Кильдина не подпускали, помнится?

— Черт ее знает, может, с торпедоносца, у входа в залив торпедировали караван, а сюда занесло? Впрочем самолетные поменьше... Ну ладно, ты давай на вахту. Маячников предупредить надо.

— Может, в бухту кого послать?

— Катер уже, наверное, вышел.

Хлопнула дверь. Я достаточно разобрал из телефонного разговора, на лбу выступил пот.

Сел у окна — напротив выступ Большого острова, за выступом — Гагачья бухта. Просидел в одолевавшей дремоте четверть часа и увидел заходящий за поворот выступа катер из города. Стало легче на душе, снял ботинки, добрел до постели, лег, не раздеваясь, рядом с братишками, и провалился в закруживший голову сон. Проснулся в полдень; солнце не заглядывало в окна, уже высоко поднявшись над крышей. Дома никого не было. Все вспомнив, я мигом вылетел на улицу и увидел...

♦ Наш дом стоял на верхней точке острова, и сопка, закрывшая Гагачью бухту, была хорошо видна: заливчик бухты, но не тот, с торпедой, а наш, островной, лежал под ногами. Была в этом промежутке еще одна сопка, низкая, с пологими скатами, не мешавшая взгляду. Поначалу увидел все то же, но высоко поднявшееся солнце, снова сверкающее, без единой морщинки море. А обогнув большой, как казарма, наш дом, очутился в толпе сгрудившихся маячников с детьми; они теснились на деревянном настиле-террасе, полупериметром охватывавшем дом со стороны залива, где сопка, закругляясь, спускалась к воде, а жилой этаж дорастал вниз до убегающего каменистого склона еще одним, полуподвальным, где размещались склад и мастерская.

Пришедший с вахты отец, мать с братишками стояли там же. На перилах сидели ребята, и они на меня, и я на них посмотрели одинаково восторженными и многозначительными взглядами. Боже мой! Какая детская, глупая и наивная гордость от сознания значительности своей роли в этом

торжественном и пугающем их, взрослых, происшествии светилась в четырех парах глаз! Не зря же Сережкина мать, услышав из-за сопки Большого острова троекратный предупредительный гудок корабельной сирены, в сердцах, без пояснения причины, вlepилa сыну затрещину, погасившую его восторженный взгляд.

В заливе же, километрах в полтора от Гагачьей бухты, неподвижно стоял серый катер; от него к бухте и обратно неторопливо для дальнего стороннего взгляд курсировала шлюпка. Дважды еще прогудел сторожевик, наступила, долгая бесконечная в ожидании, минутная тишина. Было слышно, как по заливу через острова доносится музыка из города.

Я вцепился в перекладину низеньких перилцев террасы и, повторяя про себя: «раз, два, три... раз, два, три» чуть подпрыгивая, отжимался на опущенных и выпрямленных руках, внимательно глядя на носки ботинок. А зачем?

Ахнула нервная Сережкина мать, я мигом вскинул голову и увидел, как над сопкой, закрывавшей от глаз Гагачью бухту, взлетело белесое, с искорками лопающегося огня, прямое, параллельно лучами вверх пламя, облако-сноп, вслед за этим хлестнуло по ушам, рукам, перилам и помосту, отпружинившему ноги. Не прерываясь, хлест перерос в грохот, а тот раздробился отражением от воды и каменистых сопок на многократные, постепенно слабеющие отзвуки. Из расширившегося и замершего над сопкой облака выпали черные размытые ручейки камней и берегового хлама. На общем фоне грохота взрыва залив напротив Гагачьей бухты беззвучно вскинулся узкими, с размахренными пеной верхушками конуса фонтанчиков от попадавших в воду камней. Из-под ближнего сарая выскочила кошка и дико, угловато петляя, опрометью бросилась за дом...

Все вдруг громко заговорили — о чем, не помню, я тогда не понимал, не слышал заложенными хлопком взрыва ушами; слова сочились, как через вату, заглушенные и не связанные друг с другом. Только Вовкино: «Вот рвануло! Сила!» — разобрал и запомнил четко. И не совсем твердо, уже ввечеру того дня помнил, как; вместе с ребятами шел от дома в сторону взрыва, хотя сам же с жаром утверждал, что так скоро нас не пропустят на Большой. Но прекрасно помню не словесное, — зрительное, как из-за сопки после взрыва выкатилась медленная сглаженная волна, глянцевито отсвечивая на солнце, как сплющивалась и округлялась, подбегая к сторожевику, и тот игрушкой закачался на ней...

С полчаса мы просидели у перешейка. Над заливом прозвучал сигнал отбоя, а мы, перебежав залитую дорогу, скорым шагом с перебежками направились к Гагачьей.

Ничего удивительного в бухте не произошло, просто торпеды и след пропал. Расселина, зажавшая ее, не пострадала, взорвать эти гранитные

скалы можно было разве что атомной бомбой. Показалось, правда, что скалы расселины чуть побелели, как будто известью полили, да еще сразу около воды, у самого берега, слегка срыло гальку и расчистило от нанесенного морем плавучего хлама.

Вовке же показалось нечто большее, что он нашел на приступке, где мы стояли, кусок торпедной обшивки, но, вывернув из земли, поняли, что заржавленная и позеленевшая железина лежит в торфе не менее десятка лет. Побродив по бухте, вернулись на свой остров с лихорадящими щеками, но домой пришли к вечеру. Домой же в тот день велено было явиться не позже десяти часов. А дома ждал странный сюрприз: наряду со строгим внушением никогда более на версту не подходить к незнакомым железкам на берегу, было сообщено, что-де Федорову звонили из города. Благодарили за бдительность, но понтон-то оказался отнюдь не торпедой, а ее макетом, то есть по сути обычным понтоном с двигателем; их использовали для имитации отражения торпедных атак надводными кораблями. Такие штуки достаточно легки, вот и выбросило штормом.

От греха подальше и ложных тревог, а заодно уж и потренировать минеров, под него заложили пару толовых шашек с расчетом, что взрывом напроць выбьет из расселины и выбросит в море. На том и аминь!

А вот собственно о страхе. В тот день его не было, только гордость, возбуждение, болтовня, а до страха не хватило времени. Самое удивительное, что развенчание торпедной легенды никак не успокоило, именно отсюда начались ростки страха. Ну, да психологи это очень бойко могут объяснить. Пришла ночь, сон. Страха опять или все еще не было.

Снился взрыв, волна на воде и качающийся игрушечный сторожевик. Прошло несколько дней, с ними ушла, убежала острота ощущения, остался лишь сладкий ужас воспоминания: что, если то был бы не учебный макет торпеды, а сама она, настоящая, смертоносная? Но не было ведь во мне страха! Того, что был где-то упрятан во мне с момента, как побледнело лицо отца, быстро взглянувшего на листок с рисунком и, ни слова не говоря, несоразмерно со своим ростом, маленькой кухней и ранней утренней тишиной, почти что выбежавшего в коридор...

Был страх, выплыл из тайных задворок памяти, откуда и следовало выйти, где природа живого цепко держит чистую память и делает ее козырной картой чувственного в человеке. А все-таки не помню первого явления страха. Может, он медленно просачивался и постепенно затоплял душу? Мне это неведомо, как неведомы и куда более ясные причины вещей. Или потому, что пароксизмы того страха я впоследствии ощущал не раз? В снах, гораздо чаще и страшнее — наяву, в самые разные моменты жизни?

А может, и потому нетвердо помню первое явление страха, что есть

свойство человеческой памяти хранить, конечно, не сам страх, я уже об этом говорил, а фиксацию, отметку его появления, не первое видение страха, но последние отголоски, оттесняющие начальные страшные проблески... Наверное, так и есть.

И вот момент, когда ОН выплыл в сознание, посреди совсем других слов и мыслей. Я внезапно четко представил, как стою на торпедо и монотонно толку камнем тупой овальный нос. В полуметре горит костер, пламя разделяется носом надвое и вновь смыкается поверху.

В огне, под ногами, под ударами булыжника полтонны взрывчатки. И представился сам момент взрыва: задрожал и рухнул оземь небосвод. В белом рвущемся пламени меня вдавило, размазало по скале, а воздух хлестко сбил с камня ветхие пепелинки моего бывшего тела.

Небо закрылось облаком белой пыли, в ней перемешались с прахом обгорелые ворсинки одежды, а облака пронзилось, как метеорным дождем, поднятыми камням и раскаленным, измельченным железом корпуса торпеды.

Отзвук взрыва оттолкнулся от прочищенных, сглаженных скал расселины и упал на воды, выдул крутой и страшный вал и, раскачивая глубь моря, побежал к замерзшему настороже, перепутавшемуся со временем игрушечному кораблику.

Что от меня осталось? Горстка пыли, рассеянная в облаке взрыва, обгорелые ворсинки одежды, обугленная пыльца только что живых клеток? Звук взрыва на десятков-другой километров отнес и мой упрощенный, искаженный облик: глухой, ничтожный, невыделимый на фоне грохота шлепок тела о размазавшую, стершую его скалу.

♦ Вот когда пришел страх: посреди дня. Хрипнуло в гортани, язык прилип, тяжестью распластавшись по нёбу. Холодом дуло в низ живота — до смехоподобной сладкой щекотки, и холодным ветром оттянуло со лба волосы, руки повисли, тело утратилось в своей невесомости... На миг страх все выгнал из головы. Это и было явление запятанного ужаса. Потом легкие резко и быстро, со всхлипом, втянули воздух. Только холодило корни волос над потным лбом и по-прежнему сладко-приторно тянуло низ живота. Страх схлынул, отторгнутый спасительной мыслью, вновь спрятался в темном чулане памяти.

Спасение в том, чтобы хоть на короткое время убить память об этой мысли, тогда ходы чуланчиков и пещер запутаются меж собою, и страшный зверь памяти об ЭТОМ снова долго-долго не найдет дороги, пока игра ума не вытолкнет его вновь по эту сторону темного лабиринта.

Как только возникало страшное видение, я бежал к людям, без причины смеялся и лихорадочно болтал глупости, много ел и пытался заснуть с

громко включенным приемником. Только не оставаться с мыслью наедине после видения страха, отгонять его чужими голосами, едой, беготней и смехом.

Сейчас же, по прошествии столького времени, когда страх по частям вышел в детские еще видения, освободил чуланчик и переосмыслился, я не пожелал бы его никому, хоть это и обычная гипербола... но страха, при котором любая мысль, зараженная и побитая им, мечется и бежит. Такой страх преследует, наверное, и душевно угасающих людей в Бедламе, Сальпетриере и рядовой калужской Бушмановке*.

А во сне легче, во сне страх является в одежде кошмара, не соотнесенного с болезненными воспоминаниями, а потому и менее мучительным. Ночной страх лишь отражается через зеркало чуланной памяти на спящий мозг, как отображаются кривозеркально и другие птицы страха, либо ужаса, либо просто малоприятного воспоминания, залетевшие в чуланчик днем.

♦ Прошло несколько лет. Конечно, все забылось за текучестью дней, малых и больших радостей, невзгод, огорчений и обид. И тогда-то, по прошествии лет, еще раз — последний — страх прощально меня настиг. Опять днем. Все было как в первый раз или тот, который помнился первым? Но все было уменьшено в осязания: и холодок, и звон колющихся скал, и глухой шлепок тел

А ведь время прошлому страху вышло. Все чувственное содержание ужаса выплеснулось уже из спасительного чуланчика, где остался антропологическим сувениром лишь иссохший скелет этой птицы. И его выбросило, наконец, в область сознательного, как напоминание об опыте жизни, как простую регистрацию бывшего страха.

Вернись хоть на миг воспоминание детства: море, качающийся на волне катер и незакатное в полночи июльское солнце, а вдали, у самого горизонта — скользящий по тихой глади купола мира серый корабль!

* Психиатрические больницы.



ПРОГУЛКА С ПЕРЕПРАВОЙ

*Приютный дом мой под соломой,
По мне, ни низок, ни высок...*

Капнист

♦ Историчка Наталья Капитоновна к концу урока совсем зачастила. Ее тоже манило на улицу едва не первый раз за полярную зиму выскочившее из-за низких береговых сопок солнце. Растерянно и неприкаянно висело оно в полуметре над синей, свинцовой водой, прямо в воротах пролива — между пирсами катерников и островом Екатерининским. А тридцать пар ребячьих глаз жмурились на отвычный свет... кроме Сашки Белозерова, накануне проводившего на дому естествоиспытательский опыт по практической химии с самодельным порохом. Поэтому он скучал у окна на задней парте в черных, с прозеленью очках, с истыканной синими точками левой щекой. Было ребятам совсем не до заговора Луция Катилины.

♦ Школьная сторожиха и та увлеклась невиданным три месяца кряду солнцем. Наверное поэтому, услышав звонок, Наталья Капитоновна вроде как мимолетно обрадовалась, но и подозрительно взглянула на свои часики. Класс роем вылетел в коридор. Только четыре отличницы внимательно записывали в дневники указания насчет домашнего задания.

Рядом с раздевалкой задумчиво прильнул носом и щеками к запотевшему оконному стеклу, сам взопревший в ватном, сверх размеру долгополом пальто «на вырост по наследству», мой первоклассник-брат Сережка. Розыскав в давке пальто, подняв с пола слегка притоптанную рыжую, с коричневым кожаным верхом шапку, я схватил вздрогнувшего Сережку и потянул за собой на улицу. Приказал — склонного к ангинам рта не раскрывать: мороз!

Интернат находился в ста метрах от школы, потому взрослым ребятам считалось неприличным застегивать пальто, Сережка же тащился зигзагами, норовя подобрать валяющуюся вдоль дороги дрянь: спичечный коробок с лаковой наклейкой «Мастера Мстеры», половинку от бельевой прищепки или жухлую папиросную пачку. Подцепил и ценную вещь — никелированный колпачек от авторучки высокого класса. На всякий случай я его отобрал, Сережке же дал взамен леденец в обертке.

♦ Славка в долгом ожидании слонялся по интернатской открытой веранде. Он пинал валенком балясины перил, горделиво поглядывал на топающих во вторую смену третьеклассников. Его такая участь сегодня не ожидала. С дороги приметив среднего брата, в который раз со вчерашнего вечера ощутил на щеках стыдливый жар, вспоминая против воли отгоняемое в мыслях, неприятное. Накануне ходил домой к Славкиной учительнице Анфисе Алексеевне, отпрашивал его на субботу с уроков. Дескать, мать домой на выходной велела приходить — шитье на младших примерить. Хотел вчера ее в школе застать, пришел вроде рано, пяти еще не было, но в дверях наскочил на бегущий третий «В». Сам Славка довольно сообразил: отпустили на час раньше, а учительница уже ушла.

Анфисин дом был рядом, но пошел только вечером. Всех интернатских — от пятого класса и выше — послали откапывать от снега школьную теплицу. Зимой в ней жили бродячие коты.

Отыскав квартиру хорошо мне знакомой учительницы — с первого по четвертый сам учился у Анфисы Алексеевны, — разобрался со многими коммунальными звонками, надавил кнопку: вторую снизу.

— Ты ко мне? Что случилось! — Дверь открыла сама Анфиса.

Минуту я путался в словах, пока учительница не уяснила, чего от нее хотят. В мыслях домашней Анфисы, верно, было иное, далекое от моих слов и забот, поэтому она сразу разрешила Славке не приходить завтра в школу. Для вящей убедительности, показавшейся необходимой, я брякнул: заходя сказал директору интерната, что в субботу, еще до обеда, идем на выходной домой. Тот же передал в столовую. Теперь нас по «калькуляции» кормить два дня не будут...

— Ах, да... Ну, конечно, не будут. Хорошо, хорошо, идите. Только теплее оденьтесь. Директору не забудь напомнить еще раз, что уходите. Он, верно, забыл уже?!

...Братья под моим присмотром бодро, охотно принялись собираться. Натягивали под валенки по две пары носок, перепоясывали свои долгополые пальтушки матросскими ремнями с бляхами. Положив в маленький вещмешок белье для стирки, дневники всех троих и взятую позавчера в школьной библиотеке книгу Джека Лондона, навесил сидор на Славку.

Собрался сам было влезть в валенки, но вспомнил, что девчонки их класса (кроме отличниц) подбивали друг друга после уроков идти артельно в кино на новую картину «Я шагаю по Москве». «Север» был на нашем пути, никак не обойдешь его стороной. Подумал, надел самые толстые, материнной вязки длинные носки, на которые с трудом налезли ботинки, что были на размер больше. Оставил ребят на интернатском выходе. Пошел искать директора на хозяйственном первом этаже, но встретил только старшую воспитательницу Беллу Нурьевну, второе по значимости лицо. Белле сообщил: идем на выходной домой. Все трое. Мать велела.

— Вас встретят? Звонил домой? — Нурьевна, даром что молодая, все помнила. С маяком из города есть связь, правда, дозвониться через коммутатор военной части до начальника маяка Федорова было сложно. Телефона я боялся, звонить от непривычки как следует не умел, а теперь и вовсе было незачем. Приходившая во вторник в город мать — кончился чай, а у отца папиросы — наказывала на выходные пока не приходиться. В пролив между островами нагнало льдин, шлюпке не пройти, сами с палками да в отлив еле-еле прошли по осевшим на перешейке льдинам. Обратно подгадали: на гидроотдельском катере подбросили. А еще Нурьевна не знала, что уже с месяц связи нет. На перешейке размыло кладку столба и тот повис на перепутанных проводах.

— Еще померзните, утоните где нито, не дай бог... лучше переждите. Скоро праздник, придем за вами,— говорила мать.

— ...Встретят. Звонил. До свидания, Белла Нурьевна!

— Счастливо, ребята. Уй, как холодно сегодня, солнце как в горах: светит, а не греет. Смотрите, не замерзните.

Нурьевна зябко поежилась в накинута на плечи меховом кожаном пальто и ушла в директорский кабинет на затренькавший телефонный звонок. Была она осетинкой и, как все наши учителя и воспитательницы — женой флотского офицера. В школе же вела географию и историю в старших классах.

♦ Мы вышли из-под теневой стороны интерната. Солнце светило всю, играя на чистом, нетоптанном снегу переливами скачущих зайчиков, потухавших на взрыхленных сугробах вдоль тропинок. Светить и играть ему на сегодня оставалось недолго. Установил ребят на дистанцию — десять шагов после себя, чтобы не конфузили взрослого шестиклассника своими валенками, ремнями с бляхами и сопливыми носами. Миновали школу и «Север». Сеанс должно быть начался, девчонок не видно, поэтому дистанцию сократил вдвое. На тумбе кинотеатра наклеена совсем новая афиша, что-то о концерте ленинградских скрипачей. Из бокового служебного входа выскочил налегке, в одном пиджаке, директор «Севера» Клоп-

фенштейн, перебежал через дорогу в «Ягодку». Это еще с тридцатых годов, как рассказывал отец, знаменитый на весь Северный флот ресторан. Ныне, после введения в гарнизонах сухого закона, «Ягодка» осталась городской столовой с фирменным рулетом из кролика. Клопфенштейн организовывал в школе кавээнны. Старшеклассницы восхищались его лаковыми туфлями, по-актерски подобртыми усиками.

По свежерасчищенным деревянным мосткам, заменявшим в городе тротуары, прошли мимо замерзшего до дна неглубокого озера. По льду, готовя к вечеру каток, спиральными, суживающимися с каждым оборотом кругами бегал грузовик со скошенным скребком. Двое рабочих разворачивали шланг для заливки. У края озера, где начинался Чертов мост, ребята с Корабельной улицы гоняла клюшками рубчатый хоккейный мячик. Один ребенок хныкал, прикладывая краснеющий на глазах снежок к подшибленному носу.

♦ Деревянный Чертов мост соединял Новый и Старый город. Он почти на полкилометра опоясал склоны двух сопок и ложбину, состоял из полутысячи ступенек и десятка площадок-настилов, на которых были даже устроены скамейки для запыхавшихся ходоков. В этот веселый час мост стонал и ухал: «партизаны» — стройбатовцы сшибали слежалый, утоптаный в лед снег. Разбившись по трое на один лом, служивые на счет «раз-два-три» с размаху били тупым концом по доскам моста. Доски пружинили, отстреливая отскакивающий лед.

— Губа по вам плачет! — увертываясь от сверкающих ломов, скользя на зыбких горках ледяных блямб, гаркнул сивоусый мичман, шедший нам навстречу. Узбеки-чернопогонники ухмылялись озорно, делая вид, что не понимают о чем «сундук» кричит.

Все в поту, вползли мы на сопку Старого города, однако остановиться перевести дух было некогда. Потянуло блинным запахом от ближнего к мосту финского домика. Домой! Сердце колотилось. Не от лестничной круговерти Чертова моста, а от наплывшего с блинным запахом скорого видения дома, его тепла, ворчанья матери и разлтанной отцовоy бороды.

Потому-то, истосковавшись по дому, когда море заштормит на месяц, завоет сечка-пурга, я отправлялся в Старый город вроде как в райбиблиотеку, на деле же — ближе к дому. Бродил под вой ветра по единственной улице, а ноги сами несли все туда, на конец города, к берегу, что заканчивался пиреймой — перевозом на Екатерининский остров. В мыслях же велись в лицах самые оживленные разговоры. Мать с отцом вспоминали жите-быте по разным маякам от Ретинского до Седловатого и нынешнего Большого Оленьего. Раз в неделю маячники собирались у Федорова на политзанятия. Ребятыя в этот зимний вечер сидела по лавкам на холодной застекленной веранде общего маячного дома. Играли «в разговоры» и уно-

сились в словесных мечтах туда, где гудят паровозы, сигналият машины, текут большие и теплые реки, а по освещенным улицам идут люди, люди... Это вот главное — людей в их жизни не хватало: дома на острове. В городе же они были только в гостях. Много лет в гостях.

Тяжело заработанное тепло дома, а в мечтаньях о нем — еще теплее. Потому-то плакала мать раз в три года, отводя очередного своего первоклассника в город.

— Как они там с отцом вдвоем-то, без нас?

♦ От мысли пройти коротким путем по верхушке сопки с разбросанными как попало редкими финскими домиками, что именовались улицей героического матроса Сивко, сразу отказались. В последнюю пургу снега навалило по пояс. Пошли по чищенным мосткам главной и единственной настоящей улицы Старого города. Проходя мимо бревенчатого магазина, порывлся было в карманах, проверил у запасливого Славки, но найденных медяков не хватало даже на карамельки. Миновали почту, гражданскую районную больницу, столовую и последний с этого края города дом — халупу деда Мостовникова. Предки бобыля-комья когда-то забрели со своими оленями в лопарский край. Дед Мостовников купал от Вторчермета металлолом, что громоздился сейчас снежными курганами за изгородью из горбылей. Я сбывал ему порой дорогой свинец, содранный с обрубков подобранных у телефонной станции кабелей.

Солнце расплывалось над горизонтом в седом предвечернем мареве. Щеки покалывало туманной изморосью. В самом воздухе чувствовалось некоторое недоумение: мороз не разрешил еще с поземкой: чья сегодня очередь дежурить? Сразу за хозяйством Мостовникова деревянные мостики чередовались с крутыми ступеньками и взбирались через небольшие сопки на береговую скалу, что высоко возвышалась над городом и проливом со всеми его бухтами и пирсами. По гребню прошли, отворачиваясь от сильного верхового ветра. Миновали намертво вделанные в гранит огромные якорные цепи, что ломаным полукругом охватывали груды цементно-каменных глыб. То были остатки взорванного пять лет тому назад поста-мента с вырубленными, метровой высоты буквами — словами Сталина. Вождь побывал в 1933 году в нашем городе, тогда еще Александровске, вместе с Кировым и наркомом Ворошиловым. То было начало Северного флота. Затем по самой крутой, с боковыми извивами лестнице спустились на бревенчатый, обросший по краям льдом, качающийся на небольших волнах, закрепленный на якорях пирс. Воздух густел, синел. По проливу катился клубами из узкого горла туман. Вокруг ни души. Только на противоположном островном берегу с несколькими домиками и метеопостом, бежали с санками двое мальчишек.

— Эй, на пирей-ей-ме-е! — для почина крикнул Славка, — переве-е-е-зите-е-е!

На том берегу взлаяла мелкая собачонка Терентьевых.

— Ишь, смотри, лавкает! — обрадовался Сережка, никак не хотевший отвыкать от детских словечек-перевертышей. Мальчишки посмотрели в нашу сторону, тут же забыли, занялись своим делом. Потом, надсаживаясь, кричал я. Тихохонько подкрикивал Се-режка, склонный к ангинам. Пришлось перевязать ему шарф, закрыв наглухо рот.

На время пришлось сделать перерыв. Со стороны Кольского залива с гудками вошел на внутренний рейд буксир. Пирс запрыгал на откатившихся от буксира волнах. Славка с Сережкой мигом взобрались на трап, там было интереснее всего. Деревянная лестница с пирса на берег ходила ходуном, скрипя на шарнирных болтах. Еще полчаса криков и от противоположного причала отвалила шлюпка-двойка с матросом на веслах и мичманом на кормовой банке. Шлюпка подвалила к пирсу, безусый перводок подтабанил веслами, а мы со Славкой подтянули на себя корму. Мичман спрыгнул на пирс, махнул рукой матросу, подмигнул нам и взбежал по трапу.

— Куда направились, пацаны? — матрос с нарочитой скукой наблюдал, как Сережка в своих неуклюжих валенках, цепляющихся за полы пальто, переваливался в шлюпку.

— На Большой Олений. Домой.

— Ну, поплы... — тут перводок заметил мою радостную ухмылку, изобразил суровость лица, — пошли, ребята. Ты, парнишка, дуй на носовую, да за борт не вывались! Отвечать за вас...

♦ Через десять минут мы поднимались по крутому береговому склону острова Екатерининского. Дальше на острове жилых мест не было. На верхушке береговой сопки стояла метеостанция. Тропинка до нее начерно протоптана. На середине подъема она перешла в неровную полузаметенную тропку. Пришло время заправить брюки в носки и покрепче перешнуровать ботинки, выскребав набравшийся за голенища снег.

Поверху стлалась поземка. Впереди белел, сколько глазам хватало, снег пологого спуска с двумя парами недавно — не успело совсем замести — протоптанных следов. Еще дальше, за полоской темной воды, еле виделся наш остров и только спичечный коробок маячного дома с горошинами хозяйственных построек. Сердце заколотилось, но стуком веселым, не щемящим. На душе так легко стало, что щеки и нос перестали чувствовать, как неприятное, сечку жесткого, оледеневшего, сорванного ветром с наста снега поземки. Гуськом, наклонив лица, упрятав их от жалающего, как оводы, снега, пошли по протоптанным следам; скорее их уга-

дывали, нежели различали. Вскоре угадывать стало нечего: следы свернули вправо к бухте с обрывом. Шли по чистому снегу с корочкой затвердевшего наста, что со стеклянным звоном ломался под ногами. Стекланные корочки набивались за голенища ботинок. В который раз пожалел, что пофорсил, не надев валенки. Можно было ведь и на пирейме зайти к родительским знакомым Сипягиным: переобуться у них — попросить какие нити развалюхи...

Позади пыхтели, проваливались по колено в снег, ребята. Погоревал о валенках, сообразился с обстановкой и первым поставил Сережку. Далее — Славку, сняв с последнего сидор. Сережку наст выдерживал, Славка проваливался на третьем-четвертом шагу, мне бог велел терпеть.

Поземка усиливалась. Со стороны моря, на входе в Колыский залив, набухала нехорошая, иссиня-черная туча. Обещала снежный заряд на суше и шторм на море. Туча летела разлаписто, на глазах все больше и больше захватывала серое пепельное небо, шевелилась по краям, как птича-чудище Кеенгланд, что поедает целиком оленей, хватает одной лапой и уносит к себе в горное логово ошкуев*. О птице Кеене рассказывал старшему брату Анатолию последний лопарский сказитель Трофим Лоушкин из становища Еретики. Заезжая раз в год-два домой после очередного списания на берег за неправильное поведение, брат рассказывал что-нибудь из сказок Лоушкина. Сказки, впрочем, все вились вокруг некогда бывшего нашествия шведов на имандрскую лопь и великого побоища у Кандалакши лопарей с пришедшей из Корелы чудью... Других заметных событий в тысячелетней истории лопарей не было. Русские, владевшие краем еще и до них, никого здесь не били. Бог пурги Бодомай и добрый хозяин хорошей погоды Олкан, вкуче с божком Родиеном берегли утлый угорский народец от бурной истории. Анатолий заезжал в минувшее лето. Списали лихого боцмана с линии Владивосток-Шанхай за отсутствие чувства интернационализма. С Китаем еще не закончилась великая дружба. Всем советским запрещалось ездить на дешевых рикшах, а предписывалось пользоваться при необходимости дорогими такси. Брательник же, изрядно подгуляв в кабаке, по широте души нанял сразу тридцать рикш: дать подзаработать братьям-китайцам... И с почетным эскортом прибыл на причал, прямо под трап сухогруза, с которого спускался советский консул.

Прожил он дома месяц, научил ребят бить самодельной острогой камбалу в отлив на песчаном перешейке. По вечерам в десятый раз перечитывал ветхую книжку «Кентерберийских рассказов» с весьма натурными иллюстрациями Доре, а затем уехал в Мурманск. Осенью получили письмо:

* Белый медведь (новгородск.-поморское, бытующие до сих пор в становищах на Мурмане).

боцманит на лесовозе. Забегая вперед, скажу, что приключения его не закончились. В Пирее устроил образцовую драку «команда на команду» с дерьмастыми янки и был окончательно списан на внутренние линии. Плюнув на каботажа, брат пошел на судно бескабельного размагничивания подводных лодок. Впрочем — это тема бесконечная.

...Сейчас же я готов был молиться всем лопарским богам, чтобы они пронесли разлапистую тучу по краю неба. Здесь еще шедший впереди Сережка захныкал. Он додумался, что если нападёт россобаха, то первым слопаёт его. Ни больше ни меньше.

Чуть повеселели, когда пошли обрывистым краем шлюпочной бухты. На берегу ее бог знает с каких времен сохли просоленные, потому не гниющие десятилетиями ребра большой ёлы*. Глинистый обрыв появился прошлой весной. Во время особо сильного майского шторма волны обрушили тысячетонный намыв древнего закаменевшего ила, вынесенного сбегавшим меж сопкок ручьем, некогда и речкой, о чем говорили истлевшие сваи семуужьего забора с остатками мостков — рюриков, с которых русские или норвеги вытаскивали застрявшую в плетне рыбу.

Было от чего повеселеть. В полукилометре, на отмели бухты топтались двое мужиков с ружьями: то ли гаг поджидали, а может выдру караулили. Но мужики беды нам чуть не натворили. Как только поднялись на гребень предпоследней на пути сопки — я уже по пояс в мягком с подветренной стороны снегу протаптывал тропу, — как что-то свистнуло мимо ушей, а со стороны бухты послышался слабый хлопок мелкашки. И снова — свист и хлопок.

— Ложись, ребята! — И сам, как в перину на гагачьем пуху, ухнул в снег. Зарывшись в сугроб, хныкал Сережка. Еще пару раз просвистело. Видел — шнурком вспорхнул снег в полуметре поверх моего носа.

— Да замолчи ты, балбес! Сам же сообразил: городские охотники, разглядев сквозь редкую поземку на гребне сопки рыжее пятно моей злосчастной шапки (ведь упрасивал, упрасивал мать купить кроличью, что все ребята сейчас носят) и не подозревая, что в такую непогоду еще кого-то занесет нелегкая в безлюдную часть острова, впрямь решили, что в снегу резвится россобаха. Ноги в стесненных парой носок ботинках закололо, ждать далее было невтерпез. Пришлось резко вскочить, сорвать ненавистную шапку, замахать ею. Что было голосу, пустил матерком в сторону бухты.

Еще напоследок свистнуло — чиркнуло у ног, но уже мужики пригладелись, успокаивающе сделали отмашку поднятыми вверх прикладами винтовок. Впрочем, пугаться и обсуждать было некогда. Погрозил кула-

* Местное название большой шлюпки, баркаса.

ком, присовокупив словесно, пошел дальше протаптывать снег. Через четверть часа одолели последнюю межсопочную ложину. Оглядываясь, видел только Сережкину голову. Тот уцепился за ремень среднего, а Славка держался за сидор на моей спине.

Солнце, давным давно скатившееся за разрастающую тучу Кеена, спешившую нас пожрать, еще давало какой-никакой свет. Остров наш, совсем близкий, плавал в плотной, с моря и с воздуха, синеве. В окнах маячного дома — уже с папиросную пачку — загорелись неяркие огни. Со стороны моря, на выходе из залива, ударил снежный заряд, тоскующе заныл дальний маяк, затем наш, через десять миль от него, ближе к выходу в море, ответила густым басом «сирена» Седловатого. Загудели, заскрипели, завывли, каждый только на свой, определенный ему лощией голос, все маяки побережья и островов.

♦ Пролив между Екатерининским и Оленьим впрямь был забит льдинами, но уже не сплошняком. В широком месте коридором в пару кабельтовых спокойно стояла чистая вода. Берег под ногами круто обрывался, нависший с него снег размахренным обледеневшим веником страшновато синел в темной бездонной воде. Ни единой живой души не виднелось на острове, да и не могло виднеться иначе как в жилой его части — на противоположном к проливу берегу. Прилив рокотал в полную силу, перешеек залило, вода оттеснила с песчанной насыпи осевшие в отлив льдины. Напротив лежала вверх дном на отмельном берегу полузанесенная снегом шлюпка. Воздух синел и темнел на глазах, сгущался туманной влагой в приутихшей было поземке. На наши, бодрые поначалу крики и свист, обратил внимание только выплывший из-за поворота берега тюлень, с любопытством уставивший на нас свою гладкопесью морду. Неодобрительно крикнули пролетавшие с добротной кормежки чайки-клуши. Из-под навеса снежного берегового полога испуганно выплыла невесть зачем затаившаяся пара бакланов. Жизнь-то вокруг кипела, да не наша, не человечья. Вскоре тюленю надоело нас слушать. Он скрылся в теплой для него воде, чайки улетели, а бакланы заплыли за береговой поворот подальше от неспокойных соседей.

Ноги совсем заколечены, страшно захотелось есть. Ребята притихли, усевшись в вытоптанной ямке на сидор, сами похожие на медвежат, облепленные от ног до шапок смерзшимся снегом. Голос осип от надсадного крика, руки заныли от непрерывного маханья, свист больше не получался: щеки и губы задеревятели на морозе. На наше счастье туча, до полной темноты вычернившая три четверти неба, медлила со снегом, пожалела что ли островки в море, без того сами как крутобокие снежные комки, что свалила досужие ребята и побросала на гладкий синий лед. Одно было

ясно: обратно не дойдем, сил у ребят нет, да и замерзнем. Темнота все ускорялась, маячный дом виделся головешкой в тусклом снегу, все резче выделялись огни в окнах. Еще немного, с полчаса, и на посеревшем снегу острова, где-то в самом его дальнем конце будет светиться, пробиваясь через густую ночную изморось, неровный, слабый и расплывчатый огонек. Потом ударит заряд, все скроется от нас... Сережка ревел сначала в голос, потом хныкал тягуче, в перерывах хлопков что-то шептал Славке. Того потянуло в сон. Он попытался уместиться поудобнее в вытоптанной ямке. Пришлось поднять легким пинком. В последнем, отчаянном крике, почти вое, зашлись все вместе. Налетевший ветерок сдернул с чистой воды пролива редкий туман. Ударил малый заряд, засебло щеки и глаза косым, низко летящим снегом. Далее кричать бесполезно. Все скрылось, виднелась лишь просекаемая снегом вода и краешек противоположного берега с полужанесенной шлюпкой. Снег закручивался вокруг нашей берлоги. Я приутих: что делать? Сквозь неровный посвист поземки, дробный стук прихлопывающих друг о друга подошв моих ботинок, мягкий шум падающего в яму на наши шапки и пальто снега неслась разноголосица надрывных маячных звуков, густых торопливых гудков рыбацких сейнеров, шедших из Мурманска в море и далее в Атлантику на промысел. Небо над головой — черное, мутное от крутящегося снега, очень близкое. Так вот мать в непогоду говаривала старую поморскую присказку: «От Колы до ада — три версты».

Потоптался, чуть разогрел ноги, присел обок задремавших с открытыми глазами ребят. Едва присел, как самого повело в приятный морозный сон, когда чувствуешь теплое-пре теплое внутри, а поверху, как коркой замороженного пирога, покрыт нечувствительной ледяной пеленой. Представилось, отразившись, как на экране, на редкой завесе снега, падавшего уже не сбоку порывами, а сверху с неба густыми хлопьями: мы дома, печка трещит поленьями из высушенных за лето, выброшенных в майские шторма на берег бревен, из батарейной «Родины» доносится голос Левитана, мать растапливает на печи лед для воды, отец на вахте на маяке. На подоконнике пять десятков заряженных ружейных гильз, машинка для набивки папирос, на этажерке большая стопа одинаковых на вид книг с романами Золя. Отец взял на чтение месяц тому назад у городского его приятеля гражданского фельдшера Базарного. Выходишь на холодную веранду и видишь в темноте черным отработанным машинным маслом перекатывающуюся воду. На блеклом лунном небе многоцветными сполохами играет северное сияние. То змеей изовьется в одну сторону, то жакнет косой стрелой до земли, перепутает все цвета, завертится и медленно-медленно втягивается назад, ввысь, выравнивается, ненадолго зависает дугой над заснеженным островом. Мороз крепчает, зябко! Ребята разбега-

ются по квартирам, глухо топоча валенками по чисто вымытому досчатому коридору большого маячного дома.

♦ Однако что делать? Прогнал сладкий полусон, растолкал ребят, поднял опущенные на глаза отвороты шапок. Теплые, распаренные, сонные физиономии смотрели на меня с недоумением. Где мы? Шлепками и пинками, причем Славка со сна озлился и пытался отвечать тем же, растолкал их окончательно, заставил прыгать в ямке. Противоположный берег еще виднелся. Стало страшно по-настоящему, боязно: как быть? Что делать? Что я вообще натворил!? Очухавшиеся ото сна ребята тоже заскучали, помолчали чуток и в голос заревели. Вот здесь мне стало страшно-престрашно, ноги задрожали, язык одеревенел, хотелось успокоить ребят, обнадежить, вытереть Сережке нос.

— Не ныть! Черти такие! Назад пойдем. Сходили вот... домой.

Ребята вновь заголосили, зажаловались; вот у Славки руки в худых рукавицах совсем замерзли.— Не надо было в них обезьяной по перилам интернатской веранды елозить! — Сережка сопел и тяжело дышал, ворочаясь в ватном, не по росту — с меня, пальто.

— Пошли, пошли! — командовал я, а куда идти-то? С берега хоть вода отсвечивает от снега, за спиной же одна серая муть. Поземка начисто замела следы. Куда идти?

В этот момент, какой взрослые называют безысходным, а дети не понимают всего трагизма, с последней надеждой всмотревшись в нежить противоположного берега, я заметил — или показалось?! — шевельнувшуюся черную точку. Ребята, проследившие мой взгляд, тоже всмотрелись.

— Идут!! За нами пришли! Ур-ра! — закричали Славка с Сережкой, опять же в голос, но только уже в другой.

Действительно, с пологой сопки спускался в сторону шлюпки человек. Уже через пару минут было видно — не глазами различимо, но необъяснимо каким образом было понятно — это отец. Подойдя к шлюпке, он стал всматриваться в нашу сторону. Уловив этот момент, мы закричали что было мочи. Отец слушал, замерев, но ветер относил крики. Выскочив из ямки на проваливающийся снег, я замахал расплюснутым сидором, снова закричал, стараясь попасть в промежутки между порывами ветра и гудением маяков. В который раз пожалел, что забыл в прошлый приход домой свой китайский фонарик. Тут же нащупал в кармане спички — не курил, но на севере без них нельзя — слава богу, не отсырели, стал по две-три зажигать и бросать повыше. Наконец отец заметил, то ли услышал, а может для проверки махнул рукой и завозился у шлюпки. Перевернул ее, достал спрятанные уключины и весла, а затем поднапрягся и медленно-медленно потащил шлюпку к воде. Оцепенев, уже не чувствуя мороза и

слепащей, по-серьезному разошедшейся пурги, мы заворуженно смотрели, как шлюпка неслышно приближается к нам, одновременно сорвались с места и скатились к пологому берегу, где приливом слизывало снег с усыпавшей кромку берега гальки.

— Вы чего это пришли? — спросил как-то буднично, подтабанивая шлюпку кормой, отец, — мать же говорила: на следующий выходной придет за вами?

— Да вот... пришли, — отвечал я, держась руками за корму, стоя правой ногой на кормовой банке, а левой, замачивая ботинок, отталкивал шлюпку от берега.

Отец неопределенно хмыкнул, посмотрел на небо.

— Хорошо Седалин под вечер пошел на свой огород. Снег у него сдувает — горбыли воткнуть для загородки, да увидел, у него, черта вологодского, глаза зоркие, кто-то машет на берегу. Твои, говорит, верно ребята пришли... а то бы крышка вам! Глянь на небо: сейчас большой заряд ударит. Назад бы не дошли.

Однако слово «огород» в нем и в нас вытеснило все остальное. На всех маяках от Мишукова до Териберки подсмеивались над огородником Седалиным, еще до войны убежавшим от каких-то своих колхозных грехов в этот неподвластный наркомзему флотский край. Который год он пытался что-то вырастить на здешних скалах, где только-только успевала за лето вырасти с луковичную головку репа. В самые же жаркие года получались считанные карандашные морковинки, а капуста, сколько не бился, вся «выходила в трубу».

Пока догребли до острова, вчетвером на ворота с лебедкой вытащили шлюпку и добрались до дома, совсем стемнело: не столько от наступающей на пятки ночи, сколько от густо повалившего снега.

Отряхнули друг друга березовыми вениками от свежего снега. Прежний, примерзший, отодрать ничем было нельзя. — Все это под укоризненным взглядом и словами выскочившей Федоровой жены Клавдии по маячному прозвищу Улита. Ввалились, не хуже тех самых ошкуев, в свою квартиру. Мать стояла у печки, размешивая в закипающей воде порошковое молоко. Она неодобрительно посмотрела на нас:

— Раздевайтесь, что встали, лешие окаянные! — И понесло, и поехало, даже зачем-то всплакнула, когда мы, переодевшись в старые сатиновые шаровары и пахнувшие недавней сухостью глажения байковые рубахи, молча уселись вокруг стола с потертой клеенкой. Мать с приступком поставила три стакана горячего молока и тарелку с печеньем. А мы-то по простоте душевной за наш подвиг рассчитывали на сгущенку!?

— Ироды вы, не подумаете об отце, матери... Кто же вас надоумил в такую непогодь тащиться? Соскучились видите ли, не можете неделю-

другую подождать! Господи, чего вам в тепле-то там не сидится: сыты и обуты, чуть не всю зарплату отцову за вас в интернат отдаем, так нет — леший вас домой гонит. Ужо, еще раз чего такого натворите — ремнем выпорю до полусмерти!

И чего она так разошлась? Эка невидаль, домой одни пришли, как будто в первый раз.

♦ Я вышел в коридор и пробежал, скользя в шерстяных носках по гладкому чистому полу, до веранды. Вопреки словам отца, ушедшего в ночь на вахту, ветер затих, снег перестал падать, а по небу, вспыхивая и стреляя разноцветными стрелками, со вселенским трескучим шепотом играло северное сияние. Дыхание перехватывало от счастья...



СЕРЕБРЯНАЯ ЛОЖКА

♦ В наше волчье время люди общаются друг с другом преимущественно через прилавок частного магазинчика, через тюремную решетку, а то и через автоматный прицел. Потеряна веками воспитанная, а в советское время, особенно в 60—70-е годы, доведенная до благолепного совершенства, культура общения. Остатки этой самой культуры сейчас успешно добывает монстр телевидения, а у подрастающего поколения и надежд никаких уже нет: наркотики и последнее изобретение дьявола — интернетовская сеть отобрали у нас и у мира детей, поместив их сызмальства в легко управляемую и контролируемую службой Антихриста виртуальную реальность. Поэтому поколения, чей возраст перевалил за средний (по советским, конечно, меркам, ибо по нынешним этот возраст относится — молитвами отечественных и зарубежных радетелей — едва ли не к студентам-старшекурсникам...), которых каким-то чудом не сумела затянуть в свои цепкие лапки-царапки современная торгово-воровская жизнь, очень дорожат только им и оставленной привилегией человеческого общения, как и встарь: в тесных, но таких уютных кухоньках сам-друг, да под бутылочку акцизной, да под селедочку-лучок, яишенку с салом, стогошенную доброжелательной хозяйкой, а по табельным дням — за небогато, но душевно накрытым столом в небольшой, десятилетиями не меняющей своего состава компании.

А чтобы женщины, без которых, как ни крути, не обойдешься в домашней обстановке, и которые не имеют своего царя в голове, а потому и скоро — даже умнейшие и мудрейшие из ихнего полу — перестраивающиеся на новый, пусть и поганый, стиль жизни... так вот, чтобы эти заботливые о нас и очаровательные существа не вздумали включить телеящик с нагло-кривыми, отягченными всеми пороками рожами телеведущих и хвояев новой жизни, предусмотрительный хозяин заблаговременно выдерживает

ваит и прячет сетевой провод со штепселем. Как тот дурдомовский врач Моргулис из песенки Высоцкого...

*«Эй, трактирищик-старина?
Дай-ка доброго вина
И крамбамбули стакан.
Доннер-веттер! Кто не пьян?»*

— Это песенка немецких студентов-буршей из прошлых веков, а крамбамбули — сорт крепкого ликера. А слышали ее как-то раз гости от разошедшегося хозяина, Николая Андреяновича, великого книгочея, а потому многое помнившего и знавшего.

Услышали и призадумались: а что? Неужели и «забугорники» тоже когда-то общались в дружеских компаниях? Когда же они свой бизнес-торговлю успевали вершить?

Бедные, бедные люди, даже вы, выросшие и вкусившие в зрелые годы все величие и благодущие эпохи расцвета Советской Империи, успели позабыть, что в жизни человека есть нечто большее, нежели вышибание копейки, которую с собой в мир иной не возьмешь, а в наследство оставить — значит сделать рабом этой копейки детей-внуков...

Были, были времена иные: не только у нас, но и в насквозь практичной Неметчине...

♦ Николай Андреянович — мой давнишний друг-приятель и коллега по работе в одном из тех немногих в городе НИИ, что уцелел в период грабежа-приватизации, акционирования-разрушения и теперь еще достаточно успешно боролся за свое существование. Во всяком случае, как и двадцать лет тому назад, рисовали мы с ним, находясь в соседних комнатах, ракеты: он — переднюю часть с «начинкой», а я — заднюю с движком.

Надо заметить, что еще пять-шесть лет тому назад в третьей комнате нашего отдела — по коридору напротив и наискосок, рядом с кабинетом одного из замов главного инженера — трудился третий наш неперменный компаньон Серега Зябликов. Он рисовал наиболее ответственную часть ракеты — ее оболочку. Когда народ, вдохновленный верховным призывом грабить накопленное и созданное за семьдесят лет советской власти, со стахановским энтузиазмом принялся за святое это дело, Серега, фотография которого не сходила со стенда «Лучшие изобретатели», публично заявил, что жить под властью хама-торгаша и воровского банкира, а тем паче работать на него, он не намерен, ибо прадед его имел, как и отец Владимира Ильича, чин действительного статского советника, то есть, согласно уложениям законов Российской Империи, он является потомственным

дворянином, а потому заключает сам с собою пари: если народ в массе своей не прозреет и трижды проголосует за буржуазную власть, то значит, что народ заслуживает, чтобы его грабили и преждевременно сводили в могилу.

Пари он сам у себя и выиграл. Как только дорвавшийся до свободы народ в третий — после заявления Сереги — раз подряд поддержал демократию и частную собственность, бывший лучший изобретатель уволился и ушел в стихию частного предпринимательства. Собственно говоря, успешно предпринимать ему не позволяла ненависть к хамам и торгашам, верность заветам бесклассового общества, но он удачно встроился с совершенно мизерным взносом — в виде семейных бумажек-ваучеров — в организованный его знакомым кооператив. Кооператив же не менее удачно пристроился к распродаже металлических неликвидов одного акционированного завода. Запасы последних оказались столь гигантскими, что уже пять лет Серега получает приличные дивиденды, все время проводит в своей квартире на окраине города, пересчитывает русскую классику, а через два дня на третий пьет водку и философствует по телефону со мной и Николаем Андреяновичем. В последние два года, когда его дивиденды заметно увеличились, даже за водкой перестал из дома выходить, чтобы не видеть хамских рож; водку и закуску ему на дом в любое время суток по звонку привозит действующая в городе частная служба доставки. Как он говорит, даже фамилии и адреса своего не называет. Только набирает простой в запоминании номер, а оттуда уже ласковый голос диспетчерши: «Здравствуйте, Сергей Николаевич! Сегодня как обычно? Вот что-то кушаете вы плохо, а у нас настоящий тамбовский окорок завезли и свежую копченую семгу...»

А недавно, очевидно в порядке черного юмора, разбудили его среди ночи и поздравили: он-де сделал накануне им юбилейный, тысячный за время существования фирмы — заказ. Поинтересовались: привезти ли сейчас приз: бутылку настоящей смирновской и закусочный набор?

Мы с Николаем Андреяновичем Серегу уважаем за четко означенную и выдерживаемую гражданскую позицию. Корпус же ракеты вместо него рисует менее удачливый инженер, который вложил семейные ваучеры в местный гигант металлургии. Гигант прибрали к рукам американцы, и теперь раз в год его жена ездит на другой конец города, получает дивиденды, добавляет к ним три рубля и покупает пачку стирального порошка.

◆ Надо сказать, что все застолья Николая Андреяновича начинались не водкой под грибки или под селедочку в горчичном соусе, как то повсеместно принято. Исключение делалось только в новогоднюю ночь и на день рождения супруги: здесь поднимались традиционные шампанские бокалы.

А в рядовых дружеских пирушках, тем более — беседах за кухонным столиком, все начиналось по-купечески: сначала до пота, до красноты лиц пился чай хорошей заварки, с лимоном, с каплей-другой коньяка, но — без всяких сладостей-пирожков, печений и прочей кулинарии, чем женщины таинство чаепития сводят к обычной жрачке, от которой, кстати говоря, они же и неумеренно и раньше времени толстеют. Конечно, чрезмерная худоба не красит семейную женщину, но все же до сорока лет она должна держать себя в таком теле, чтобы муж ее, особенно подвыпив, начинал слегка ревновать супругу к молодцеватым гостям...

Обычай же, кстати, для здоровья очень полезный, начинать чаем обед или ужин, особенно с вином и тяжелыми блюдами-закусками, Николай Андреянович объяснял наследственностью, в частности, — наглядным примером своего отца, который, будучи на пенсии, пил чай от зари до зари и даже ночью, в бессонницу, благо сон он разделял равномерно по времени суток, где ночные и дневные часы были полностью уравнены в правах. Андреян Матвеевич четверть века прослужил во флоте, где понятий дня и ночи нет, а есть вахты и склянки. Даже настенные часы в рубках кораблей и береговых кают-казармах имеют специальную нумерацию: не от нуля до двенадцати часов, как мы все привыкли, а от нуля до двадцати четырех: восемь вахт по три часа, две полусуточных или одна суточная. Специальные такие часы выпускает (или выпускал?) петродворецкий завод военных хронометров по заказу Минобороны.

Так вот, обычная картина субботнего раннего зимнего вечера. С утра мы с Андреянычем (время — советское!) до полудни в своем НИИ ракету рисуем — обычная предновогодняя штурмовщина: последние две недели уходящего года и работяги в цехах опытного производства куют, и инженерный корпус ватман переводит. А выйдя за ворота, ради близкого праздника для отправились стричься в парикмахерскую. После нее сам бог велел заглянуть в парковую «стекляшку», выпить по стаканчику портвейну ординарного розлива, слегка, чтобы не портить аппетит, закусить, потом погулять по чисто подметенным аллеям заснеженного парка среди снующих лыжников. Нагуляв аппетит до бунта желудочного сока, в сизом морозном сумраке, потирая защищавшие уши, идем к Николаю Андреяновичу — он рядом с парком живет. В ближнем магазине прихватываем бутылочку «старки». Она для здоровья оч-чень полезна!

К нашему приходу хозяйка дома, хорошо знающая субботнее расписание, уже заварила литровый фарфоровый чайник, и щедро насыпанный из пачки со слоником чай настаивается до багряной красноты под ватинным сарафаном кукольной купчихи. Пока весьма интересная для своих лет супруга Андреяныча жарит на сале загодя почищенную картошку и разогревает домашней фабрики котлеты (закуска же набирается морозного

оптимизма в холодильнике), мы сам-друг, уместившись на той же кухне, в противоположность закуске отходим багровыми щеками от уличного холода пятью стаканами не менее багрового чая. Супруга все норовит поставить «старку» в холодильник, а Андреяныч сердится: «Сколько же можно учить! «Старка» — это настойка, не водка, а в холодном виде настойка теряет свой вкус...»

Николаю Андреяновичу не только традиция чаепития от родителя досталась, но и само ее оформление. Кое-кто вот посмеивается над китайцами-японцами за их чайные церемонии, а зря. Сам становишься таким русским японцем (Ради бога, не подумайте, что это про известную нашу демократическую деятельность касемо...), хоть раз отведав чаю в компании с моим приятелем: стаканы у него тонкого стекла с золотым ободком, хотя и пьют из них уже третий десяток лет. Про подстаканники и говорить нечего: настоящая скань, металлическое кружево из мельхиора, музейное произведение искусства. Кроме как у Николая Андреяновича, я такие видал только на больших коробках подарочного краснодарского чая изображенными. А в глубоком детстве — в поездках чай в таких подстаканниках проводники разносили. Да видно все разнесли... уже с 60-х годов их заменила аляповатая алюминиевая штамповка с мутно-выдавленным рисунком.

И ложки чайные особенные, серебряные, с затейливыми узорами, а у хозяина и того примечательнее: старинного серебра, с эмалевыми (как на ордене Красной Звезды) овальными вставками на черенке, с затейливой гравированной монограммой «*А. Е. III*». Но, как это ни странно, эта замечательная ложка сердит хозяина. И когда «старка» выпита, тянет в сон, энтузиазм приятельской беседы иссякает, пьется последний стакан завершающей заварки чая, Андреяныч с легким раздражением высказывает свое неудовольствие ложкой: «Черт-те что, уже двадцать лет ею пользуюсь, а все привыкнуть не могу! Случайная в доме вещь, опять же инициалы эти... напоминают, что чужая это вещь: как украл все равно! Кто ею раньше владел? — Может графиня Агнесса Евграфовна Шереметьева, а скорее всего провинциальный зубной врач Шустерман Абрам Ефимович... Нет, не могу привыкнуть и все тут!»

Я-то в курсе всех этих неудовольствий, мне и объяснять ничего не надо, а более далеким от семейных тонкостей гостям супруга Николая Андреяновича, когда тот отлучится на время от праздничного стола, поясняет: «Переживает, что отцовскую серебряную ложку в наследство (ха-ха, наследство...) не получил».

♦ Андреяна звали на посту в глаза и за глаза Матвейчем. Не только свои матросы, то есть его подчиненные, но и часто заезжавшие на катере

офицеры из начсостава СНИС'а* и политотдела. Действительно, по своему возрасту — недавно двадцать шесть стукнуло ровеснику Октября, да невысокому старшинскому званию он смотрелся дедом среди команды возглавляемого им поста. Оно и понятно, сам он был из кадровых, служил с тридцать шестого, свое срочное выслужил, ан к демобилизации Финская кампания подоспела, а поскольку Северный флот считался в той войне действующим, то и ДМБ** отменили, а после Финской и вовсе такое понятие исчезло. Так и потянулось, а конца войне не видно было...

Матросы же в его команде — сплошной молодняк-салаги первых военных лет призыва, кроме Асатурьяна, имевшего великое воинское звание старшего матроса, тоже кадрового тридцать девятого года призыва, да слегка охромевшего на левую ногу во время службы. Демобилизовать, конечно, не демобилизовали, но и на Сталинградский фронт, куда осенью сорок второго всех мало-мальски свободных от боевых дел мореманов подбирали, оказался негоден. А в СНИС'е — самое место, не в атаку бегать с хромой ногой; даже в бомбоубежище не нужно утруждаться: запрещено уставом боевой наблюдательный пост покидать.

А сам Андреян в СНИС'е оказался по причине своей фамилии: сколько ему в течение жизни пришлось фигурировать в различных списках, везде он был замыкающим, левофланговым, хотя в строю обычно присутствовал по причине высокого роста как раз на правом фланге! Их опекун из политотдела береговой службы майор Шулейко, как-то будучи в добром расположении духа, сказал Андреяну, что специально интересовался в общесписочном составе Северного флота: там Андреян предпоследним и то потому, что список замыкала его однофамилица, женщина-военврач...

Служба — дело регламентированное, здесь людей, если ты не командир достаточно высокого ранга, считают по головам, а упорядочивают по спискам личного состава. И распределяют вновь прибывших по частям и по роду воинских занятий тоже по алфавиту. А так как в перечне последних поначалу следуют геройские военные профессии, а во флоте это подводники, будущие экипажи крейсеров и эсминцев, катерники-смертники и так далее по нисходящей, то завершающие алфавитный список и попадают в лучшем случае на каботажные вспомогательные посудины буксирного образца, а то и вовсе в береговые команды: тот же СНИС, штабные радисты и порученцы, комендатура, особисты. В мирное время это задевает честолюбие воина в тельняшке, а в военное — сам себя стыдясь — порой и поблагодарит воин судьбу и отца своего за фамилию... Дело житейское, понятное, даже черномундирный майор Шулейко не попрекнет.

* Служба наблюдения и связи (военн.).

** Демобилизация, принятое на флоте сокращение.

Так вот и с Андреяном: в обоих учебных отрядах — в Кронштадте и на Соловках — с концом списков в связисты попал, а по прибытии в Полярный в СНИС. Правда, Шулейко, тогда еще старший лейтенант, восхитившись его анкетой — с малолетства крестьянский сирота, среднее образование и техникум закончил, на ударной стройке пятилетки Волховстрое успел поработать, дядька капитан НКВД, — пробовал его в особисты записать, однако на неперемное условие («Чтобы через год заявление в партию!») Андреян не согласился, ссылаясь на молодость и неподготовленность к столь ответственному шагу. На самом же деле, будучи происхождением из калужских старообрядцев-поповцев, в крови унаследовал он неприязнь к участию в делах, пусть и правильных, нужных стране, но постоянно, днем и ночью подконтрольных начальству.

Шулейко же не оставлял раз запавшей в его упрямую хохлацкую голову мысли: уже и в капитанском, а потом и в майорском званиях при каждой встрече с Андреяном набивался даже с личной рекомендацией в партию. А от постоянного неуспеха в этом деле, пакостил, как мог. Оттого-то Андреян, кадровик 36-го года призыва, участник уже второй войны, специалист высокого класса, со средним специальным образованием, был и оставался всего-навсего старшиной 2-ой статьи, хотя и командовал очень ответственным постом прямо на входе в Кольский залив, куда был назначен в самом начале войны, как кадровый старослужащий.

Андреян, опять же по наследственной старообрядческой нестяжательности, мало беспокоился своим скромным воинским званием, однако история с крейсером «Эдинбург» и его задела очень даже чувствительно.

♦ Несмотря на малое свое звание и незавидную береговую должность, когда всей стране были известны имена североморцев Сафонова, Гаджиева, Лунина, Фисановича, матроса Сивко, героев-катерников, Андреян не был бесконечно малой песчинкой. А многие события войны на Севере, о которых впоследствии сын его Николай узнавал из школьных уроков истории, так или иначе касались отца, который и комментировал их по своему, приняв «для разговору» пару-тройку рюмок в табельный день.

Это не удивительно, ведь флот — не безлика и многомиллионная серая масса (по окрасу шинелей) пехоты на полях Великой войны. Во-первых, Северный флот фактически был единственным активно действующим в течение всей войны; во-вторых, пост Андреяна располагался в узловом месте — на крутобоком острье Тóрос (от слова «торóс» — глыба льда, что соответствовало скалистой его форме) на самой границе Кольского залива и Баренцева моря. А в-третьих... сама организация флота есть единый, компактный механизм, где каждый человек — от только что призванного салаги до адмирала — есть недублируемая частичка этого сла-

женного механизма. А если учесть своего рода обжитость мест базирования — это не кочующие сухопутные армии и фронты — и относительное постоянство состава (гибнут, конечно, единицами на берегу, экипажами на море, но ведь не ротами и эскадрами зараз!), то за два-три года войны, как жители районного города, все друг друга знают, а командующий и его штаб, звоня на отдельный пост за добрую сотню миль, без затруднений называют фамилию того же малочинного Андреяна... И заслуженные награды часто сам адмирал составляет, если только не подвернется бдительный и долгопамятный Шулейко и иже с ним.

♦ Про крейсер «Эдинбург», вывозивший через Мурманск советское золото — в оплату за союзнические ленд-лизовские поставки, из которых Андреян почему-то запомнил только «второй фронт» и хеопсовы пирамиды мешков с какао-бобами на Мурманском причале,— много чего в послевоенные годы написано. Но когда «Эдинбург» выходил из Мурманска, шел по заливу и далее в море, вряд ли кто, кроме комфлота, знал о его содержимом. Поэтому когда Андреян взял телефонную трубку и услышал голос адъютанта: «Сейчас с тобой командующий будет говорить», — то был немало удивлен.

— Слушай (он назвал Андреяна по фамилии), у тебя туман не спадает?

— Нет, товарищ адмирал, со вчерашнего вечера видимость нулевая.

— Вот что... тут один английский крейсер затерялся; он идет без радиосвязи и без звукового оповещения. Акустики его тоже не слышат, значит, встал в тумане. По всем прикидкам на выходе из залива. Усилить наблюдение, а в случае чего звони прямо в штаб.

Стоял полдень, но по всему было видно, что туман установился не на сутки и не на двое. Стояла полная тишина: ни ветра, ни шума немецких бомбардировщиков — на Мурманск, и у люфтваффе по поводу тумана выходной. Только редкие гудки маяков в заливе.

Прошла пара часов, ничто не выдавало возможное присутствие где-то рядом большого корабля. Захотелось есть, глаза слезились от едкого туманного холода, усугубляемого постоянно прижатыми окулярами бинокля. Позвонил по внутреннему и вызвал на мостик самого опытного — Асатурьяна, сам же спустился в жилую часть поста, зашел на камбуз, где никого не было — уже команда пообедала, и кок Гриша ушел. Дежурный бачок со щами стоял на малом огне плиты. Налил миску горячих щей. Сел за стол. Однако решил подождать, пока щи поостынут. Так советовал военврач в госпитале в Полярном, где год назад он провел пару недель: язва обьявилась.

Аппетит разыгрался не на шутку, и Андреян неотрывно смотрел на миску, пар из которой все не утихал и наводил на какие-то неясные мысли,

вовсе далекие от еды. Внимательно приглядевшись к пару, Андреян наклонил голову вбок, так что глаза оказались на одном уровне с краями миски, а щей он не пожалел, налил вровень с краями. И здесь-то его осенила мысль, сделавшая его имя на некоторый срок известной самому высокому флотскому начальству...

Однако, война войной, а чего шам пропадать? Не торопясь, опять же как советовал старый и опытный врач-подполковник, Андреян закусил и гречневой кашей с тушенкой, только после этого надел бушлат, шапку и вышел на воздух. Даже не заходя в кубрик к команде.

Выбирая дорогу скорее ногами, так как все равно в двух метрах ничего не разберешь, он нащупал тропинку единственно имевшегося на острове крутого спуска к воде, и вскоре под ногами шелестела береговая галька. Дошел до края отмели (был час отлива), выбрал место почище, посуше и, как в физкультурном упражнении на отжатия, прилег на носки и ладони, повернув голову в сторону воды, почти вровень глазами с ее зеркалом.

Действительно, как он и ожидал, над поверхностью воды простирался высотой в полметра участок чистой и полной видимости, а поведя глазами туда-сюда, на расстоянии не более пяти-шести кабельтовых он увидел и длинную черную полосу борта корабля, по размерам вполне соответствовавшего крейсеру, только почему-то черного цвета (?).

Быстро взбежал на горку, поднялся на мостик, не замечая прильнувшего к биноклю Асатурьяна, вошел в остекленную рубку и набрал штабной номер, доложил дежурному офицеру. Тот уточнил: «Окраска бортов черная?» — и получил подтверждение, после чего дал отбой связи.

Однако не успел Андреян рассказать Асатурьяну о связи горячих щей с английским крейсером, как раздался телефонный звонок. У трубки, минув адъютанта, был сам командующий. Еще раз выслушав доклад, он поинтересовался: откуда, дескать, старшине известно про такое свойство тумана? Про щей Андреян говорить не стал, сослался на прилежное изучение физики в школе и техникуме. «Хорошо тебя учили в школе, — рассмеялся командующий, — готовь дырку на форменке под Красную Звезду!» И дал отбой.

Однако прибывший через пару недель на катере майор Шулейко, построив команду и зачитав благодарность командования за исправную службу, вызвал из строя Андреяна и торжественно вручил ему... медаль «За боевые заслуги», причем даже без номера на реверсе.

Сопровождая вручение награды краткой, но прочувствованной речью, майор Шулейко призвал краснофлотцев быть такими же усердными и сметливыми в службе, «как ваш боевой товарищ и командир, который, хотя и не является членом Ленинской партии, но не щадит...» и так далее. Услышав непонятный шумок на левом фланге, где стояла англо-американ-

ская команда, майор чуть повысил голос: «Это же относится и к нашим доблестным союзникам!» После чего ядовито заулыбался весь строй, а хорошо понимавший по-русски матрос-переводчик Джеймс Лэнг закашлялся, глуша разбиравший его смех.

♦ На этом история с «Эдинбургом» не закончилась, а имела и ближее продолжение, и весьма отдаленное, а потому и туманное, до конца невыясненное.

Надо сказать, что из всех союзников, несших параллельные вахты на посту, а их сменилось множество — англичан, американцев, австралийцев, канадцев, даже новозеландец один был, — Андреян более всех сдружился с Джеймсом Лэнгом. Он по-русски говорил не хуже его самого, только характерный акцент выдавал иностранца, но с тем же американцем его ни за что спутать было нельзя; был Джеймс породистым англичанином, филологом, окончившим Оксфорд (у них в войну высшее образование вовсе не означало офицерский чин). В мирной жизни преподавал в колледже, работал над диссертацией по славистике, жил в собственном доме в пригороде Лондона, да еще в Ливерпуле квартира была — жена в балетной труппе тамошнего театра выступала. Впрочем, это он о себе в прошедшем времени говорил, там, в Англии, все оставалось по-прежнему: и дом стоял, обихаживаемый семейной парой прислуги, и жена на ливерпульской сцене танцевала, а вот Джеймс в матросской форме нес службу на крохотном острове Торос, на который, пролетая ежедневно бомбить Мурманск, обязательно немцы сбрасывали пару-тройку бомб, ибо был их пост в горле залива как бельмо.

Андреян, хотя и окончил всего-навсего техникум молочной промышленности в Калужской области — по комсомольской разрядке, но человек был начитанный, самообразованный, думающий и любитель поговорить о высоких материях: сказывалась старообрядческая наследственность.

Джеймсу тоже нужен был собеседник в долгие полярные ночи. Андреян же выделил англичанина с первого дня пребывания самой первой команды союзников, прибывшей на Торос одновременно с приходом в Мурманск первого из ленд-лизовских караванов «PQ». День был ясный, поэтому немцы по расписанию летели с норвежских аэродромов бомбить Мурманск. Летели кучно, неторопливо, как они летали первые два года войны, огибая редкие зенитные батареи, а наших самолетов в воздухе до сорок третьего года и вовсе не было видно...

Увидев первые эскадрильи, союзные матросы дружно устремились в выдолбленное в скалах бомбоубежище. Через полчаса они вновь появились на мостике поста, где Андреян с Асатурьяном продолжили с ними беседу-инструкцию по несению боевых вахт. В конце инструктажа пере-

водивший беседу Джеймс поинтересовался, оставшись наедине, у старшины: почему русские матросы не спускались в бомбоубежище? «А пост покидать нельзя, за это трибунал», — бесхитростно пояснил Андреян.

— Но ведь бомбят? Я слышал несколько разрывов большой силы!

— Что поделаешь. Пока что прямых попаданий не было, островок крутой, бомбы в основном по боковинам лупят, рыбу глушат. Сейчас салаги пойдут на берег треску для камбуза собирать...

Еще через полчаса немцы полетели в обратную сторону, на мостике замигал синий фонарь тревоги, но Джеймс с мостика не ушел. На другой день, тоже на редкость ясный и безоблачный, немцы шли на бомбежку точно по графику. На этот раз все трое англичан остались на мостике, в бомбоубежище спустились только янки (это они делали до конца войны).

♦ Вскоре после случая с черным английским крейсером, Джеймса перевели с поста в ленд-лизское представительство, а встретились они случайно в конце зимы сорок четвертого в Мурманске. Андреян с двумя матросами прибыл с утра на политотдельском катере в Мурманск — получить для своего поста тяжелый пулемет «Кольт» из американских поставок, стереотрубу, бинокли и кое-что по хозяйственной части. Обратный катер ожидался только наутро, поэтому, оставив на комендантском пирсе в караульном помещении матросов с карабинами при ящиках с добром, сам он отправился побродить по Мурманску, точнее, по тому, что осталось от него после трех лет немецких бомбежек. Однако районы у причалов, судоремонтного завода уже начали застраиваться бараками и скороспелыми служебными зданиями. На улицах, тоже скороспелых, даже под вечер было многолюдно, слышалась английская речь, даже женский смех; закат войны ощущался именно по женскому смеху...

Здесь-то он и встретил Джеймса, уже лейтенанта в щегольской форме. Как тут же выяснилось, Джеймс также был свободен на весь вечер. Надо было выпить, поговорить, но где? Это ведь не Торос, где нет начальства, а кок Гриша даже из сушеной картошки, тушенки и сухого молока мог готовить на закуску нечто очень даже похожее — особенно по вкусу — на жареную картошку с мясом и яичницу с салом.

В единственную в городе столовую с подачей пива, открытую специально для союзных моряков, вход Андреяну был закрыт. Также и в комендантскую караулку на пирсе Джеймса не пустят. А где взять выпить? — Однако этот-то вопрос решился тотчас; Джеймс попросил подождать его чуток, сбежал в стоявшую рядом свою миссию и вернулся оттуда с оттопыренными карманами шинели и свертком подмышкой.

Ломая голову, они остановились перед бараком, дальше узкую улочку перепороживала гора свежесваленного угля. Отворилась барачная дверь,

вышел пожилой мужик в ватнике, сапогах, с ведром — и пошел в сторону угольной кучи.

— Отец, выпить нам надо, непустишь?

— А в чем дело-то, заходи, дверь открыта, кухня направо, а я сейчас, угольку вот прихвачу...

Через пять минут Андреян с Джеймсом, раздевшись до тельняшек, сидели за столом натопленной до банной духоты кухни. На столе пузырилась литровая бутылка виски, хозяин раскладывал по тарелкам принесенную Джеймсом закуску: уже порезанную ветчину, консервированную колбасу и копченого лосося, порезал белую булку.

Выпив за знакомство полстакана виски, хозяин деликатно удалился в свою комнату, заверив, что мешать им никто не будет: семейные живут в отдельной половине барака, здесь только мужики — по вербовке на портовые работы из Архангельской области, так они только ушли в свою смену, он за дежурного истопника остался.

♦ В тот вечер они хорошо поговорили, присоединившийся к концу беседы мужик выставил от себя бутылку «Московской», поджарил большую скоророду трески.

В числе прочего вспомнили и об «Эдинбурге». В то время, хотя, конечно, в газетах об этом не писали, и Левитан чеканным голосом не сообщал, но среди моряков-североморцев уже знали о характере груза крейсера. Джеймс горячился, вспоминая обиду, нанесенную Андреяну — медаль вместо ордена, — сказал, что если его командиры так плохо оценили смелку русского старшины, то он, лейтенант Лэнг, компенсирует русскому герою английским боевым орденом Георга; завтра же попросит своего полковника составить ходатайство. Здесь же, за барачным столом, записал в свою книжку точную английскую транскрипцию фамилии, имени и отчества героя.

— Не знаю, Андрэй-йан, увидимся ли еще, но орден Георга от короля я тебе гарантирую, а от меня — возьми, что есть, — и Джеймс хлопнул ладонью о ладонь Андреяна, отнял ее, а на ладони засверкала золотая гиней (золотой у Андреяна то ли затерялся, а, скорее всего, украли в первый послевоенный год). Еще он записал в свою книжку калужский адрес старшины — адрес его младшей сестры, жившей в деревне; другого адреса у него не было; не давать же адрес дядьки, уже подполковника НКВД? Вырвав листок, Джеймс написал и оба свои адреса: лондонский и ливерпульский: «Пиши обязательно, а будешь в Англии — заезжай без церемоний!»

Расставаясь у пирса, они обнялись. Больше им встретиться на этом свете не довелось, хотя до самого конца войны они не теряли друг друга из виду, при случае передавая приветы через знакомцев.

Орден Георга Андреян так и не получил, хотя наверняка и точно знал, что Джеймс ходатайствовал об этом: в начале сорок пятого, распекая вечного старшину за историю с Косыгиным, Шулейко, уже свежеиспеченный полковник, проговорился: «...Мать твою! Был ты старшиной второй статьи, им и войну закончишь. Ордена Георга ему, видишь ли, захотелось!»

Так и закончил Андреян войну со скромным иконостасом: к давешней «За боевые заслуги» без номера добавилась положенная кадровиком «За оборону Советского Заполярья» и всем положенная медаль «За победу над Германией», а в сорок восьмом, за месяц до демобилизации, получил и «XXX лет Советской армии и флоту». Впрочем, многие сухопутные моряки и этого не имели; бытовала после войны среди мореманов присказка: где североморцы с орденами? — Между Кильдином и Шпицбергенем! (То есть на дне Баренцева моря).

Еще Андреян от той войны захватил в мирную жизнь затаившийся туберкулез и язву, что пришлось ему лечить и оперировать в пятидесятилетнем возрасте, когда организм человека выявляет все свои скрытые недуги. Поэтому Андреян и прожил всего-навсего семьдесят с небольшим, хотя у его предков-старообрядцев (родители не в счет, они от холеры в гражданскую померли) в моде были возрасты 100—110 лет.

Закончил Андреян свою жизнь в самую горбачевщину, может и к лучшему, не увидел разрушения и гибели государства, которому отдал годы и здоровье...

Совершенно неожиданно и каким-то другим боком орден Георга выплыл уже после смерти Андреяна. Намечались очередные демократические выборы, почтовые ящики граждан (у господ в виллах ящиков не было, им почту в офисы приносили) каждый день разбухали от подметных листовок, газет и даже брошюр, описывающих подвиги кандидатов. Николай Андреевич макулатуру эту не читал, конечно, но приспособился использовать большеформатные газетные листы из добротной бумаги с пользой: заворачивал в них бутерброды-торомозки, что брал с собой на работу (в столовую он и его коллеги давно из-за дороговизны перестали обедать ходить). А когда эти бутерброды ешь в обеденный перерыв под чаек собственной заварки, то глаза поневоле ищут себе занятия, вот и прочитаешь какую-нибудь чушь в промасленной газетке.

Но одна пространная заметка раз как-то не на шутку заинтересовала Николая Андреевича. Автор статьи, по всей видимости, получил редакционное задание извлекать в грязи конкурента по выборам, выставив на передний план достоинства патронируемого кандидата, но сделать это аккуратно, не прямыми, но косвенными сопоставлениями, поскольку конкурент, хотя и был коммунистом, но именно он в текущий момент занимал ту должность, которая и была предметом грядущих выборов.

То есть обляять и оболгать напрямую было опасно.

♦ Получив задание от начальника выборного штаба, нанятый на время предвыборной компании матерый журналист Семен Липкин, хорошо известный в их городе корреспондент бывшего органа областного комсомола, а ныне рупора демократии, процветающего и скандального восьмиполосного «Юного Ленинца», не долго думал-размышлял. В совершенстве — ведь ВКШ* закончил! — владея тем, что сейчас называют модным словом «*пиар*», он решил написать статью на сопоставлении и вышибить пот негодования у демократической общественности (торговок-челночниц, не имеющей царя в голове интеллигенции, зомбированной телящиком молодежи и умеющих читать бандитов) историческими параллелями. За основу сопоставления он взял прямо противоположные мнения о «большом брате» — Америке, накануне высказанные обоими конкурентами и еще памятные жителям города. Кандидат от компартии, выступая по местному телевидению, крайне нехорошо отзывался о «старшем брате», который и разрушил СССР, а в качестве извечного американского вероломства сослался на исторический прецедент: бесконечное затягивание открытия второго фронта в годы войны, стремление отделаться от действенной помощи восточному союзнику ленд-лизовскими поставками, весь объем которых не превышал 8 % от советского производства...

А его конкурент от правых сил, молодой и энергичный предприниматель, хозяин обоих городских кладбищ и всех платных сортиров города, бывший второй секретарь обкома комсомола Леонид Хребтоломов буквально накануне поделился с читателями «Юного Ленинца» своими впечатлениями о недавней поездке в Империю Доллара для стажировки в части муниципально-хозяйственного бизнеса (ездил он по более прозаическому делу: переводить нажитые трудовые в «*Bank of New York*» и заодно купить заваливающий домишко-виллу во Флориде). Статью эту за пару сотен «зеленых» писал сам Семен Липкин, ему же и проще было выстроить центральный эпизод сопоставления, где требовалось документально показать героизм американцев в войне, их неоценимую помощь СССР, наконец, черную неблагодарность советского руководства, да и вообще советского народа, по отношению к звездно-полосатой державе-спасительнице.

Как и всякий интеллигент-средняк из пишущей братии, всю жизнь стремящийся покинуть «эту страну» и обосноваться в краях похлебнее, Семен хорошо знал еще с советских времен, кроме русского литературного и родного разговорного, английский язык. Теперь это знание и здесь пригодилось, в «этой стране», где с каждым годом все труднее и труднее

* Высшая комсомольская школа (старорежимн.).

становилось без знания *english* получить сколь-либо терпимо оплачиваемое место.

На следующее за получением редакционного задания утро матерый шакал пера вышел из своей квартиры затемно и сперва-наперво заскочил на часок к Регине, общедоступной журналистке из их «Ленинца», двадцатисемилетней и еще не очень потрепанной — для вдохновения. С ней же доехал до редакции газеты, где с рук-на-руки сдал спутницу собственному фотокору газеты, который с ежеутреннего похмелья использовал мужелюбивую журналистку в своем закутке-фотолаборатории, сумрачно освещенном вечным красным фонарем...

Сам же заглянул поздороваться со своим заводителем и сообщить, что он на сегодня занимается в архиве-библиотеке редакции, поэтому на экстренные выезды, коли такие случатся, пусть пошлют кого помоложе. Завотделом, видевший в окно, как Семен подходил к редакции с Региной, что-то проворчал насчет «борделя, который развели в коллективе», Семену же кивнул в том смысле, что халтура — дело святое, но и про интересы газеты надо помнить... Семен неопределенно хмыкнул и ушел в архив. Зав же отделом был издавна, еще с советских времен, сторонником иной ориентации полов, поэтому брезгливо относился к внутриредакционному разврату. Сам он в свое время даже подпал под редко применяемую статью о муже- и скотоложестве, правда, срок получил условный (судья волею случая из их же братии оказался). Теперь этим сроком козыряет: жертва тоталитаризма! Еженедельно, в ночь с пятницы на субботу, посещает клуб по интересам «Ганимед»; чисто мужской.

♦ Уже прочитав основательную статью Семена Липкина в промасленной бутербродами с маргарином и килькой подметной газетенке, изданной на сортирные деньги Леонида Хребтоломова, Николай Андреевич в послеобеденной тишине своего конструкторского отдела ломал себе голову: что есть истина и что есть ложь? А главное — кто сделал кашу из достоверного факта: Семен или автор статьи в той самой американской газете, на которую Липкин ссылается? Наверное, решил он, оба исказили, выполняя каждый по-отдельности, социальные заказы своих хозяев.

Итак, по статье в промасленной газетке получалось, что морской американский сержант Джон (но не Джеймс!) вначале служил в Анкоридже на Аляске при тамошнем ленд-лизингском управлении... далее Семен на целый столбец развез описание и перечисление поставок Америки СССР через Дальний Восток; получалось, что одних этих поставок за первые полгода ленд-лиза, что Джон служил в Анкоридже, хватило Советам до взятия Берлина. Далее Липкин снова вернулся к героической личности Джона. Как опытного специалиста с высшим образованием и знанием русского

языка, сержанта перевели в ленд-лизовскую команду в Мурманск. Там Джон совершил множество подвигов и был награжден высшими орденами США и Англии, получил офицерский чин, но от русских он не дождался даже солдатской медальки... (в действительности же Джеймс Лэнг к концу войны имел три советские награды). Там же на Севере Джон подружился с русским моряком, старшиной, который тоже как бы совершил подвиг: в сложной обстановке, ночью в туман и восьмibalльный шторм, сумел, находясь на наблюдательном посту, обнаружить и предотвратить крушение английского транспорта с особо ценным грузом, шедшего в Мурманск и по метеоусловиям отбившегося от ленд-лизовского каравана.

Как тотчас сообразил Николай Андреянович, то ли американский журналист, а скорее всего Липкин, заменили «Эдинбург» на транспорт; оно и понятно: кому же нужны такие пикантные подробности, что в самые трудные времена войны союзники, словно мелочные лавочники, не верящие в долг, торопились вывезти из истекающего кровью СССР плату золотом за свою тушенку и какао-плоды...

Так получилось, что геройский русский моряк имел кулацкое происхождение (!?), то есть его родители имели в свое время лошадь и телянка-первогодка, поэтому политотдел «зарубил» его представление к награде. Пораженный такой черной неблагодарностью, Джон от имени ленд-лизовского управления ходатайствовал перед королем о награждении его английским орденом за спасение английского же судна с ценным стратегическим грузом. Действительно, орден Св. Георга вскоре прибыл и был передан в наградной отдел Северного флота. Однако политотдел был начеку. Поскольку у геройского советского моряка (Семен в статье, избегая слова «советский», везде писал — русский) было сложное для иностранцев фамилия-имя-отчество, то Джон сначала ошибся в транскрипции, ошибка также вкралась и в официальный королевский указ, наконец, малограмотные политотдельцы еще раз исказили при обратном переводе на русский. В итоге, хотя все знали о ком идет речь, моряка с такой фамилией-именем-отчеством в кадровом списке флота не оказалось...

Самое паскудное, как возмущался Семен Борисович, орден этот забрал-присвоил себе видный политотделец, слегка похожий по своим фамильно-именным данным на геройского моряка, а некоторое несоответствие с английской транскрипцией в королевском указе мотивировалось все той же ошибкой в переводе на латиницу и обратно сложной русской фамилии-имени-отчества...

От души посмеявшись над последней нелепицей, Николай Андреянович, заинтересовавшийся было некоторыми совпадениями рассказанного в статье и известного ему от отца, потерял к чтению всякий интерес и хотел было скомкать газету и выбросить в мусорную корзину, но что-то его ос-

тановило. Пропуская целые абзацы и колонки восхвалений в адрес американских союзников, Николай Андреянович натолкнулся на фразу, совпадение содержания которой с действительно бывшим никак не могло быть случайным: Джон закончил свою службу в Мурманске трагически — и по вине неблагодарных русских! Проходя мимо некоего официального здания в ранневесенний день, он загляделся на чистое голубое небо, так напавшее ему безоблачные небеса родного штата Канзас. В это время на крыше здания несколько проштрафившихся матросов отбивали с ее кромок густо наросшие за ночь сосульки. Увидев заинтересовавшегося американского офицера, они со злорадством и враз дружно громыхнули ломами, а посыпавшиеся колья-сосульки выкололи оба глаза у геройского американского моряка...

Да, Джеймс Лэнг действительно вернулся в Англию слепым; о долгой войне, России и русских, советских друзьях-однополчанам ему осталась лишь память. В конце апреля 45-го года, уже с оформленными документами об увольнении со службы королевскому флоту, он шел по главной и тогда единственной улице Североморска, загляделся на синее небо, которого не видел полгода, неосторожно остановившись у стены двухэтажного здания. В это время ударила залпом зенитная батарея, рядом, в Верхней Ваенге; немцы уже давно не появлялись в северном небе, залп был учебным, по баллону воздушной мишени, что тащил за собой на пятиверстовой высоте на тресе самолет. Звуковая волна шарахнула по крышам домов, стряхнув тонны сосулек, которые в тех местах ранней весной нештучная опасность. Две из них и ослепили Джеймса. Об этом несчастье Андреян узнал из случайного разговора уже после Дня Победы. Он позвал в свою рубку Жору Асатуряна, вернувшись из Североморска, и они молча выпили поллитровку спирта.

Николай Андреянович уже бережно разгладил газету, аккуратно сложил и упрятал во внутренний карман пиджака. После работы зашел с коллегами в пивную «Восток», одну из немногих оставшихся от старых времен, куда пускали еще *простой народ*, а значит и цены были мало-мальски реальные. Рассказал о сегодняшней газетной находке. Коллеги советовали обратиться сначала к автору статьи, выяснить первоисточник, а потом действовать через военно-архивное управление. Николай Андреянович попервоначалу воодушевился, несколько дней обдумывал, даже пару раз с работы звонил в редакцию «Юного Ленина», но Липкина на месте не оказывалось. Однако по прошествии недели поостыл, припомнив в разное время читанные и слышанные истории про страшную волокиту и неразбериху в архивном военном ведомстве. Да и к чему ворошить? — Пусть останется как есть.

...Хотя орден Георга красивый и внушительный. Николай Андреяно-

вич даже по большим праздникам лицезрел его на груди старого, но бодрого инженера по оборудованию Метелина из отдела техдокументации; тот в последний год войны служил штурманом — после авиашколы — в дальней бомбардировочной авиации и летал из Белоруссии в Англию и обратно в знаменитых «челноках»^{*}.

♦ Джон-не-Джон, но вот уроженец штата Северная Каролина, чистокровный янки Майкл Холлуэй почти что побратимом старшине Андреяну стал; отсюда, кстати, и заглавная история с серебряной ложкой. Ну, об этом дальше. А выделил Андреян Холлуэя уже через пару недель после прибытия последнего на пост. Шел декабрь сорок второго, самый разгар Сталинградского сражения. Как-то совершенно неожиданно к острову подрулил политотдельский катер, а прибывший на нем майор Шулейко, построив личный состав поста (союзников оставил в соседней комнате), произнес краткую и суровую речь о том, что судьба войны решается сейчас на Волге, и долг всех советских людей, моряков-североморцев тем более — своей грудью защитить Сталинград. Короче, от вашей команды — два добровольца:

— Добровольцы есть? Два шага вперед!

Как и положено старшему, два шага сделал Андреян, чуть помедлив, ту же артикуляцию проделала и команда. Так было положено. В этих действиях никто и не заметил, что из соседней комнаты тихо вошел Холлуэй и пристроился на положенный союзникам левый фланг и сделал два шага вперед со всей командой. Майор Шулейко потом объяснял это тем, что американец, не зная русского языка, не понял суть речи и приказов командира. Однако сам Холлуэй — за время общения с союзниками наши матросы научились с ними общаться на ломанном русско-английском — позже утверждал, что он осознанно вызвался добровольцем, правда, для храбрости пару раз приложился к фляжке с виски...

Осмотрев одобрительно строй добровольцев, похвалив выправку и бодрость духа, молча отведя за рукав от строя и направив к двери Холлуэя, Шулейко чуть помедлил и назвал две фамилии: один из этих двух счастливых как-то попался Шулейко несколько нетрезвым, а другой привел политотдельца в негодование, отрастив полгода назад усы, что, с его точки зрения, вовсе не являлось нарушением формы одежды. Шулейко придерживался прямо-таки противоположного мнения...

Самое интересное, что по прошествии достаточно длительного време-

^{*} Не дай, бог, спутать с современными мешочниками-барахольщиками... Кстати, почему-то мало кто, даже из старших поколений, знает, что челночные бомбардировки Германии производили на паритетных началах как английская, так и советская авиация.

ни Джеймс Лэнг (это он во время памятной встречи с Андреяном поведал) встретил обоих в Полярном: оба служили при штабе, занимали лычки на погонах, округлившись лица светились сытостью. Оказалось, что уже на сборном флотском пункте пришел отбой, армию Паулюса успешно окружали, а матросов разобрали по неукomплектованным командам. Рослые и ладные (как и все штрафники) добровольцы с Тороса приглянулись замначштаба подводников из Полярного, он и взял их к себе. Кому что на судьбе написано; на длинной войне человек приучается ничему не удивляться, не завидовать, по возможности не огорчаться. А флотский фатализм и вовсе хорошо известен.

♦ И хотя Холлуэй во время бомбежек спускался в убежище, но скорее из компатриотства с земляками, Андреян его сразу выделил и на вахту старался ставить с собой.

В начале февраля сорок третьего, получив известие о победе под Сталинградом, Андреян, нарушив сухой закон, устроил для команды ужин со спиртом из НЗ, а для надежности на ночную вахту встал сам-друг с крепким на спиртное Асатурьяном. Кстати, на этом ужине союзники выставили от себя припасенные две бутылки шотландского, а Холлуэй пожаловался Андреяну на неблагоприятность своей фамилии, пояснив, что означает она какую-то чертовщину навроде шабаша ведьм и сатаны.

По всей видимости, это очень и давно волновало Майкла. По его словам выходило, что фамилию эту дьявольскую предки его получили на своей родине — в сатанинском городе Солт-Лейк-Сити, где всем заправляют богопротивные многоженцы-мормоны.

...Первую стопку, стоя, выпили за великого Сталина (предпоследнюю пили за двух славных добровольцев с Тороса...). Черчилия, Рузвельта и британского монарха тоже вспомнили добрым словом.

♦ Со второй половины февраля на залив пали долгие, едкие туманы, что стоят неделями. На это время война прекращается: отдыхают на норвежских аэродромах немецкие летчики, надводные корабли стоят у пирсов, только подводным лодкам туман не помеха.

В один из таких дней за обедом, исключая двух вахтенных, недосчитались Холлуэя. Учитывая, что во время плотного тумана по строжайшей инструкции за пределы веревочной ограды вокруг здания поста и хозяйств выходить не разрешалось, дело принимало серьезный оборот, тем более, что речь шла о союзнике. Случись что, за своего взгреют, а за союзника какие-никакие и погонны снимут со всеми неутешительными последствиями. Война на дворе...

Еще раз обыскали все помещения, затем, встав по периметру ограждения, с полчаса звали Майкла. Ответа не было. Андреян взял ракетницу — у нее хлопок громче — и осторожно ступил на полужаметную тропинку, спускающуюся к воде. Видимость не более метра, то есть и тропинку-то рассмотреть можно только наклонившись. Куда его к черту понесло? — Уже после окончания этой истории Майкл рассказывал, что, сменившись с последней ночной вахты, впал в хандру, которую он всегда испытывал в затяжные зимние туманы. Поев без аппетита на камбузе (на общий завтрак он из-за вахты не попал), он пошел в свой кубрик, лег на койку, но сон не шел. Оделся и вышел на воздух, сделал пару кругов вдоль ограды, затем ему послышался птичий гомон — и такое в туман случается, что утки прямо у поста усаживаются в снег, — Майкл заинтересовался и вышел за ограду, а затем... затем он пару часов бродил по колено в снегу, когда замерзал, то вытапывал площадку диаметром в полметра, прыжками согревался, брел дальше. Кричать он перестал уже через первые полчаса, охрипнув в сыром тумане.

Андреяну, семь лет пребывавшему в здешних местах, все было понятно и хорошо знакомо. Здешний туман настолько своеобразен, что его и сравнить-то не с чем; пресловутые лондонские туманы (по авторитетному свидетельству Джеймса Лэнга) и лично виденные ленинградские (Волховстрой, потом Кронштадт) ни в какое сравнение не идут. Кроме того, что они длятся неделями, туманы эти ядовито-едкие, обжигают бронхи и легкие даже при осторожном вздохе и настолько плотны, что ладонь вытянутой руки не видна — на глазах, как в сказочном фильме, тает... Скольких людей в тех местах этот туман инвалидами сделал, а еще более и на иной, по сравнению со здешними местами, может и лучший, свет отправил? Но и здесь место для юмора найдется: когда Иосиф Виссарионович вернул армии погоны, то туман сыграл злую шутку именно с моряками. В отличие от воинов сухопутных, формы которых для младших офицеров и старших, тем более генералов, имеют массу заметных отличий: фактура сукна, форма зимних шапок, папахи у полковников, лампасы у генералов, сложная иерархия золотого шитья, нашивок, петлиц и пр. и пр., — у моряков всех званий, начиная даже и с неофицера тогда — мичмана, форма единообразная, а в зимнем тумане даже единственное отличие — погоны — и то теряется.

Допустим, когда рядовой моряк или «ундер» в тумане примет широкоплечего лейтенанта за кавторанга и поприветствует того этим званием, то и моряку особо не обидно, а недавнему выпускнику военно-морского училища и вовсе бальзам на душу. Но когда старослужащий старшина откозыряет, став в полный фрунт, надвинувшемуся из тумана осанистому мичману, нареча его сгоряча каперангом, то это уже полный конфуз, а у «сун-

дука» квадратная физиономия расцветится ядовитнейшей из ухмылок*.

...Самое скверное, что многодневный туман, порождение Гольфстрима, наводит на человека тоску, угнетает психику самых что ни на есть здоровяков тела и души, а иных во флот в те годы не брали. Даже собаки и кошки угрюмеют в эти туманы. Туман человека непривычного затягивает, гипнотизирует, как колдунья манит в свои тенета. Вступи, дескать, в меня, вступи, ничего страшного во мне нет! Действительно, входить в туман нестрашно, чувство опасности притупляется. Это как с движущимися автомобилями; светлым днем человек их опасается, дорогу не переходит, едва увидев появившуюся за пару сотен метров машину, но вот в вечерней или ночной темноте смело и неторопливо переходит широкое шоссе прямо перед светящимися фарами: потому что и самой-то машины не видно, одни веселые фары, а темнота скрадывает соразмерность пространства. Точно так же обманывает человека и густой туман.

◆ Начавшаяся легкая поземка, из тех, что туман согнать не осиливает, но следы замечает, сделала тропинку к воде почти незаметной, но Андреян этот путь топтал не один год службы на Торосе. Вода языком выступала из тумана и лизала галечный берег. Андреян прошел от скалы до скалы, слева и справа на пару сотен метров обрамлявших этот единственный на острове «пляж». На крики отзыва не было. Он поднялся обратным путем на гору и через четверть часа был на противоположном, но уже обрывистом берегу острова. Еще через час он приближался к самому отдаленному островному выступу. Кричать он тоже давно перестал: туман съедал все звуки в полусотне шагов.

Этот дальний выступ был и самым обрывистым, самым коварным. Абсолютно отвесные стены выступали из воды неимоверной глубины и высились на сотню метров. Наметенный за полузиму снег нависал козырьком над стеной: человек идет себе в тумане по ровному снежному полю и вдруг проваливается, летит сотню метров, уходит с головой в тяжелую, переохлажденную воду, мигом коченеет, у него сводит мгновенно руки-ноги, а начавшийся отлив тихо относит в море оледенелый труп...

Еще со времен устроения поста на острове берег этот опасный был помечен столбами-вешками. Андреян, проваливаясь по пояс в снежном насте, осторожно, ориентируясь по вешкам, появляющимся из тумана при ходьбе, обходил берег выступа. Окрики ощутимо тонули в тумане, однако у четвертой по счету вешки ему почудился ответный крик. Показалось? —

* После «снятия» золота с офицерских погон и введения звездочек у мичманов в 60-х годах туманный самообман и вовсе принял гиперболические формы: запросто мичмана можно принять за вице-адмирала; старших мичманов за адмирала флота не принимают только потому, что последний рядок и без свиты не появляется на людях...

Он накинул на столб заранее сделанную петлю взятого с собой тонкого фала* и, разматывая моток, осторожно двинулся в сторону обрыва. Через десять-пятнадцать метров на его окрик уже явственно отозвался сильный, слабый голос Майкла. «Стейт! Стейт!» — закричал Андреян. «Йес, йес Андрэй-ян!» — сипело, но уже, обрадовано, из тумана.

Андреян скорректировал курс, но через десяток метров фал закончился. «Ком цу мир!» — закричал Андреян, учивший в школе и техникуме немецкий. «Йес, пон-нимай!» — отозвался Майкл. Дабы Холлувэй держал правильно курс и не тратит слов понапрасну, Андреян произнес краткую, но содержательную воспитательную речь, отборно пересыпанную матом. К концу ее из тумана вывалился Холлувэй, по пояс в заледеневшем снегу, посиневший лицом. Шапка была с опущенными «ушами» и завязана под подбородком. Для моряка это все одно, что штатскому выйти на улицу в кальсонах...

Уже на посту, после камбуза с оздоровительной стопкой, Холлувэй рассказал, что, выйдя на вешки, он вспомнил их назначение и пошел перпендикулярно линии вешек, полагая, что идет вглубь острова... Сопоставив длину фала, примерное расстояние между Андреем и Майклом, коллективно вычислили, что идти bravому янки оставалось чуть более десятка шагов.

Холлувэй, чувствуя себя трагическим героем дня, растерянно улыбался, потом вскочил, схватил руку Андреяна в обе свои, сильным голосом горячо произнес на одном выдохе длинную фразу, в которой упоминался «годд», Андрэй-ян и почему-то Гитлер, правда, в неодобрительной интонации. Затем он исчез из камбуза и вернулся с довольно-таки массивной чайной ложкой с затейливыми виньетками и выпуклой надписью на черенке: «*U.S.Navy*»**, которую и вручил Андреяну.

В команде, где все и все друг о друге знают, было известно, что раньше Холлувэй служил на эсминце, который был в самом конце 41-го года, чуть ли не через неделю после объявления Германией войны Америке, потоплен немецкой подлодкой у берегов Англии. Англичане же и подобрали моряков, успевших надеть спасательные пояса. Из всех немудреных личных вещей моряка Майкл при спасении имел матросскую книжку и серебряную ложку, то есть то, что и носил всегда в бушлате. Книжка почти не промокла, ибо находилась во внутреннем кармане, да еще плотно прижата спасательным поясом. А ложку Холлувэй уже с полгода постоянно носил с собой — талисман; за полгода до гибели эсминца, последний попал в сильнейший шторм в Атлантике, и матрос Холлувэй, рискуя сам

* Прочный, особым образом сплетенный трос (морск.).

** Флот Соединенных Штатов (англ.).

быть смытым, успел схватить за рукав штурмана, вышибленного волной за борт, но успевшего схватиться за бортовой поручень. Офицер назвал его спасителем, выхлопотал Холлувэю медаль за мужество, а от себя подарил личную его чайную ложку из парадного прибора кают-компании. «Носи всегда с собой, серебро — лучший талисман для моряков; а если тебя кто спасет от неминуемой, то передай ему...» — напутствовал штурман, философ и фаталист в душе.

♦ Андрейна ложку-талисман в кармане не носил, но до самой своей кончины пил чай, любителем которого был страстным, по старой русской традиции, не вынимая ложки из стакана. Эта ложка была сугубо его личной, впрочем, будучи потомком калужских старообрядцев-поповцев из деревни Дворцы на том самом берегу реки Угры, где произошло знаменитое «противостояние на Угре», он, вольнодумец и материалист, в церкви бывший один раз в жизни — когда его младенцем грудным крестили, — он имел собственную тарелку, стакан, ложку и вилку. А завершив военную службу Отечеству, постоянно носил бороду.

Много событий, громких имен, вошедших в большую историю, сопровождали жизни Андреяна, простого русского моряка. Беды и невзгоды переносил он со стоицизмом, в спокойное время расслаблялся душой, был незлобив и бескорыстен, всегда сам по себе, хотя отшельником не жил и не ощущал себя. Это и есть характер русского человека, ныне почти изжитый.

А живут люди на Земле-планете тесно, хотя их миллиарды. Андреян, Асатурьян, Гриша-кок, Джеймс Лэнг и Майкл Холлувэй, два сменивших друг друга командующих Северным Флотом, министр Косыгин, руководитель комсомола, а потом и партизан Карелии Андропов и многие, многие другие, наконец, и постоянно растущий в званиях политотделец Шулейко — какая судьба собрала их с разных концов света, а, что еще интереснее — с разных социальных ступеней, и свела в одно место и в одно время? Малой стала Земля...

Кстати, о Шулейко; бывает же так, что сведет судьба с человеком, обычно малопривлекательным тебе, и всю жизнь на него натыкаешься. Таким вот для Андреяна оказался Шулейко. В середине 48-го года Андрейна, скрипя зубами, уже женившись и ожидая сына — нашего знакомого в будущем Николая Андреевича, подсчитывал чуть ли не дни до увольнения: через полтора месяца должно было стукнуть ровно двенадцать лет службы, что давало право кадровому (то есть призванному еще до войны) на пенсию в тридцать лет; понятно, с учетом военных лет, службы в Заполярье и пр.

Само собой понятно, что пенсия его мало занимала, да и как она может всерьез интересовать тридцатилетнего человека, видного собой, отмотав-

шего десять с лишком лет, чуть не половину военных, да почти сразу после окончания войны, заставившей всех и все думать об иных ценностях?

Он был настроен снять старшинскую форму сразу после Победы, но многоопытный в жизни Асатурян, который и сам не рвался в свой Армавир, посоветовал не торопиться, а сначала съездить на родину в отпуск. В родной деревне, полусожженной, маялась с детьми мал-мала меньшая сестра с похоронкой на мужа. А в Калуге — карточки, всеобщий разор, по вечерам и ночам шпанье свищет. Дядька, его воспитатель и самый удачливый из семейства, увы, помочь никому и ничем не мог; был он уже не полковником НКВД, но осужденным на двенадцать лет за должностное преступление; впрочем, это тема отдельного повествования.

Да и родня деревенская и городская, особенно повоевавшие мужики, в голос уговаривали: дескать, не дури, Андреян, были бы мы кадровыми, не задумываясь, в армии остались, переждать это лихое время в тепле, порядке и сытости!..

Андреян послушался и, догуляв отпуск, вернулся на службу, правда, каждое лето приезжал в отпуск. Служил он на посту СНИС'а, но уже в обжитом месте, недалеко от Мурманска, прямо через залив напротив Североморска. Служил уже не старшим на посту — в мирное время начальники плодятся как грибы!

И дослужил бы до пенсии, но Шулейко, видно, предчувствуя расставание с опекаемым с довоенного времени, зачастил на пост и довел-таки Андреяна до того предела, что плюнул тот на пенсию и подал рапорт об увольнении. Шулейко помог скоренько все оформить. Вот уж расчетливым и терпеливым ради этой расчетливости Андреян никогда не был, да и не стремился им быть.

Однако теперь семейному Андреяну на родину было возвращаться и вовсе не с руки, благо рабочих рук на Севере всегда не хватает, а руки у него росли из нужного места. Так и прожил он в тех местах до середины 60-х годов: подросли и стали заканчивать школу дети, пора было их вывозить на Большую землю. А тут кстати и обосновавшийся в Т. после отсидки дядька, бывший полковник НКВД, стал зазывать к себе. И звал, продав племяннику половину дома в спокойном и недалеком городском пригороде, при металлургическом заводе.

С каким же изумлением он как-то рассмотрел, садясь на автобус, полковника Шулейко, но уже в штатском. Тот тоже узнал в бородаче бывшего старшину. Из разговора выяснилось, что экс-политотделец живет тоже в собственном доме через две улицы, а работает начальником отдела режима на крупном заводе в центре города.

Позже, встречаясь на автобусной остановке, оживленно вспоминали северное житье-бытье. Шулейко про орден Георга — ни полслова, зато

часто и со смехом вспоминал, правда, оглядываясь на пассажиров и понизив голос, как Андреян обстрелял из тяжелого пулемета Кольта катер с Косыгиным. Впрочем, это тоже отдельная история.

♦ Наследство после Андреяна осталось немудреное, больше памятное. Николаю Андреяновичу — медали отца, одному его брату — семейный альбом, а третьему, самому непутевому, — серебряная ложка, которую в родительском доме, где он остался жить и который превратил в подобие шалмана, то ли украли веселые собутыльники, а может и совместно пропили.

Иной мир, иные времена, иные люди...



КАНИКУЛЫ С ПРОДОЛЖЕНИЕМ

*«Отец, я тебя не забуду.
Прости мне до срока вину,
Что я не сберег от Иуды
Великую нашу страну»*

Виктор Верстаков

♦ У человека пьющего чешется нос в предвкушении стопки-другой под селедочку — аккуратно почищенную-порезанную да с лучком зеленым, с горошком, уксусом сбрызнутую... Нечто схожее и у собрата-литератора, когда тема повисла на кончике пера; так и прямо зуд какой в ладонях! Так и хочется послать куда подальше начальников и домашних, друзей и женщин, даже наиболее человечных из окружения: кота и собаку. Послать, а самому зажать мертвой хваткой рабочий инструмент, то бишь ручку (шариковую за рупь-двадцать или «паркер» за две сотни долларов — это, смотря по достатку, как нынче говорит вмиг обуржуазившийся народ, бывший строитель социализма), и, говоря словами Хлестакова, сочинить что-нибудь этакое!.. «Московский телеграф на паях» к примеру. Итак, все дело в теме, без нее и двухсотбаксовым «паркером» только фигу и сочинишь.

Вот такая же тема-заноза давным-давно просится на перо, но многое ее сдерживало. В славное советское время — облит, точнее не сам «лит», а семижды более бдительные редакторы. Живо помню первого своего редактора А., который выбросил из сборника рассказ, поскольку в нем присутствовал солдат, свихнувшийся с ума и сбежавший из части с автоматом. Сейчас о таких солдатиках по телязнику каждый вечер на сон грядущий радостно сообщает счастливая дикторша, все сводя на пережитки то-

талитаризма, происки оппозиции и вообще, подводя к мысли о ненужности армии в свободной России.

К сожалению, такие несчастные солдаты были и в царском Войске, и в доблестной Советской Армии, а про нынешнюю, обутую-одетую по образцу Народно-освободительной армии Китая 45-го года, и говорить нечего; дикторши все скажут тем дебилам или пожилым людям, которые еще в ящик этот поганый смотрят. А разве в армии возлюбленных дикторшами США их меньше? Но это мы отвлеклись. Скорее всего, прав был «лит», ибо его цензура была на пользу государству, обществу, в конечном итоге — каждому человеку. Это только теперь все стали понимать. А при нынешнем режиме, когда можно говорить и печатать что угодно (Власть предрежащие взяли на вооружение девиз Бисмарка: «Говорите что хотите, только слушайтесь»), а художники так те и ср... прилюдно на вернисажах могут в порыве вдохновения, здесь, напротив: не хочется даже невольно вливаться в общий хор хулящих и проклинающих вскормившее их заботливое государство и власть. Тем более, что тот памятный для меня случай совсем нехарактерный для былых времен, хотя и авария значительная по масштабам, но несколько нелепая по причинам, словом — прямо-таки конфетка для «авторских ТВ-проектов», — так вот, каким-то чудом этот сюжет ускользнул от бдительного ока и слуха нынешних теледив и теледивов.

Но вот не выдержало ретивое, гибель «Курска» доконала. Причем, доконал не сам факт катастрофы, хотя это бесконечно больно, обидно, страшно, наконец, за страну и ее народ, который медленно, но целеустремленно лишают военной мощи. И человек я не совсем сторонний Северному флоту: родился в поселке Белокаменка, что через Кольский залив прямо напротив Видяево (если не изменяет память, он тогда Верхней Ваенгой назывался), жил до восемнадцати лет в полчасе ходьбы на катере от Видяево и Североморска. А отец так и всю войну был моряком-североморцем. Тем более обидно, жалко, печально.

А доконала вакханалия, поднятая всем этим телекагалом в связи с гибелью «Курска». Много было за десять лет гнусностей, но такого страна и мир (если он вообще еще в нашу сторону смотрит) еще не видели, словом — пляска на костях, как мелочные лавочники высчитывают стоимость жизни подводника: хорошо хоть в рублях, не в долларах! Такое впечатление, что у этой братии и президент, и правительство, и всякие там думы-передумы есть мальчишки для битвы и представительства...

Гласность, мать ее ити... Я вырос в городе подводников, большинство моих сверстников в школе были детьми офицеров-подводников. Подводные лодки гибли всегда и у всех стран, поэтому для них нет разделения на мирное и военное время; в походе они — всегда на войне. Но об их гибели ни мы, ни американцы не трезвонили, ибо гибель подводной лодки — это

стратегическая тайна. И мы в своем классе только по траурной одежде учительницы или по факту внезапного отъезда одноклассника на свою родину в Ленинград догадывались о происшедшем.

...Все же удивительно, как это они просмотрели это событие 35-летней давности? Про все раскопали и грязью облили: пожар на «Ленинце», пожар и гибель «Комсомольца», гибель нашей атомной лодки в Индийском океане... И все это в такой интонации излагается, что каждой нашей лодке уготовано лечь на дно в мирное время. И все это документально инсценировано, но вот никак в голову не возьму: как же на роль иллюстраторов здесь соглашаются бывшие капитаны и адмиралы? — Воистину последние времена наступили.

♦Одиннадцатого января, как то заведено со времен первых регулярных школ петровского времени, закончились зимние каникулы. Школа, что стояла на взгорье и в основании главной улицы города, называвшейся в честь героя Отечественной войны капитана-подводника Исаака Израилевича Фисановича, наполнилась с раннего утра гомоном. Впрочем, явление утра здесь и в это время года чисто условное: за Полярным кругом и к полудню едва-едва забрезжит, ибо понятие полярной ночи как раз не абстрактное, а самое что ни на есть реальное. Поэтому и гомон был сквозь неразогнанную до конца дремоту.

Что касается меня, то дремоты и вовсе не было, хотя спать лег только в три часа ночи: шли большие зимние международные соревнования коротковолновиков, продолжались они трое суток без перерыва, и столько же суток не гас свет в окнах третьего этажа — в выступе во двор — нашей школы, где размещалось хозяйство любительской радиостанции с гордым позывным *UAIKUZ*. Почему гордым? — Дело не только в том, что мы были самые северные радиолюбители в стране, исключая, конечно, очередной дрейфующий «Северный полюс» и атомоход «Ленин», когда он выходил из порта приписки Мурманска (там он был южнее нас на двадцать миль), где также имелись любительские позывные. Дело было сложнее, тонкости могут понять только посвященные в сложную науку радиосвязи на коротких волнах и с малой мощностью... Проще говоря, сложность распространения коротких волн в северных широтах и наше местоположение сыграли такую шутку, что в зимнее время радиостанция, включенная на разрешенные двадцать ватт, заглушала связь между американцами и Западной Европой с их пятисотваттными и киловаттными передатчиками. С каким наслаждением и злорадством мы постоянно натывались в эфире в дни больших соревнований на отчаянную морзянку, перевод которой с любительского кода на нормальный язык значил: «Вас не разбираю, *UAIKUZ* сел на нашу частоту и глушит!»

Да еще Алексей Васильевич, матерый мичман и наш наставник-руководитель, в соревновательные глухие зимние ночи, когда явно дежурный инспекции электросвязи (наш главный враг и контролер в эфире) в Мурманске прикорнул и видит третьи сны, подмигнув и велев всем выйти в другую комнату, делал неведомые и скрывааемые от нас тщательно переключения в довольно-таки внушительном, весом с полтонны! — передатчике типа «Победа — Р...», списанном с крейсера, после чего янки прямо-таки шарахались с частоты, где появлялась морзянка: «*CQ, CQ de UAIKUZ*».* Какую именно «мощу» врубал Алексей Васильевич — то было неведомо, но в выходном каскаде передатчика, изготовленного в год Победы, стояли две лампы, каждая размером с китайский термос, а это мы уже хорошо знали: такая лампища «ГУ-80» под киловатт коচেгаарит...

Чтобы до конца было все понятно, поясню: наш школьный выпуск, до конца которого оставалось еще полтора года, являлся последним в достопамятном эксперименте с одиннадцатилетним обучением, то есть, начиная с девятого класса, вменялось производственное обучение. Дабы не ломать голову себе и другим, руководство школы поступило просто: кто по своим склонностям не прельщался дальнейшей учебой в вузах, того определили ходить осваивать рабочие профессии на военный судоремонтный завод — основное и громадное по размерам предприятие города; остальных решили обучать профессии телеграфиста-связиста, а для практики, ровно как и теории, нашелся подходящий человек — педагог в душе, а по профессии мичман с военного же узла связи, Алексей Васильевич, еще заставший на срочной морской службе последние годы войны: радистом на знаменитой «щучке» капитана Лукина, торпедировавшего «Тирпиц», самый большой линкор по ведомству гросс-адмирала Дёница.

Будучи же еще с довоенных мальчишеских лет страстным радиолубителем, он не ограничился с нами уроками радиодела и морзянки, а мигом сварганил, то есть оборудовал по высшему разряду радиостанцию, завезя в школу два грузовика списанной, но абсолютно надежной и работоспособной аппаратуры и причандалов к ней. Как он и директор школы сумели вырвать у особого отдела гарнизона закрытого военного города разрешение на открытие любительской радиостанции — о том история умалчивает. А впрочем, тогда к педагогам прислушивались, а среди будущих фанатов-коротковолновиков были два адмиральских сына (разных адмиралов, не братья) и несчетно — детей капитанов первого ранга, командиров кораблей: надводных и подводных, включая и главного особиста гарнизона.

* «Всем вам, вызывает для установления связи радиостанция *UAIKUZ*» (радиолубит. код).

♦ В ночь на первый день занятий после зимних каникул и последнюю ночь трехсуточных соревнований, престижных «*WWDx*»*, моя смена в паре с Ленькой Карпушенко была предпоследней: с нуля и до трех ночи. Ленька маялся зубами (боялся бормашины), а потому к ключу телеграфному не прикасался, все больше смотрел в потолок, видимо, размышляя: идти завтра к зубодеру или потерпеть? Надо было решаться, здесь был бессилен даже его могучий папаша, кстати, тот самый главный особист.

Мне Леньку было не жалко ни капельки, ибо хорошо помнил его сентябрьскую «шутку»; хотя он в ней и не признался, но это была тайна Полишинеля, и по морде он схлопотал. А дело было в следующем. На второй год обучения телеграфному делу, когда Алексей Васильевич сварганил радиостанцию, он принес в радиокласс и раздал всем для заполнения анкеты, которые по правилам и требовалось заполнить всем, кто выходит в эфир. В «штатских» городах их складывают в архивах местных управлений КГБ, а в военных — в Особых отделах. Поскольку их заполняют чисто для проформы — что возьмешь с беспаспортного еще пацана? — то и формы анкет бережливый прапорщик-особист дает списанные. Также и нам попались: явно образца 20—30-х годов, на двух листах, со множеством пунктов, где следовало подробно раскаться: служил ли в белых армиях и у Махно? Почему служил, какой чин имел до революции, имели ли родители во владении фабрики-заводы, какими царскими наградами удостоен и пр. и пр.

Алексей Васильевич, педагогично скрывая улыбку строгостью лица, посоветовал на все эти интересные вопросы отвечать пунктуально и кратко, но обязательно отвечать: «Нет». «Не служил». «Не владели». «Не привлекался». «Не имел». Главное, толковывал он, не делайте ошибок и ни в коем случае не исправляйте их, если сделали. Лучше заново перепишите, у меня запасные есть.

В графе о рождении я написал Мурманск, ибо в тамошнем роддоме я родился, однако потом задумался: официальным местом рождения является не роддом, а место проживания (ведь паспорта еще не было, в памяти не отложилось), то есть следовало указать: «пос. Белокаменка... района Мурманской области.» Получив с легкой нотацией чистый бланк, заполнил его уже правильно. Подпорченный же, содержащий указание на имя, домашний адрес и неправильное место рождения, сунул в портфель, ибо военноморской порядок в хозяйстве Алексея Васильевича категорически пресекал оставление всяких сорных бумаг, ровно объедков и прочего мусора в ящиках наших рабочих столов с вмонтированными телеграфными ключами.

* Соревнования на диплом Всемирного союза радиолюбителей-коротковолнников, работающих на телеграфном ключе.

Однако, на уроке литературы сам черт поторопил — была контрольная; высказав свое одобрительное мнение о Жане Вальжане, в оставшиеся четверть часа, руководимый тем же рогатым, я расписал пунктуальнейшим образом всю свою интересную жизнь в подпорченной анкете. Писал с вдохновением, где не хватало места в графах — приписывал на полях. Получалось так, что хотя я и родился в семье богатейших воронежских помещиков, до 1861 года владевших в окрестности городка Рамони семью тысячами душ, но был почему-то незаконнорожденным сыном обер-прокурора Святейшего Синода Константина Павловича Победоносцева... Это и определило судьбу дитяти: кадетский корпус в Воронеже, Михайловское артиллерийское училище в столице на Неве, там же и академия без обязательного перерыва на службу в армии. Окончив обучение в заведении, где и Достоевский чертил военные чертежи и знаменитое свое слово «стушеваться» придумал, был я отправлен помощником военного атташе в Париж, а по совместительству — от Управления внешней разведки — интересоваться артиллерийскими успехами дружественной по Антанте Франции. Орден «Почетного легиона» от премьер-министра Пуанкаре и «Белого Орла» — от своего государя я получил одновременно и перед самой империалистической войной.

Будучи патриотом и уже штабс-капитаном, я отказался от теплого местечка и виллы в Буживале (успел жениться на очаровательной и весьма состоятельной русской княгине из дома Белозерских-Белосельских, что постоянно проживала в столице Европы) и отправился в армию Брусилова, с коим, состоя его адъютантом от артиллерии, и совершил прорыв на равнины Венгрии. Скромный, но высоко чтимый офицерский «Георгий» украсил мой китель. Подоспел к раздаче орденов, коих целый мешок привезли от румынского короля, нашего союзника...

Словом, к самой Октябрьской и Великой, несомненно социалистической, я в неполные 30 лет носил уже полковничий мундир, украшенный всеми российскими орденами высоких степеней, исключая Андрея Первозванного, который дается только членам царской фамилии... правда, при их рождении.*

В гражданскую я метался не хуже Григория Мелехова: был и начальником штаба у Деникина, и комполка у батьки Махно, с Буденным Первую конную пестовал... В военной доблести на службе обновленному Отечеству сравнился-таки с Блюхером: четыре «Красных Знамени» легли на мою возмужавшую в походах «по долинам и по взгорьям» грудь!

Но — плохо кончил, неизбитая дворянская спесь подвела: по веселому

* Заполняя я анкету в наше время, когда «Первозванный», вновь восстановленный, раздается совершенно разным людям, был бы и его кавалером...

и пьяному делу прилюдно отхлестал нагайкой наркомвоенмора Иудушку Троцкого, чудом избежал расстрела, а потом и вовсе — старые друзья на большевистской службе помогли — бежал в Париж, в Буживаль к верной и дожидающейся, как Сольвейг, супруге-княгинюшке.

◆ Дальнейшие подвиги описывать воздержусь, ибо кое-кто из сопутствующих моему жизненному пути знаменитостей еще жив-здрав. Неудобно.

Следующим уроком была как раз история, новейшая история России с ее революциями и войнами, происками Троцкого и победами советских маршалов. Наталья Капитоновна, наша уважаемая историчка, порой и не раз удивленно поднимала то правую, то левую бровь: тема урока бала совсем невеселой — о перегибах первой пятилетки на селе, о раскулачивании и расказачивании, голоде на Украине и пр., а тут волнами — от парты к парте — с интервалом в две-три минуты прорывался с трудом сдерживаемый хохот. То читали пущенное мною мое же жизнеописание.

Прозвенел звонок, озадаченная Наталья Капитоновна собрала свои книжки, журнал и вышла, явно в полном недоумении. Весьма довольный собой, я тоже поднялся, дождался пока мне вернули удивительную анкету, подержал ее в руке, подумал, а затем скомкал и, выходя одним из последних, бросил в мусорную корзину, что стояла в углу между дверью и партией.

Надо заметить, что с того происшествия я всякую ненужную бумажку выбрасываю не иначе, как только разорвав ее — по правилам, рекомендуемым различными «первыми отделами» и прочими секретничками, на 64 кусочка: надвое, далее, сложив половинки, начетверо и так далее. Даже если это листовка-агитка, опущенная в наше демократическое время в почтовый ящик, в которой здоровенный — рожка еле в фотографию влезает — бандит или иной какой «предприниматель» обещает в случае его избрания в местное или центральное представительство и манну небесную, и копейку в базарный день нищему подать... Такой вот памятный урок получил за свою шутку.

Выходя из класса, мало что думал: кто же и что думает, выходя с последнего урока в ласковый раннесентябрьский день. На волю! Но боковое зрение помимо мысли отметило: после меня в классе оставались только — и направлялись тоже к выходу — две подружки с удивительными фамилиями — Кочерга и Колбаса, причем, Кочерга была сухой, тощей, чернявой полтавской хохлушкой, а Света Колбаса — приятно-пышной, дородной уже в свои пятнадцать лет вальяжной блондинкой с красивыми голубыми глазами и высокой грудью, а также Ленька Карпушенко по кличке «Карп», замешкавшийся за своей камчатской партией. Опять же только спустя время я припомнил его серьезный и внимательный взгляд вослед мне, уходящему.

На следующее утро я шел в школу, еще ощущая себя героем дня, хотя и минувшего, поэтому даже и не удивился, что со мной предупредительно и как-то странно здороваются некоторые из встречаемых-обгоняемых по дороге одноклассников. Причем с гордостью отметил, что и отдаленно лишь знакомые девочки из других классов перешептываются, завидев меня. Городок-то маленький, все новости за полдня растекаются! Только неразлучные подружки Кочерга и Колбаса кивнули мне как обычно, на ходу жадно обсуждая виды на ближайший завоз в военторг рижской косметики...

У самых школьных ворот на меня надвинулся тучей непонятно почему появившийся в этот день (занятий по радиodelу не было) здесь Алексей Васильевич. По всему было видно, что шел он быстро, почти бежал, фуражка-мичманка на бок сбились, а тугой ворот кителя со стоячим воротничком был неуставно расстегнут — виднелся край тельняшки.

— Ты... ты что натворил, мать... — чуть было не сорвался он непедagogично. Я даже повернулся, оглядываясь, на кого это он так.

— Тебе, тебе говорю!

Меня бросило в жар и холод одновременно, живот завибрировал, а ладонь правой руки перестала чувствовать ручку портфеля. Вокруг стали собираться любознательные. Алексей Васильевич пришел в себя и, дав мне знак, вошел в дверь и поднялся на третий этаж, открыл радиийную комнату, впустил меня, захлопнув дверь.

Как вскоре разъяснилось, вчера, возвращаясь с домашнего обеда, комендант города, полковник Авзурагов заинтересовался большим скоплением разного, в том числе и штатского, народа у доски объявлений по гарнизону. Объявления там были всегда только одного свойства: какая форма одежды (зимняя, летняя, промежуточная и т. п.) надлежит на сегодняшний день к употреблению и ношению. Невероятно, чтобы с полсотни людей: матросов, гарнизонных солдат-краснопогонников, младших офицеров и даже стройбатовских азиатов, не говоря уже о гражданских подростках-школьниках, могло и одновременно привлечь краткое сообщение, что-де по гарнизону на первую половину сентября месяца объявлена форма одежды № 2.

Комендант, дабы не компрометировать себя общением с толпой, уняв любопытство, сначала проследовал в свой кабинет и оттуда уже послал дежурного офицера за разъяснениями. Тот вернулся, доставив начальству не что иное, как мою давешнюю анкету, которую какой-то сукин сын (я сразу понял кто он) аккуратно прикрепил на бечевке — как в магазинах книгу жалоб крепят, чтобы читать и писать с обеих сторон листов можно было — к им же вбитому в доску гвоздику. Заодно дежурный принес пользу комендатуре: разогнал толпу, прихватив троих «партизан»-киргизов, которые не могли толком объяснить: что они в разгар рабочего дня делают

в центре города? Чернопогонников мигом пристроили к делу: отослали к соседней кочегарке, обогревавшей и комендатуру, разгрузить только что прибывшую бортовую машину с углем.

...К концу рассказа Алексей Васильевич сам начал посмеиваться, но внушение мне сделал строгое и велел написать на его имя объяснительную записку. «На всякий случай», — кивнул он мне, выходя из комнаты.

♦ Карпу я тогда врезал, но он это дело запомнил и все-таки ответил: влепил мне по щеке публично по приговору суда чести класса (а в этом случае отвечать тем же не полагалось) месяц спустя. Дело было в том, что, как-то замешкавшись на перемене, я влетел в физический класс, когда Татьяна Сергеевна вела опрос по какому-то делу. Спросила и меня: дескать, такой-то раздел на дом задавала? Я ответил утвердительно, ибо и знать не знал, что был сговор провести 70-летнюю физичку с начатками амнезии. Самое же существенное, что мне по цепочке заранее должна была это сказать очаровательная Света Колбаса, но она сбежала сам-одна, даже без верной Кочерги, со второго еще урока в военторг, куда по достоверным слухам завезли редкостные тогда еще гэдээровские колготки.

...Надеюсь, теперь понятно, почему зубные мучения моего напарника не вызывали моего же сочувствия. Хотя злобы к Карпу я уже не чувствовал: вроде как квиты, а в последних классах нашей школы принято взаимные грехи прощать, ибо еще год с половиной — и разлетимся кто куда, это не Большая земля, тут редко кто остается. Оттого и прощают друг друга, как то принято при расставании.

Ленька клялся и божился, что с вечера зуб не тревожил, а заныл уже в школе. Этому я охотно верил, — что зуб всегда схватывает ночью. Отпустить же его домой было невозможно: строжайшее правило находиться при включенном оборудовании не менее чем двум. Позвонить и вызвать замену — так единственный телефон в опечатанном кабинете директора. В конце концов Ленька выпил два стакана горячего чая (имелся дежурный электрочайник), съел очередную таблетку цитрамона из имевшейся на радиостанции аптечки, после чего боль притупилась, а он сам прикорнул в комнате-предбаннике на имевшемся там на случай дежурной дремоты топчане, некогда принесенном с первого этажа из медпункта; им новый привезли. Наконец-то я остался полным хозяином и, отключившись от мирских дел, надел наушники с резиновыми заглушками и полностью ушел в эфир.

♦ И еще несколько слов о радиоспорте, ныне почти что и канувшем в Лету, а в описываемые времена уступавшем по популярности разве что футболу. Ценилось не количество установленных радиосвязей, а работа с

удаленной радиостанцией, желательно — на антиподе земли. Почетными трофеями были сеансы с Антарктидой и радиолюбителями на полярных станциях Арктики; правда, именно для нас последние раритетами не являлись: сами на краю Арктики.

Большой удачей считалась связь со знаменитыми экспедициями: на Гималаях, с Туром Хейердалом в очередном его плавании, со станцией «Северный Полюс», каждый год начинавшей свой дрейф на льдине. Ценились экзотические позывные центральноафриканских стран, Новой Зеландии, тихоокеанских архипелагов, а также сеансы с крайне малочисленными радиолюбителями, почти что единицами, в Китае, КНДР, Вьетнаме (Северном), Монголии. Некоторые смельчаки рисковали — рисковали потерей позывного — в глухое ночное время, конечно, не называя своего позывного, обменяться мнениями о погоде и слышимости со станциями из Южной Африки и Израиля, контакты с которыми были строго-настрого запрещены бывшим геройским полярником-папанинцем Эрнестом Теодоричем Кренкелем — начальником Центрального радиоклуба СССР.

Но были и позывные, за которыми гонялись, сутками ловили их по всему эфиру, а свидетельство состоявшегося радиообмена, так называемую карточку-«кюзэлку» (от кодового слова *QSL* — подтверждение радиосвязи), любовно обрамляли в рамочку под стеклом и вешали на самом видном месте. Таких позывных по негласному списку во всем мире было десyatок-другой. Из наших ребят только Сашка Иевлев имел красочную карточку именитого радиолюбителя — короля Иордании Хуссейна, прямого потомка Магомета. И не потому такую редкостную связь отхватил, что был сыном адмирала, командира эскадры подводных лодок, а имел прекрасный музыкальный слух, а это в радиотелеграфе первое дело, выполнил норму кандидата в мастера спорта, а Хуссейна целенаправленно выискивал в эфире почти полгода.

Лично моим достижением была карточка американца с яхты, приписанной к Окланду. Но это была знаменитость скандального толка: радиолюбителям всего мира было известно, что этот Джон что-то много уворовал в банковском своем бизнесе и уже третий год путешествует на своей яхте в международных водах; если же он войдет в территориальные воды США или европейских стран, то его арестуют и препроводят куда следует. А для общения с миром — скучно ведь на яхте! — страстным радиолюбителем заделался.

♦ Итак, избавившись от напарника, задремавшего на топчане, я вошел в эфир, заполоненный по случаю последних часов соревнования и хорошо-го прохождения радиоволн в северном полушарии. Давили своей массовостью американцы и японцы, связи с ними не котиrowались, поэтому ушел

в нижний конец диапазона. Здесь было потише, но на мое несчастье меня подловил всем нам известный Боря из Хайфы. Это был для нашей радиостанции бич божий. Он прекрасно знал, что советским не разрешается работать с Израилем, но прямо-таки умолял ответить. Отступая от правил телеграфного обмена, переходил от кодовых слов к открытому тексту, который мы все прекрасно уже знали. Знали, что родом из Петрозаводска, а в Мурманске учили в пединституте, земляк наш... Боре мы могли только посочувствовать. Избавился радикально — перекрутил ручку настройки в другой край диапазона. Там тоже было тихо, поэтому, уловив писк «CQ» какого-то американца, без особого интереса ответил ему, обменялся протокольными данными, узнал, что зовут его Барри, название штата не разобрал — пошел гулять фединг, то есть периодическое замирание связи, что случается в разгар северного сияния. Записал в дежурный журнал и снова вернулся в эфир. К концу смены установил с десяток связей, не очень интересных. Потянуло в сон.

Ровно в три дверь отворилась, вошел Алексей Васильевич, который, памятуя, что завтра первый учебный день, последнюю вахту решил провести сам. Одеваясь и будя Карпа, я был остановлен удивленным возгласом наставника:

— Что же не похвастался?

— А-а что такое?

— Как что?! Ты же с самим бешеным Барри связался!

Я в восторге сглотнул слюну и перестал расталкивать Леньку. Как же, кто тогда в нашей стране по десять раз за день не встречал имени бешеного Барри: по радио, по телевизору, в журнале «Крокодил» по две-три карикатуры на него в каждом номере печатали. Это был раритет первого класса, даже в чем-то превосходящий в сложной радиолобительской иерархии короля Иордании... Словом, это был знаменитый антисоветчик, антикоммунист, крайний правый сенатор Барри Голдуотер!

Пробираясь в темноте ночи — а тут еще и пурга завязалась — домой по скрипучему и бесконечно длинному Чертовому мосту, я с легким злорадством представлял завтрашнее кислое лицо Сашки Иевлева, а более всего обдумывал: какой формы и из какого дерева сделать рамочку покрасивее для *QSL*-карточки с лихой подписью *Barry Goldwater* под хорошо знакомой фотографией знаменитого сенатора. Вот повезло-то!

♦ Вот ведь, рассуждал я философически, пробираясь утром все по той же пурге, уже стихающей, в обратном направлении, то есть от дома к школе: наверняка король Хуссейн в своей Иордании запрещает компартию, а про отношение к коммунистам бешеного Барри и говорить нечего, а вот в эфире встретились — и друзья-коллеги. Все-таки, обобщал я, радиолюби-

тели-коротковолновники есть своего рода масонское сообщество: на людях головы друг другу рубят, а в своем коллективе все братья.

Неизвестно, до чего бы я доразмышлялся, но на траверсе школы догнал длинного Сашку Иевлева и похвастался. Тот промолчал, но в раздевалке обронил: ты, смотри, поосторожней будь. На тебя и так уже, наверное, дело особисты завели из-за той анкеты, а теперь еще и Барри Голдуотер*. Вот стервец, весь душевный настрой испортил!

Кстати говоря, QSL-ка от Барри до меня так и не дошла. Я интересовался у Алексея Васильевича потом: неужели и правда карточку особисты в дело подшили? Тот, подумав, ответил в том смысле, что это маловероятно. Может и помнят где надо, даже вовсе и не в связи с моей фамилией, тем более, что в радиобмене только имена сообщаются, а карточку не задержат.

— Скорее всего в Центральном радиоклубе — почта через них идет — кто-нибудь спер для личной коллекции, там жуки еще те!

— Кренкель что ли?

— Да там и без него хватает.

♦ На часах половина девятого, звонок прозвенел, а Наталья Капитоновна запаздывала. В классе сама собой установилась тишина: самый сонный в заполярье час, да и десятиклассники все-таки... Пурга на улице совсем утихла, со стороны пирсов доносились обычные звуки никогда не прекращавшейся жизни большой военно-морской базы: пронзительный шум круглосуточно неся над городом от кислородной станции, где сжатый воздух закачивали в огромные цистерны-баллоны, загружаемые на подводные лодки. Этим сжатым до огромных атмосфер воздухом лодка при всплытии вытесняла балласт — тонны загнанной в специальные полости воды при погружении.

Собачьим лаем переговаривались между собой и с береговыми службами звуковые наутофоны малых катеров и буксиров, сновавших по освещенному прожекторами заливу вроде бы и беспорядочно на первый взгляд, но на самом деле строго выверено по штабным графикам и приказам.

Взрывно начинали, а потом ритмично и звонко барабанили опробуемые дизеля подлодок. Вообще говоря, лодка вещь очень шумная. При надводном ходе лодка шумит громче идущего крейсера — и это не только мое наблюдение. Только вот гибнет, тонет лодка без шума...

* А ведь любопытно было бы полистать то самое «Дело № «...», которое тянется всю жизнь почтай за каждым человеком; неужели и правда, что в описи его за номером первым значится та самая анкета?

По сложной ассоциации вспомнилась вчерашняя, то есть сегодняшняя радиосвязь с итальянцем Гвидо из Палермо (с ним я уже полгода назад работал). Надо сказать — бывалые моряки рассказывали — из всех европейцев именно итальянцы самые консервативные, вовсе не англичане, как принято считать. У себя в Италии они иного языка, кроме как итальянского, вовсе не признают. Даже в таком глубоко интернациональном и не привязанном ни к какому языку (радиолубительский жаргон и Q-код имеют к английскому весьма отдаленное отношение) деле, как радиоспорт, итальяшки выпендриваются: все радиолубители мира между вызываемым и своим позывными ставят частицу *de*, то есть «от», а сыны Неаполя, Палермо и других городов и весей упрямо отбивают на ключе *di*, то есть разница в одной точке: *e* — одна точка, *i* — две точки.

А эта лишняя точка тем же итальянцам очень дорого во время войны обошлась. Алексей Васильевич, приучая нас на уроках к военно-морской дисциплине и аккуратности в телеграфном деле, рассказывал наиболее поучительные случаи, когда по вине разявы-радиста случались разные неприятные истории. Наиболее громкая из них и была связана с гонористостью итальянцев.

Всем известна жестокая война в Атлантике, когда немецкие подлодки бесцельно пускали на дно целые караваны американских транспортов, но и сами несли большие потери, порой до двух десятков подлодок в месяц. И хотя за годы войны на верфях Германии было построено свыше 1000 лучших тогда субмарин, знаменитых *U*-ботов (?!), а к сорок пятому году спускали на воду лодки ежедневно, потери в Атлантике были болезненными, в итоге они достигли цифры фантастической — где-то порядка шестисот! Главными врагами были британская противолодочная авиация и корабли Флота Метрополии, базировавшиеся на шотландском побережье. Важно было обнаружить выход кораблей в море и предупредить штаб германского подводного флота.

Наиболее удачливым разведчиком-дозорным была одна из итальянских подлодок, которая неделями дежурила на перископной глубине напротив главной базы английского флота в Шотландии. На связь она выходила, маскируясь в позывных под английский корабль береговой охраны. И все шло прекрасно до тех пор, пока итальянский радист сел за ключ в день, когда пришла его очередь на бутылку кьянти.* Алкоголь нивелировал тщательную подготовку радиста; ему даже «руку» подбирали под английский стиль работы, а тут всплыло механически затверженное «*di*» и... лишней точки было достаточно: англичане мигом лодку запеленговали,

* Традиция, соблюдаемая всеми подводниками мира: положенные в день 100 грамм сухого вина суммируются «временными коллективами» из 7 человек, каждый из которых раз в неделю снимает стресс, выпивая бутылку вина стандартной емкости — 0,7 литра.

поднялись самолеты с глубинными бомбами, и одной подлодкой в итальянском ВМФ стало меньше.

♦ Наталья Капитоновна вошла в класс навстречу поднявшимся дружно тридцати десятиклассникам. Выдержав паузу, она собиралась поприветствовать нас. И в этот момент звонко хлестнуло по окнам, тугая волна от заколебавшихся стекол ощутимо пробежала через кубатуру класса, и еще туже хлестнул по ушам запоздавшей за первой волной грохот мощного взрыва. Все инстинктивно пригнули головы, обхватив ладонями уши. Наталья Капитоновна схватилась за сердце, но устояла. Затем все, как заученно, посмотрели на целые, невыбитые стекла и на светившие, непогасшие лампы в потолочных плафонах. Только трое ребят, приехавших в город и начавших учиться в нашей школе год-два тому назад, не действовали в описанной последовательности. Они не поняли всего ужаса *совпадения*: до ситуации, до дня, даже до минуты. Остальные же все остолбенели, побледнев. Опомнившись, Наталья Капитоновна, хватая ртом воздух, опрометью бросилась к двери; слышно было нам, даже полуоглушенным, как гремят ее каблуки по паркету коридора.

Оцепенение прошло, кто-то прилип к окну, пытаясь разглядеть нечто, ребята угрюмо молчали, а девочки жались одна к другой, расширенными зрачками то и дело бросая взгляды в сторону незакрытой двери в коридор. Топот и цоканье бегущих каблуков в коридоре усилился, а затем перешел в спокойные шаги. Вернулась Наталья Капитоновна с гневно сжатыми губами; бледность ее отошла, сменяясь нервической красной, охватившей уже открытую шею и продвигавшейся по вискам, захватывая щеки и подбородок.

— Черт знает что,— не сдерживала она своего раздражения,— да садитесь вы! Все в порядке, это на стройке за поликлиникой...

Общий вздох облегчения пронесся по классу, стройку за соседней детской поликлиникой все хорошо знали.

И все враз обернулись на дробящийся стук и громкое «ой» Светы Колбасы: несчастная, она уронила и вдребезги разбила накануне купленную в гарнизонном военторге сверхдефицитную польскую пудреницу.

— Ты еще тут греметь будешь! — прикрикнула Наталья Капитоновна, краска лица которой уже перешла в багровые тона, — да садьте вы, урок все-таки!

♦ Опять-таки надо пояснить, что такое стройка в наших местах, где почвы вовсе никакой нет, а под ногами сплошной монолит-гранит, из которого нагромождены здешние сопки: ни единой ровной площадки, а дома города лепятся уступами на склонах береговых сопок. Короче говоря, что-

бы построить даже небольшую двухподъездную пятиэтажку, необходимо площадку под основание ее вырубить из уступа гранитной сопки. «Вырубают» же способом одинаковым: месяц-другой десяток, а то и побольше стройбатов-чернопогонников сверлят-долбят лунки диаметром со школьную чернильницу-непроливайку и метровой глубины. Работа из числа «пыльных»: питаемый сжатым воздухом от компрессора отбойный молоток стахановского типа рвется из рук, грохот от десятка одновременно работающих молотков — с утра до темноты — непривычного человека с ума сведет. Не день и не два бурится в граните метровая лунка.

Наконец, несколько десятков лунок, размеченных лейтенантом-прорабом, готовы. В каждую из них укладывают на всю глубину цилиндры динамитных шашек. К верхним шашкам прикреплены электродетонаторы (если лунок немного, то вместо них используют детонаторы с бикфордовыми шнурами), провода от которых протягивают в ближайшее укрытое место, где ставят коробку взрывмашинки.

Поскольку вокруг стройки жилые дома, та же школа, детсад и пр., а жильцов и постояльцев никто эвакуировать не собирается, ровно как и ремонтировать эти самые соседние здания после взрывов, то поступают гениально просто: привозят и сваливают рядом со стройплощадкой несколько грузовиков толстых бревен, как правило, комлевых. Бревна — одно к другому — накатывают на зону взрывов и сбивают большими скобами этакий сухопутный плот. Накатывают второй ряд бревен — перпендикулярно к первым — и сколачивают второй слой плота. Иногда и третий ряд добавляют. После чего стройбатовцы с красными флажками в руках разбегаются округ площади, прячась за углами и выступами соседних зданий, гоня перед собой случайных любопытствующих пацанов. Переносная звукоустановка издает истошный вой (который в плотном и сыром зимнем воздухе мало отличим от сигналов на рейде — почему в то утро никто из нас и не обратил внимания), а через полминуты грохочет мощный взрыв нескольких сотен динамитных шашек. Многотонный плот подпрыгивает на метр-полтора и гасит брызнувший слой каменюк. Впрочем, небольшие камешки все же умудряются проскочить между бревен и с дробным стуком падают на соседние крыши и просто под ноги прохожих. На это внимания не обращают. Кстати, стекла в соседних домах этими камешками бьются редко.

Далее стройбатовцы, матерясь по-русски, а разговаривая по-узбекски, плоты разбирают и стаскивают бревна поодаль — для устройства следующего настила. Камни с использованием малой техники грузят в самосвалы и увозят. Прораб с геодезистом обмеряют площадку; намечаются новые лунки и все повторяется. Труд, согласитесь, адовый и кропотливый, но иначе нельзя.

Как уже к полудню выяснилось — директор звонила с жалобой в гарнизонные инстанции, — все для взрыва подготовили еще днем накануне, но при сборке настила затерялся один из проводов; это дело хлопотное, если при взрыве хоть один заряд уцелеет, поэтому стройбатов отпустили в казарму ужин ужинать и отдыхать, а прораб с взрывниками нашли-таки утерянный провод. Однако по позднему времени взрывать не стали, вызвали на ночь из комендатуры караул, а дело оставили до следующего дня.

Надо отметить, что хотя стройбатовцы автомат держат в руках только в день присяги, зато вкалывают они, как и гражданские строители, за обычную зарплату, которая, как известно, существенно зависит от выполнения-перевыполнения планов. А в воинской части понятие плана и дисциплины неразрывны. Поэтому-то, торопясь наверстать упущенное время, которое и при социализме есть деньги, прораб и громыхнул взрывом рано утром, что не поощрялось в целях спокойствия населения. Директор школы подняла в местных и военных властях большой шум, упрекая в травмировании школьников. Более того, она настаивала на том, что это преднамеренный и злостный хулиганский акт со стороны лейтенанта-прораба, выбравшего для взрыва день и час (с точностью до минуты?!), которые случайными назвать нельзя.

Дело улаживал сам комендант. Хотя умысла в действиях прораба не нашли — он всего полгода как прибыл сюда на службу из Ленинградской области, — тем не менее формально он нарушил порядок, потому лейтенанту притормозили на год присвоение следующего воинского звания, а его подопечным снизили показатели по соцсоревнованию.

♦ А зловещее совпадение и действительно трудно было отнести к категории случайностей. Именно одиннадцатого января, в первый день после каникул, наш 6 «Б»-класс также сонно позевывал, рассевшись по партам и ожидая начала первого в четверти урока. Только тогда ждали не историчку Наталью Капитоновну, а учительницу русского Марию Алексеевну, которая через год и стала новым школьным директором. Пунктуальная, она вошла в класс ровно по звонку в половине девятого, и тотчас пол под ногами подпрыгнул, зазвенели вылетающие из оконных рам стекла, погас свет, а по ушам преобильно хлестнуло. В наступившей тишине и полной темноте раздался очень даже спокойный голос учительницы:

— Сидите спокойно, первый ряд у окна — никого не задело? Встаньте из-за парт и выйдете в проход. Есть у кого фонарики?

Фонарики, конечно, нашлись; в полярную ночь без них никуда. Лучи забегали по окнам, потолку, по сидящим и стоящим. Слава богу, никого даже не поцарапало, хотя несколько стекол было разбито, а главное —

упал один из плафонов, но упал и разбился в проходе между вторым и третьим рядом, ближе к «камчатке».

— Петров, дай мне фонарик, а вы сидите, не бегайте, в коридор не выходите, я сейчас все выясню.

С этим Мария Алексеевна вышла в коридор. Слышны были и другие шаги, тихие вопросы-ответы.

В классе стоял тихий гомон, кто-то пытался разглядеть происходящее в окно, но там стояла темень: во всех домах окна были погашены, ровно как и уличные фонари. Догадки о начале войны сразу отвергли, ибо Карибский кризис благополучно завершился еще ранней осенью, а других осложнений в мире вроде бы не было. Сашка Иевлев, тогда еще сын капитана первого ранга, авторитетно утверждал о начале крупных военно-морских учений с имитацией на соседнем острове ядерного взрыва, намекая на информацию, уловленную им из подслушанного телефонного разговора отца.

Ему склонны были верить, ибо позапрошлым летом такую имитацию все воочию видели: на ближнем, нежилом острове громыхнули, подорвали бочки с дымсоставом, черное облако грибом поползло на небо, на город, перша горло, а все военные надели противогазы и полдня бегали в них.

Электричество же, как продолжал пояснять Сашка, аварийно выключили для правдоподобия. Неувязка была с вылетевшими стеклами.

— Наверное, не рассчитали, большой заряд заложили,— размышлял он,— кой-кому за это влетит по первое число!

Вскоре вернулась Мария Алексеевна:

— Авария в порту. Собирайте свои портфели. В раздевалку классы будут выходить поочередно; мы пойдем через пять минут, построитесь у двери попарно, кто с фонариками — впереди и сзади.

Слышно было, как по коридору с топаньем прошел седьмой класс, занимавшийся в соседней комнате. Лучики их фонариков залетали в нашу дверь.

— Пошли,— скомандовала Марья Алексеевна,— только под ноги внимательно смотрите, в коридоре много выбитых стекол.

Действительно, коридор был усыпан осколками, видно, взрывная волна шла по этой стороне здания, а из черных выбоин ощутимо тянуло сырым холодом. Дошли до раздевалки, где было относительно светло: горели две «летучие мыши» из запасов завхоза и еще пара-тройка свечей. Оделись и вышли на улицу. На выходе Мария Алексеевна напоминала выходящим:

— Идите прямо домой, кому по пути, лучше по-двое, по-трое, чтобы фонарик был. В школе стекла надо будет вставлять, так что о начале занятий объявим. До свидания.

♦ Я, единственный из всего класса, жил в Старом городе, попутчиков

не нашлось, фонарик уже не требовалось включать: к девяти часам чуть забрезжило, но по свежевывающему снегу было почти что светло. Дошел до дома с темными, но целыми окнами. Мать на кухне растапливала печку, отец собирался на работу, братья спали — им во вторую смену в школу; вернее — полагалось во вторую.

— Из школы отпустили, там окна побило, свету нет.

— Ну и у нас нет,— мать поправила фитиль у горевшей керосиновой лампы.

— Что там взорвалось, что говорят? — спросил, надевая шубу и шапку, отец.

— Говорят, маневры.

— Н-д-а-а. Сомнительно, но я пошел.

И я пошел спать, стряхнув с одеяла все ту же известковую пыль с потолка.

Проснувшись часам к одиннадцати, не обнаружил дома никого; мать, по всей видимости, ушла в магазин, а братья, узнав, что каникулы продолжились, умчались на улицу. Прошел на кухню, поел, оделся и отправился в сторону школы.

Школа стояла с темными, кое-где выбитыми стеклами. Та же картина и с соседними домами, причем, чем ближе к пирсам, тем больше выбитых стекол. Около школы никто из проходивших ребят не задерживался: все шли в сторону ближней сопки, за которой следовал пологий спуск к пирсам. Прислушиваясь к разговорам, уже знал: лодка взорвалась (в порту города стояли только обычные, дизельные подлодки). Кто-то сообщил, что недалеко от Циркульного магазина видел на снегу оторванное ухо... Говорили о металлической, с тонну весом, болванке, которая упала на крышу дома, пробила четыре этажа, а на первом оторвала ноги у десятилетней девочки.

Взрослых на улицах днем не было; как и в обычные дни все они, а это преимущественно люди военные, были заняты своими рабочими делами, которые располагались вовсе не в городской черте. Перевалив через гребень сопки, правда, небольшой и пологой, прежде всего увидел толпу: чуть ли не вся школа, то есть все ребята города, собрались здесь и молча смотрели под ноги.

У самого пирса, как странные монументы, вертикально вверх возвышались над водой, тихой, свинцово-серой, две части лодки: одна носом, другая кормой.

Сам же пирс, собранный из толстенных бревен, сколоченных скобами и обвязанный цепями и стальными — со взрослую руку толщиной — тро-сами, на сотню-другую метров вправо и влево был разворочен. Отдельные бревна закинуло на середину спуска с сопки. Сотни бревен, как разбитый плот, тянуло отливом от берега к середине залива.

Суеты на остатках пирса и на рейде не было. Малоразличимые на расстоянии и в густой синеве воздуха ходили матросы, раздавались неясные мегафонные команды. Два мощных буксира пыхтели у половинок лодки, поодаль, под странным углом к линии берега стояла еще одна лодка. Как сообщил многознающий Сашка Иевлев, эта лодка чудом уцелела, так как ее капитан буквально за несколько минут до взрыва по некоему наитию отошел от пирса, хотя этот маневр был вовсе не обязательным.

Догадок о причине взрыва уже не выискивали; доподлинно было известно, что при погрузке что-то случилось с краном, гигантский балкон со сжатым воздухом упал на палубу лодки как раз посередине ее, переломился и взорвался.

Смотреть нам оставалось недолго. От пирсов по пологому склону сопки медленно поднимались, увязая в снегу, солдаты из комендантской роты: в полушубках, с автоматами за спинами, с рожками на поясах.

— Расходитесь, ребята, расходитесь,— повторял шедший впереди комвзвода, — нечего тут смотреть.

Солдаты поднялись на гребень сопки и остановились, сохраняя цепь, а мы пошли восвояси.

Каникулы продлили на десять дней, а когда пришли в школу, то все пошло своим чередом. Говорить о подобных вещах в нашем городе полагалось нетактичным. Еще через год, случайно проходя с ребятами через городское кладбище, что располагалось на окраине Старого города, остановились у свежепокрашенного обелиска: братской могилы с несколькими десятками имен.

А в тот памятный день, уже вечером, катаясь на санках с горки в Старом городе, около почты, я раскатился, выехал на край дороги прямо под ноги торопливо шагнувшего матроса с чемоданчиком в руке. Он сразу обратился ко мне:

— Скажи, пацан, правда народ говорит, что сегодня лодка взорвалась?

— Не взорвалась, баллон со сжатым воздухом над ней переломился.

— Номер знаешь лодки?

— Конечно, — я назвал номер, а у матроса чемоданчик выпал из руки.

— Ты что?

— Так я же с этой лодки! — И далее матрос, утирая шапкой выступивший на лице в пятнадцатиградусный мороз пот, торопясь высказаться, рассказал нам, пацанам, что должен был еще вчера вечером прибыть в часть, на лодку, да от их села в Пензенской области до станции пятьдесят верст. Выехал на председательской машине, все рассчитано было, да машина застопорилась на середине пути, попуток, как назло, ни одной. Когда починили, то уже поезд по времени ушел, а он раз в сутки только и ходит. Пришлось на другой день на станцию ехать, вот сутки и потерял. Прохо-

дивший мимо народ прислушивался, а одна сердобольная бабка сказала матросу:

— Тебе, милоч, свечку бы поставить, да где у нас церкву-то возьмешь? Повезло тебе, считай — заново родился...

— Да нет, мать, чего мне радоваться, когда годки погибли, а я... словно дезертир.

Матрос попрощался со мной за руку, а отходя, вполголоса сказал с беспокойством, что, дескать, особисты всю душу вымотают.

Дома, ближе к полуночи, поймал прорвавшийся сквозь глушилку «Голос Америки». С плохо скрываемой радостью диктор сообщил, что на базе Северного флота СССР произошла крупнейшая за последние десять лет катастрофа с человеческими жертвами.

♦ Через неделю директору Сормовского судостроительного завода было предписано изыскать возможность и заложить дополнительно к плану две подводные лодки.

Если признаться честно, то те длинные каникулы показались нам тоскливыми.



СОВЕСТЬ СОЮЗНИКА

*Россия, Русь! Храни себя, храни!
Смотри, опять в леса твои и доли
Со всех сторон нагрянули они,
Иных времен татары и монголы.*

Николай Рубцов

♦ У всех нас в памяти тот скандал в средствах массовой, как сейчас говорят, информации, когда на одном из митингов в Москве героический наш генерал-полковник Альберт Михайлович Макашов в сердцах, не сдержавшись, назвал публично всю ту шушеру, что крутит-вертит страной последнее десятилетие, нехорошо. Понятно, что из 150-миллионного населения России это слово регулярно употребляют в быту, так сказать, миллионнов сто сорок пять, но бывший командующий Поволжским военным округом употребил его именно публично! — А это уже не комильфо, не бонтон в демократическом слогане, за что Альберт Михайлович и подвергся все-демократическому остракизму; только депутатская неприкосновенность и остерегла его от судилища или какой иной казни. Недели две эти самые СМИ-ТВ полоскали имя нетактичного генерала, заполняя паузу, случившуюся в общероссийской жизни: как назло, ни тебе аварий с самолетами, лодки подводные не тонут, башня в Останкино стоит прямо, словно мужской орган у негра на рекламе виагры... Непорядок, да и только.

Уже с подачи криворожего телеведущего и косорылой телекомментаторши совсем было собрались от имени лиц демократической национальности в международный суд в Гааге (это где наркоту официально разрешено продавать и гомики официально же браки друг с другом регистри-

руют) телегу на Макашова писать, да тут политический сухостой в стране закончился: самолеты как горох с небес на землю грешную посыпались, чечен за ружье опять взялся, старший брат Билл, тот, что в настоящем Белом доме, не в Краснопресненской, Моннику орально трахает, что-то на младшего брательника Бориса осерчал... Словом, все ТВ-каналы мигом наполнились бесконечными показами похорон, интервью с героическими боевиками, показом трусиков Моники с дактилоскопическим описанием следов спермы на них. Про генерала-жидоеда и вовсе забыли; тем только и спасся наш неосторожный трибун (однако следующие думские выборы в демократическом Самаре-городке проиграл).

А мой бывший коллега по инженерным занятиям в НПО «Меткость» Серега Зябликов, пока на экранах телевизоров без конца показывали нарочито искаженное посредством компьютерной графики злобой лицо опального генерала, все порывался отбить Макашова на думский его адрес телеграмму, в которой содержалась бы рекомендация Альберту Михайловичу отвести от себя все нападки, процитировав то ли Бернарда Шоу, а может и остряка Бисмарка: «Есть понятия: еврей, иудей и жид. Еврей — это национальность, иудей — религия, а жид — профессия!»

— Понимаете, — горячился Серега, закусывая в моей и Андреяныча компании бутербродами с сыром дежурные, «после работы», сто грамм в забегаловке «У сквера», что рядом с ДК Комбайнового завода, — стоит Макашова процитировать публично эти слова со ссылкой на классика, как эти телехолуи и замолкнут: ведь всем станет понятно, что имел он ввиду не столько евреев, а весь тот интернациональный сброд, что развалил и растащил страну, следуя своей жидовской, то есть воровской профессии!

Надо заметить, что мы с Андреянычем подкатывали после работы на третьем номере трамвая от своей «Меткости» к ДК Комбайнового завода — первой гражданской, городской остановке после окраинного леса, где располагалось наше режимное НПО, а Серега, как человек уже вольной профессии, *объебизнесмен*, как называл он себя сурово-самокритично, заранее созвонившись с нами, подъезжал из своего дома в Глушанках, что около областной больницы, рейсовым автобусом или трехрублевым «автолайном» — если был еще трезв, либо же на попутной или специально зафрахтованной «тачке» — если уже был под хмельком и в душе его бушевал ухарь-купец.

Так вот, еще какой-либо год-полтора тому назад, встретившись на площадке перед ДК в пятничный послерабочий ранний вечер, мы шли на пепелище, где уже двадцать лет, что работали в «Меткости», отмечали уик-энды: в местную стекляшку — кафе «Рыбное», что располагалось метрах в трехстах от ДК, если идти вдоль сквера по улице имени Сергея Мироновича Кирова. Но полтора года тому назад как-то получилось, что ме-

сяцев пять место это мы навещать перестали: кафе-стекляшку закрыли на ремонт. Переместились в более близкую закусочную-бутербродную «У сквера». А год назад кто-то из коллег и вовсе ошарашил: «Рыбное» перестроили, стены-окна заложили кирпичом, облицевали и теперь это... баптистская церковь!? В нашей жизни мы уже отвыкли чему-либо удивляться, погоревали и окончательно устроились «У сквера».

♦ Серега горячился, швырял на прилавок буфетчице смятые купюры, среди которых виднелись и «зеленые», разойдясь, требовал с витрины стойки бутылку наилучшего коньяка, бутербродов с икрой. Понятно, что когда мы покинули гостеприимное заведение, было уже поздно. Серегу мы уложили в остановленную «тачку», а сами сели в «автолайн» до центра. Идея с телеграммой так и не материализовалась. Потом Серега каялся, сволочью себя называл, что-де не помог Альберту Михайловичу (после пятой рюмки).

Меня вся эта история нисколько повеселила, а вот Николай Андреевич, как уважительно звали заматеревшего инженера молодые специалисты, был человеком, склонным к размышлениям и обобщениям, то есть способным из любой, мало что значащей для обывателя, фразы сделать философский вывод, преломляя эту фразу на конкретных людей и события. Понятно, что озвученный Серегой афоризм Шоу или Бисмарка не остался без рефлектирующего внимания моего коллеги по инженерному труду.

— Стала ведь расхожей фраза: «Нет плохих народов, а есть плохие и хорошие люди в каждом народе», — рассуждал Николай Андреевич как-то под закат лета все в той же компании и в том же уютном заведении «У сквера». — В сущности это так и есть, хотя я вовсе не большой апологет «Хижины дяди Тома» мисс Гарриэт Бичер-Стоу, тем более, что мы сейчас узнали: что есть в массе своей негры в Америке. А вот попробуй скажи эту фразу вон тому парню, что со шрамом и с буфетчицей Мариной заигрывает; я его немного со стороны знаю — через общих знакомых, он после первой чеченской войны три месяца в Бурденко лежал... Так он за эти слова мне, хотя и тоже отдаленно знакомому, особенно после выпитой поллитровки, так и бока слегка намять может!

Все дело, ребята, в ситуации. Допустим, при советской власти, наверное, все мы в Прибалтике побывали: командировки там, санаторий в Юрмале, автобусная многодневная экскурсия в Таллин, тогда еще с одним «н» на конце... Разве плохо мы о чухне и лабсдухах говорили? — Вот-вот, совсем неплохо, только какую-то мелочь порой вспоминали: мол, дед, бывший эстонский эсэсовец, глухо проворчит, повстречав компанию подвыпивших туристов «из России». А национализированный юнец отвернулся и промолчал на вопрос, заданный по-русски... И это все. А сейчас? — Да-

же в желтой демпрессе подчас прибалтов огульно фашистами назовут! А восстановится (дай-то, бог!) наша власть в Прибалтике — так снова спокойно будем в Юрмалу ездить отдыхать. Все дело в обстоятельствах, а не в народе.

С евреями, коль скоро о них уже десять с лишком лет с утра до вечера талдычит телящик и каждый номер любой газеты пишет (благо и то, и другое в их руках), дело намного сложнее: они по рукам связаны сионистами и практически не вольны в своих действиях. В СССР контроль мирового сионистского кагала за советскими евреями был сведен к минимуму, потому и были нашими друзьями эдики и семены, уважали мы самых мудрых и спокойно-интеллигентных своих соседей абрам-исаичей и михал-соломонычей. Весь наш негатив против них и вовсе укладывался в еврейские анекдоты (которые они сами и сочиняли) и неизбежное злословие и досаду по поводу их житейской взаимовыручки, которой у нас, русаков, не было и нет. А теперь? Да что говорить...— Николай Андреянович махнул рукой. Серега правильно понял этот жест и разлил по стаканам остаток из принесенной им же коньячной посуды.

Далее захмелевший Николай Андреянович стал выводить туманную теорию о влиянии цивилизации и древности народа на его позитивные качества, которые в этом случае непременно сохраняются, невзирая на любые обстоятельства. В качестве примера он заговорил о джентльменских принципах англичан, а я, загоревшись идеей, тут же напомнил о английском морском офицере, историю которого некогда рассказал нам, то есть мне и Андреянычу, отставной политработник Шулейко. Серега еще раньше слышал этот занимательный рассказ от нас. Только тогда беседа протекала в ностальгическом «Рыбном».

♦ Случилось воспомянутое в самом начале перестройки, будь она не к ночи помянута. Миновал ровно год со дня опубликования знаменитого антиалкогольного указа Меченого. Год этот прошел весело: народ осваивал очереди за талонной водкой, на службе — с поощрения партторгов и прямого начальства — часами наблюдал по телевизорам, установленным прямо в отделах и цехах, словесные битвы демократов с партноменклатурой. Однако организмы, привыкшие к отдохновительному портвешку и пиву после работы, а то и к водочке — идеальному аннигилятору стрессов, так быстро не перестраиваются. Инерция в них большая, а тут и сам ритм подпитки нарушился: раньше та же поллитровая-литровая доза принималась по сто-двести грамм в течение недели-другой, а теперь, отстояв, да еще на морозе или под холодным осенним дождем два-три часа, озлобившись, каждый «организм» глушил возникший в толкучке стресс уже зарз бутылкой, а то и двумя.

Первым непорядок со здоровьем к началу июня отметил Серега, человек отменного здоровья, художавый, моторный.

— Что-то у меня мотор ни с того ни с сего колотиться под утро начинает? Опять же брюхо тянет, хотя бы и две недели перед этим не пил... Наверное, горбатый консенсус приказала отраву в водру добавлять, чтобы народ скорее подох, страну китайцами и неграми заселить, а управлять ими из Нью-Йорка и Тель-Авива,— жаловался он в характерной жестковатой манере выпускника славного Московского авиационного института, где учился в одной группе и пил пиво в «Пиночете» с Мишей Задорновым.

Вторым забил тревогу Николай Андреевич: неизвестные ранее миазиты, хондрозные уколы в поясницу стали навещать дотоле здоровый организм уроженца Севера, где человек с рождения закаляется. Я же лицемерно сочувствовал, про себя предательски хихикая: дескать, меня-то пронесло! Но бог — коллективист в своей сущности и не любит неравенства, потому в конце июня меня стукнуло, да так, что приятели мои не на шутку испугались. А именно: в одно, вовсе не прекрасное, утро проснулся с небольшой, но какой-то туповато-тошнотворной болью в правом боку, без аппетита поел, однако домашним ничего не сказал и поехал на службу. Однако с каждой минутой боль усиливалась, в глазах начало мутиться. Хорошо, автобус имел маршрут мимо нашей поликлиники, с трудом сошел, дотащился, а в регистратуре уже и говорить не мог, только морщился, разжевал рыбой рот, тыкал себе в правый бок. Регистраторша что-то сообщила и дала талон к хирургу.

Кабинет хирурга располагался здесь же, на первом этаже, а по раннему времени и хворых бабок, хулиганов с легкими переломами у двери не наблюдалось. Молодой хирург был явно с перепоя, но уже успел опохмелиться стопкой медицинского, потому и мысли его текли в одном направлении:

— Вчера пил? Колбасой несвежей не закусывал?

Я все (чистосердечно) отрицал, поэтому эскулап послал на второй этаж сдать анализы крови и мочи.

Из последних сил поднялся, но в «анализаторской» к исцелению еще не приступали, одна пожилая санитарка переставляла соты с мочевыми банками. Увидев мое состояние, она расспросила о недуге, вскрикнула: «Да у тебя, милок, камень из почки вышел!» — И за руку повела, сама торопясь и сострадавая, в кабинет к урологу, пробила меня через негодующую очередь, доложила врачу о диагнозе. Тот с уважением согласился, мигом вкатил мне укол и велел тотчас идти-ползти в туалет и тужиться на унитазе сколь есть мочи.

Действительно, через пяток минут боль исчезла, моча полилась, навреде как вышибив закупоривающую пробку. «Купировалась»,— заулы-

бался врач, к которому я вошел уже с легким страданием на лице: острая боль прошла, но тупая резь в правом боку еще с месяц отдавала.

— Песочек у тебя, дорогой, вышел. Сегодня сходишь на рентген, все анализы сдашь, вот тебе направления и больничный, а завтра во вторую смену ко мне.

Назавтра врач подтвердил свой диагноз (точнее говоря, диагноз старой санитарки), успокоил: песчинка единичная пока была, но — он заулыбался — процесс пошел, теперь тебе следует повнимательнее к здоровью своему относиться, диету определенную соблюдать (вот я расписал на листке, возьми), раз в год хорошо на курорт ездить, минералочку пить. Кстати, у нас в области как раз курорт урологического, в числе прочего, профиля есть и очень замечательный. А почему именно сейчас этот «процесс пошел»? — Так, дорогой мой, сорок лет — один из основных критических возрастов человека, все хвори обостряются, предупреждение, так сказать, шлют: смотри, поаккуратней, а то хуже может быть!

— Так что же, теперь мне всю жизнь под домокловым мечом ходить, приступов ждать?

— Отчего же, ведь не камень, а песочек, это почитай у каждого мужчины бывает. Здесь главное — профилактика, легкое санаторное лечение-поддержка, отвары пить, диета щадящая опять же. Словом, подобрать режим питания и, так сказать, образ жизни и все будет хорошо, даже и не очень обременительно.

Оптимизм доктора передался и мне, даже пересказал ему гипотезу Сереги относительно нарушения ритма приема винной порции и влияния этого на здоровье. В шутливой форме, конечно. Однако умный доктор в целом идею поддержал:

— Конечно-конечно, с одной стороны, критический сорокалетний возраст, с другой — нарушение регулярности, так сказать, «приема вовнутрь». А отсюда и изменение режима почечной фильтрации, застой мочи и так далее. Больничный я на три дня продлю, еще раз показаться надо и повторно ряд анализов сдать.

♦ Самое интересное, что Николаю Андреяновичу тоже посчастливилось попасть к умному врачу, то есть доктору-мужчине, и тот его миазиты-хондрозы точно так же объяснил, как и мой уролог (я с ним потом не раз и не два в «Рыбном» встречался, где он и консультировал меня), а главное — все тот же местный курорт хвалил.

Серега же к врачу не пошел, ибо полагал всех «клистиричников» агентами сионизма. Уважал он только тех молодых ребят со «скорой помощи», которые за наличку выводили из запоя его соседа — сильно пьющего отставного полковника-летчика с иконостасом боевых наград за все локаль-

ные войны и конфликты 60-х — 80-х годов. Позднее, когда Серега стал буржуем-рантье, эти же «скорые ребята» пользовали и его самого.

Стоял необычно жаркий июль, точнее — его самое начало. Я вернулся на работу после недельного больничного. Вечер не принес прохлады, когда мы сидели в «Рыбном», отмечая мое выздоровление. Мне, как организму с осложнением, взяли два стакана редкостного в наступившие времена, но явно лечебного вермута. «Он с травами, почки стимулирует», — заботился обо мне Андреяныч.

Что делать? Мы с Андреянычем, как имевшие на руках предписания врачей о пользе санаторного лечения, автоматически, согласно конституции, могли рассчитывать на летние путевки в оздоровительные учреждения. Мысли наши все более и более склонялись к тому самому, рекомендованному врачами, курорту.

Мы и раньше о нем слышали, но пугало его какое-то тоскливое название, опять же в глубинке области... Дескать, приедешь, а там деревня деревней, палата на десять человек, на голом месте бараки стоят, скука. Однако опытные женщины, профессиональные больные из отдела, нас разубедили: хорошо там, лес, сразу две реки, добираться просто: сел на автобус — и прямо до ворот за два с половиной часа!

Решились мы с Андреянычем здоровья ради, а Серега грубо отказался.

— Видал я в грубу вашу деревню! Ни баб, ни вина, да еще со всякими процедурами белохалатники заматают. Нет, я как всегда без подруги (так он именовал спутницу жизни) в Сочи махну, сниму там хату, телку с пляжа возьму, буду мотор молодым вином лечить. А вы, мужики, поезжайте, у вас-то дело крупняк, серьезное, потом мне расскажете, может на следующий год все втроем махнем!

На том и порешили, а наутро мы с Андреянычем, получив благословение от начальника сектора и добрые напутствия и практические рекомендации от сослуживцев, двинулись в профком.

♦ Все мои предубеждения относительно «деревни в дыре» снялись сразу после того, как мы с Андреянычем сели в десять утра в комфортабельный автобус на автостанции. Наши жены махали вслед руками, оставаясь в душном городе. Веселое июльское солнце пробивалось сквозь матерчатые шторы на окнах, веселила музыка из чьего-то магнитофона. Немошных и калек в автобусе не наблюдалось; преобладали молодцы нашего возраста, некоторые, видно, знакомые по прошлым поездкам на курорт, подмигивали друг другу и кивками показывали на вторую половину контингента едущих лечиться-оздоравливаться: матерых, молочно-восковой спелости женщин от тридцати до сорока пяти лет, одетых по последней туристической моде, отменно загорелых.

Повеселели и мы, даже откупорили четвертинку из талонных запасов, не привлекая внимания, пригубили за начало отдыха, лечения тож.

Допинг прибавил нам красноречия и уверенности в себе, поэтому, поразившись стреляющей острыми глазками, видной из себя регистраторше, мы получили номер с удобствами на двоих в новом, только что построенном корпусе — самом престижном.

Сам курорт нам понравился, имел он вовсе не провинциальный антураж, народ собрался со всей страны с преобладанием земляков (даже парутройку знакомых встретили) и москвичей... Но более всего удивился Николай Андреяныч: возвращаясь с первого же обеда и вставляя ключ в замок своего номера, он заприметил боковым зрением, как из соседней двери вышел, по-хозяйски осматриваясь, никто иной, как хорошо ему знакомый отставной полковник Шулейко Борис Никифорович, бывший — в годы войны — сослуживец, точнее говоря, политотдельский начальник, его отца Андреяна Матвеевича, а теперь и почти что сосед; жил он в собственном доме на окраинной улице Севастопольской, а на параллельной улочке, состыкованной с Севастопольской садами-огородами, проживали в собственном же доме родители Николая Андреяновича и младший брат с семьей.

Понятно, что на соседних этих улочках, даже не вода кумовства, все друг друга знали, А Николай Андреянович тем более знал Шулейко по рассказам отца. Раньше они при встречах здоровались.

Борис Никифорович, представительный и щирый хохол в самом начале восьмого десятка, смотрелся в щегольской легкой курортной паре из натурального льна, загорелый, с добрым, снисходительным выражением лица, прямо-таки отдыхающим директором крупного завода, а лет ему на взгляд даже самые опытные женщины более шестидесяти бы не дали. Сами убедились позднее: на вечерних танцах Шулейку с восторгом приветствовали, передавая друг другу от танго к вальсу, матерые сорокапятилетние, что называется «кровь с коньяком», красотки.

Отставной черный полковник (как человек флотский, хоть и сухопутный, на службе он носил черный мундир) внимательно пригляделся к новым соседям, оценивая их «вес», а отсюда и дальнейшее поведение свое. Но его выводы опередил Николай Андреянович.

— Добрый день, Борис Никифорович! Рад встретить вас. Мы вот тоже с коллегой решили подлечиться...

— А-а, Николай! — заулыбался добрейший полковник, — да-а-а, вот так встреча. Что-то редко тебя вижу у нас в Криволучье, впрочем, слышал — примаком у жены в центре живешь. Однако, родителей не забывай, почаще захаживай! Как там Андреян? Сколько ему сейчас? — Да-да, он же с 17-го, на два года моложе меня, стало быть, семьдесят вот-вот стукнет.

Мы-то с ним с 37-го знакомы, Финскую и Отечественную сломали... Ну, я на процедуры, еще побеседуем, а вы устраивайтесь, отдыхайте. Лечиться вам, конечно, еще рано, а профилактику, так сказать, провести очень даже нужно. Ведь какие дела в стране разворачиваются! — Шулейко с восхищением помотал головой, — государству сейчас очень даже потребуются здоровые, умные люди. Перестройка потребует полной самоотдачи...

Шулейко явно вспомнил боевую политотдельскую молодость и возмужалость, но вдохновенный его монолог оборвала отчаянно, по-курортному красивая и раскрепощенная дама лет сорока, вышедшая из двери номера напротив нашего:

— Борис Никифорович, — лукаво и нараспев произнесла она волнующим голосом, — мы с вами на *озокерит* опоздаем!

Отсальютовав нам, бравый полковник шаловливо подхватил красотку под локоток и увлек к выходному холлу этажа.

♦ Несколько дней мы с Андреянычем адаптировались к неспешной курортной жизни, благо до сих пор проводили отпуска семейно на шумном юге, либо в не менее веселых домах отдыха на Оке и Волге. Поскольку же нашли и отдаленные знакомцы, познакомившие нас со скупающими без дела подругами своих курортных приятельниц, то вторая половина дня (первая — в процедурах, которых нам с коллегой прописали великое множество, а и мы к лечению внимательно отнеслись) протекала весело. Именно поэтому мы очень даже скоро израсходовали «на прописку» весь наш НЗ талонной, привезенной с собой водки, а для дам — захваченную пару бутылочек вина.

Поэтому, когда проснувшись поутру от бившего в глаза восходящего солнца, включив местную трансляцию, мы услышали поздравление диктора с Днем Военно-морского флота, что случается во второй половине июля месяца, то очень даже огорчились. Николай Андреянович, родившийся в семье военного моряка и выросший в геройском городе Полярном — базе Северного флота, даже известную присказку переиначил: «Год не пей, а в день ВМФ укради и выпей!» Я также не сторонний человек боевому нашему флоту: окончил в Ленинграде инженерный институт с военноморской кафедрой, имел воинское звание (к сорока годам) капитан-лейтенанта запаса, два раза на Балтику на сборы откомандировывался — на минных тральщиках.

Проконсультировавшись у местных бабок, продававших около питьевой минеральной галереи отдыхающим мед и овощную зелень (курорт располагался на территории передового в области совхоза, руководимого братом нынешнего губернатора), совсем упали духом. Бабки жаловались, что на время посевной-уборочной районные власти даже законную талон-

ную отменили, «а самогон вам, миленькие, никто и не продаст, участковый наш собирается в милицейское училище поступать, выслуживается, потому озверел совсем, с утра до вечера бегает, все вынохивает, даже провокаторов подсылает».

Невеселые пришли мы с процедур, а тут, для пушей тоски, тучи набегали и дождь до ночи зарядил. Вот и валяемся мы на кроватях после ужина, танцы по причине погоды отменены, со злости на литературные темы вялый разговор завели: ведь не пойдешь к знакомым девушкам-дамам в праздник (а День ВМФ и с Ильиным днем совпал) с пустыми руками! Вспомнив о девушках, начитанный от диссидентской литературы Андреяныч зло посмеялся над своей новой знакомой, тоже начитанной. Та утверждала, что по созвучию фамилий она является дальней, но — родственницей живущей в эмиграции в Париже знаменитой поэтессы Ирины Одоевцевой; в самиздате, точнее говоря, в полуслепых «эровских» копиях, только что появилась в стране мемуарная книга поэтессы «На берегах Невы»; заметим, в те годы даже женщины с высшим образованием не пропускали ни одной литературной новинки.

— В столицах, так там с началом перестройки и демократии уже все поголовно, особенно из товарищей евреев, себя потомственными дворянами объявили,— язвительно бурчал Андреяныч,— и наша провинция туда же поперла! Там сахаровская супружница Боннэр себя грузинской княжной нарекла, а наши тоже решили не отставать!

— А что, эта самая парижская Одоевцева тоже не из Одоева,— скаламбурил я.

— Козыряй! Ее подлинное ФИО — Рада Густавовна Генрике. А псевдоним, столь ей полюбившийся, дал знаменитый поэт Николай Гумилев, когда в двадцатом году готовил к печати ее первый сборник стихов «Двор чудес».

— Да-а-а, какая-то эпидемия мимикрии у нас в стране и во все времена. Слушай, а вот зеки как-то умеют цифиром чайным хмелеть?

Неизвестно, до чего бы мы договорились, но в дверь раздался внушительный стук, вслед за которым в решительно отвернутую дверь вошел сам Борис Никифорович Шулейко с добрейшей улыбкой на широком, отменно загорелом лице.

♦ Мы раскрыли от изумления рты и как-то неосознанно вскочили с досадных кроватей, опустив руки по швам домашних шаровар: Шулейко был одет в летний вариант морской полковничьей формы.

— Почему не веселы, молодцы,— подмигнул бравый вояка и явно заинтересовался моей тельняшкой:

— Во флоте служил?

— Капитан-лейтенант запаса, товарищ полковник, по военной кафедре.

— Тогда тем более — почему грустим? А-а, понятно,— Шулейко снова, но уже хитровато, подмигнул,— перегибает, перегибает наше руководство с антиалкогольной кампанией! Но день-то сегодня святой, поэтому попрошу, товарищи офицеры запаса, проследовать в мою каюту!

В соседней каюте полковник Шулейко проживал один; это вообще был на курорте один из немногих, только-только начавших появляться одноместных номеров, да еще с телевизором и холодильником. Полная роскошь! Не дожидаясь вопросов, Шулейко охотно объяснил, накрывая стол, что-де он теперь уже не руководит режимной службой на механическом заводе, а по рекомендации облвоенкома, бывшего младшего своего сослуживца, назначен начальником областной же детско-юношеской военно-морской школы.

— ...Должно быть знаете? — На Менделеевской, в здании напротив Кремля. Передаю вот опыт службы и жизни подрастающему поколению, воспитываю будущих нахимовых и ушаковых. Так что форму не только лишь ради праздника с собой взял, а это теперь опять моя повседневная одежда...

Стол меж тем уставлялся тарелками с заранее нарезанной колбасой и отменно-розовым салом. Меня хозяин послал в «санотсек» помочь огурчики-помидорчики, а Андреянычу поручил откупорить шпроты и сардины. Под конец сервировки, значительно кивнув нам, достал из холодильника литровую бутыл, наполненную чем-то янтарным.

— Своя, тройной перегонки, на травах и корешках настоенная. Хохол, даже если в кораблекрушение на необитаемый остров попадет, без сала и горилки не останется! Ну-с, за наш праздник,— Шулейко бережно налил по половине стакана,— за наш, теперь уже океанский флот, чтобы ему по семь футов под килем всегда было!

Уютное же получилось застолье! В ярко освещенной комнате (а за окном дождь барабанит, слякоть...), с поместительным холодильником-самобранкой, а как хохотал Шулейко, раскрасневшийся, после второй поменявший летнюю форменку с погонами на тельняшку! Душевная велась и беседа, благо словоохотливый полковник всю историю войны на Севере видел и знал воочию. Николай Андреянович вспомнил-таки о несостоявшемся отцовом ордене Георга.

— Э-э,— оживился Борис Никифорович,— с этими «георгами» одни истории, одна другой чуднее. Андреян вот заслуженный, как-никак («Эдинбург» с золотом затерявшийся обнаружил, не получил, а были и такие, кто получил, а потом отказывался!

— Как так,— изумились мы оба враз.

— А вот так,— Шулейко разлил под рассказ еще по трети стакана,—

довелось мне в конце сорок третьего в Полярном присутствовать на одном интересном застолье. Пришел очередной конвой союзников; грузовые транспорты-«либерти» проследовали в Мурманск на разгрузку, а корабли охранения, как то было принято, остались дожидаться транспорты, но уже с апатитовой рудой, для обратного хода в Екатерининской гавани Полярного. Как и положено, организовали в Доме офицеров ужин по высшему разряду, сам командующий на полчаса зашел: наши командиры кораблей, политработники и их капитаны.

Я сидел рядом с кавторангом Лощилиным, известным на Северном флоте командиром лодки С-38, а по правую его руку посадили командира британского противолодочного корабля — чина сейчас не припомню — Стивена Доббла. Говорили они меж собой по-английски, я в нем не маракую, но мне потом Федор Тихонович, когда был у нас в политотделе, все пересказал. А разговор у них потому оживленный под конец ужина завязался, что оба командира во время Финской кампании несли дежурство в Баренцевом море. Тебе, Николай, отец, наверное, рассказывал, что Северный флот во время финской полагался действующим, поскольку Финляндия до войны (по декрету Ильича) имела выход к Баренцеву морю — такой коридор между нашей и норвежской границей.

Правда, финны никакого флота на Севере создать не успели, одни пограничные катера, но — враг рядом, наш флот наготове. А теперь — о чем разговаривали Лощилин и Доббл.

♦ Капитан 3-го ранга Федор Тихонович Лощилин прибыл на Северный флот с Балтики, где до того служил со времени окончания Ленинградского училища подводного плавания, за месяц с небольшим до начала Финской кампании, а за год до этого получил первое капитанское звание, уже без приставки «лейтенант». Прибыл не ленинградским поездом в Мурманск с чемоданом, как многие его коллеги по будущей службе в Арктике, направляемые в те дни из Кронштадта, Либавы, Севастополя, Владивостока и даже из Каспийской флотилии для спешного укрепления основного флота страны в грядущей войне... Нет, Федор Тихонович, основательный в жизни и хозяйственный мужик, и прибыл прямо в Полярный, в Екатерининскую гавань со всем своим хозяйством, то есть с экипажем и собственно кораблем — новенькой подлодкой С-38, только что сошедшей со стапелей в Гамбурге и переправленной во вновь (первый раз — при царе) обустроенную базу КБФ* в Либаве. Лодка эта в числе нескольких десятков других была передана СССР Германией в рамках торгового договора-приложения к пакту Молотова-Риббентропа; один из множества мудрых ходов

* Краснознаменный Балтийский флот.

Иосифа Виссарионовича: сам фюрер помог доукомплектовать боевыми кораблями, в том числе лучшими в то время в мире германскими *U*-ботами*, Северный флот.

Тогда же Федор Тихонович получил и второй свой боевой орден, выполнив ответственное и опасное боевое задание, доверенное почти что свежеепеченному кап-три. Дело все в том, что лодку не стали везти, как обычно, по Беломорканалу, а отправили своим ходом вокруг Скандинавии, да еще с западным крюком в сторону Шотландии и все это по театру боевых англо-германских действий. Задачу Лощилину ставил сам командующий Балтфлотом: по ходу следования вести сбор данных об обстановке, особо интересуясь Флотом Метрополии. Зачем это так понадобилось командованию — Федор Тихонович понял только с началом финской...

Путь был опасен, да и время года штормовое. На дизеле шли только по ночам, а в светлое время суток разъярившееся Северное море захлестывало перископ. Два раза и глубинные бомбы рвались по курсу — ведь не под флагом шли! Только обогнув западную оконечность Норвегии, пошли открыто, без погружений — здесь уже господствовали немцы. Орден дали Лощилину заслуженно, не забыли и экипаж, который теперь с полным правом в Полярном считали боевым.

♦ С началом войны с Финляндией командование учло опыт Лощилина в разведдействиях на море, поэтому С-38 редко можно было видеть у пирса Полярного. Объектом внимания, в первую очередь, были финские порты на Баренцевом море. Поскольку же боевых кораблей у противника на севере не было (весь их флот во главе с флагманом-крейсером «Ильмаринен» оставался на Балтике), не хватило финнам средств на второй свой флот, все ушло на линию Маннергейма,— то наблюдение велось, по преимуществу, за английскими кораблями, в свою очередь, постоянно дежурящими у финского берега. Англия на ближайшее время не рассматривалась в качестве возможного союзника, но, всячески поддерживая Финляндию, была готова на любые провокации. Такую диспозицию давало советским морякам командование.

Это уже позже, в Отечественную, расхожим станет понятие «вооруженного нейтралитета» — в применении к Японии, но нынешнее поведение британских кораблей как раз и соответствовало этому понятию. Понятно, что до прямых конфликтов не доходило, но наши лодки у скандинавского финского берега предпочитали ходить на перископной глубине, только дождавшись ночи, убедившись, что в пределах видимости нет кораблей с английским георгиевским флагом, подвсплывали и следовали на недалекие свои базы. Лодка С-38 тож.

* *Unterseeboot* — подводная лодка (нем.).

Постепенно и дежурившие у финского берега британские надводные корабли (с подлодками было сложнее) становились «знакомцами», а акустики С-38 уже с большей вероятностью различали их характерные шумы. Так было и в тот пополуденный час, когда С-38, завершив свои маневры, собиралась, убрав перископ, отойти от берега миль на пять-десять, всплыть и следовать на траверс Рыбачьего и далее домой, в Полярный. Благо зимний «пополудень» в Арктике уже был самой настоящей ночью.

Однако наступившая темнота, поспешно убранный перископ, а главное — нешуточное волнение на море, позволили прозевать английский противолодочный корабль, относительно небольшое судно, даже не имевшее титульного названия, а только бортовой номер. В советском ВМФ аналогичные корабли относят к классу ниже среднего; по тоннажу и вооружению, конечно. И у англичан это явно был не фрегат. Краснофлотцы такие свои корабли в обиходе зовут «охотниками».

Если здесь, в этой ситуации, и была ошибка командира Лощина, то лишь сверхминимальная, ибо предыдущая оперативная обстановка никак не позволяла думать, что обратный курс лодки пересечется с английским кораблем, непонятно почему и зачем выпешшим из небольшого фиорда справа от финского порта; ранее никто не замечал, что этот глухой фиорд, где даже маяка на входе не было, кем-то посещается, кроме как маленькими рыбацкими баркасами — да и то не в зимнее время.

Кроме того, сама обстановка была не в пользу лодки С-38: трехбалльное волнение на море слепило перископ (почему его и убрали ввиду необходимости), а для акустиков создавало фон, заглушающий шумы надводного корабля. Наоборот, акустики корабля английского имели возможность обнаружить и запеленговать лодку, хоть и убравшую перископ, но шедшую еще на перископной глубине: здесь и законы физической акустики работали на них. Наконец, даже самый сверхбдительный командир расслабится, выходя из зоны разведки, заранее зная, что здесь только английские надводные корабли, а англичане знают: здесь могут быть только советские лодки, а маньяков-убийц среди командиров тех и других не держали...

♦ Федор Тихонович, расстегнув китель, заполнял вахтенный журнал — на берегу старпом на основе этих записей напишет по установленной форме донесение. Он писал, сверяясь с принесенной штурманом картой; только что он отдал приказ уйти вниз от перископной глубины; то ли интуиция сработала, а может и совпадение обстоятельств случилось, но в тот момент, когда лодка сошла на табельную глубину, принайтованный к полу столик, на котором Лощина писал, ощутимо вздрогнул, глухой звук пустой бочки заполнил отсек рубки. За ним раздался второй — громче, а

дальше пошла серия взрывов «глубинок» со все усиливающимся стуком по пустой бочке. Однако и последний взрыв, самый близкий, до лодки не дотянул: взрывы (это потом подтвердили акустики) шли на перископной глубине и чуть лево по борту; это их и спасло.

...Еще гремели первые взрывы серии глубинных бомб, а старпом — по кивку капитана — отдал по связи приказ «стоп машина». Лодка по инерции скользила в водах, раскачиваясь от взрывных волн.

— Всплывать, разбираться? — первым нарушил молчанье старпом сразу после последнего взрыва серии: число их хорошо было известно.

Старпом предлагал действовать по инструкции в ситуации ошибочной атаки; другой версии здесь не просчитывалось. Однако чутье, еще ни разу не подводившее Федора Тихоновича, говорило о другом.

— Замерем. Дальше видно будет.

Капитан шел на сверххриск, это было заметно и по выражению лиц старпома, штурмана и залетевшего в рубку вахтенного офицера. Командир молчал, сцепив руки над рабочим столиком.

— Свяжитесь с акустиками.

Вахтенный выскочил из рубки. Время тянулось. Включилась громкоговорящая связь: акустики докладывали, что удалось прослушать ход надводного корабля, делающего маневр, но явно замедляющего ход. Сообразительный акустик работал только на прием. Штурман, не дожидаясь распоряжения капитана, по данным акустиков уже делал расчет.

— На момент нашего и противника останова будем находиться на расстоянии семи-восьми кабельтовых. Противник влево по борту и выдвинут по курсу на два кабельтовых.

Прошло полчаса. Лодка замерла. То же самое акустики свидетельствовали и о корабле. Они же докладывали, что волнение на море несколько утихло, фон заметно уменьшился.

— Наверное, пошел заряд*, — подтвердил капитан.

Напряженность ожидания (и мольба в душе: пронеси, Господи!) не располагала к оценке случившегося. Пошел второй получас, к концу которого ожила связь от акустиков:

— Товарищ командир! Противник пришел в движение!

— Хорошо. Постарайтесь сориентироваться в его курсе. Доложите.

У всех: капитана, старпома, штурмана и вновь объявившегося вахтенного — на лицах читалось: может пронесло? Действительно, минут через десять акустик по громкой связи доложил, что корабль, набирая ход, удаляется строго по курсу норд-вест-вест, расстояние до него уже превысило

* Заряд — внезапный снегопад с небольшим ветром; во время заряда волнение на море снижается (флотск.).

полторы мили. Лоцилин задумался на секунду, чему-то махнул рукой и подошел к перископному посту, отдав приказ на подвсплытие. Остальные подтянулись поближе.

Лоцилин осторожно вывел перископ на самую малую высоту, но волны, хотя и намного меньше предбывших, захлестывали оптику. Вывел выше и еще выше. Действительно, шел заряд, но уже стихал; именно белесая пелена стихающего снегопада, косо сносимая у самой водной поверхности ветром, и позволила рассмотреть в темноте ночи силуэт удаляющегося английского «охотника».

Коротко сообщив обстановку столпившимся за спиной офицерам (тогда говорили — командирам), капитан не отрывался от перископа минут двадцать, даже когда акустики сообщили, что корабль ушел из зоны акустического контакта; он внимательно, по секторам, просматривал морскую поверхность.

Еще с час лодка стояла, повиснув в толще воды, замершая, беззвучная. Лоцилин снова поднял перископ: в окончательно наступившей темноте нигде не виделось бортовых огней. Акустики вновь доложили об отсутствии ходовых шумов.

Лоцилин отдал команду идти на базу на средней глубине погружения.

◆...Только выйдя в конце 60-х годов в отставку (последние годы служил в Севастополе командиром учебного отряда подводников), накрепко осев с семьей в родном Краснодаре, открыл Федор Тихонович съехавшимся на его 60-летие однополчанам, тож пенсионерам, среди которых были бывшие старпом и штурман С-38, великую свою тайну:

— А знаете, мужики,— разгоряченный вином и воспоминаниями Федор Тихонович полуобернулся к сидящим справа от него старпому и штурману,— ведь тогда, в сороковом, когда англичане нас едва не потопили, я чуть было весь ход мировой истории в XX веке не повернул?!

— Ну, батя, ты и хватанул,— восхищенно сказал его старший сын, тоже флотский офицер, капитан третьего ранга, прибывший со Средиземноморской эскадры на юбилей отца, каперанга в отставке, кавалера двух орденов Ленина и полного иконостаса других.

А супруга Федора Тихоновича озабоченно посмотрела на батарею коньячных бутылок во главе стола. Кто-то притих в недоумении, а старпом со штурманом переглянулись: похоже, они уже были близки к разгадке странного заявления своего боевого командира.

— Мы вот тогда на базе, в Полярном, в штабе, да в присутствии командующего, не один час ломали головы: что случилось? Почему англичане по нам лупанули? Вроде как никакой логики в их действиях. Провокации им на тот момент тоже были ни к чему... Сошлись же, вы помните,

на том, что и курсы наши пересеклись случайно, а бомбы,— вы же все знаете, точнее, помните устройство бомбометателей у наших «охотников»; у англичан — то же самое: бочки-бомбы эти всей серией лежат на помосте наклонном на корме, а слева у низа помоста — рычаг. Рванул его на треть оборота — и все бомбы посыпались. А тут темнота, волнение на море трехбалльное, бежал какой-нибудь салага по корме, поскользнулся на обледенелой палубе, инстинктивно схватился за торчащую рукоять — и посыпались родимые!

Нетрудно объяснить и то, почему взрыватели у них были установлены на перископную глубину: это и у нас практиковалось; в походном положении, когда противник не обнаружен, взрыватели и должны быть на такую глубину установлены, ибо статистика боевого опыта гласит, что внезапная встреча с вражеской лодкой наиболее вероятна на перископной ее глубине, а при направленной охоте уже и устанавливается нужная глубина, — объяснял хозяин голосом и интонацией, приобретенными за время командования учебным отрядом в Севастополе.

— ...Вот такой вариант вроде как все объяснял, да и командованию стало спокойнее. Тем более, что потерь нет и все шито-крыто, тихо то есть, без огласки (с нас подписку взяли), ибо конфликты тогда не нужны были ни англичанам, ни нам. А вот во мне какое-то шестое или шестнадцатое чувство говорило — и заговорило сразу после бомбежки — не все так просто, здесь — *умысел*, что, кстати, как вы знаете, и подтвердилось через несколько лет. Ну, это я вам уже рассказывал.

— Георги́ч,— обратился Лошилин к старпому,— ты помнишь, что сразу после бомбежки я не стал всплывать? Вот-вот, потому как чувствовал, что глушили нас намеренно. А всплыли — англичанам и деваться бы было некуда: раз начали, так и кончать, причем сразу, пока мы в штаб по радио донесение не отправили. Пару-тройку снарядов из носового орудия, почти в упор — и прощай С-38!

А вот когда подняли перископ, увидел стоящий «охотник», то мысль первая была: на самых малых оборотах двигателя, чтобы ихние акустики не засекали, развернуться для атаки и дать полный залп, веером, на таком расстоянии не промажешь, хоть одна торпеда, да попадет в цель — и «охотник» в щепу! Потом всплыть, подойти и из пушки* расстрелять всех, кто остался на плаву: на шлюпках, если успеют спустить, на спасательных кругах и в спасжилетах. Причем мысль эта была не предположительная, но — руководство к действию: если они нас, так и мы их!

Уже готовился отдать команду двигателям и в торпедный отсек, да не покидало сомнение, все более и более давящее: если акустики на

* Подводные лодки времен войны имели на вооружении палубное орудие, установленное примерно посередине между форштевнем и рубкой.

«охотнике» и не засекут разворот лодки, что тоже сомнительно — ведь там прислушивались к результатам своей атаки, то торпедный залп-то точно идентифицируют, тотчас сообразят что к чему и успеют дать радиограмму в свой штаб. Что тогда будет?! То, что меня наши славные особы к стенке тотчас поставят (англичане оправдаются, дескать, бомбы по халатности салаги-рядового за борт сбuzовали, совпадение, что наша лодка «в нужное время и в нужном месте» оказалась, да еще и приплетут, что мы уже тогда готовились торпедировать их...) — плевать мне было! А вот то, что ты, Георгич, остальные офицера и треть команды, как исполнившие приказ сошедшего с ума командира, а лучше — провокатора и тайного агента всех спецслужб мира, включая аргентинскую, за мной последуете... это-то меня только и остановило.

А все же, торпедируй мы англичан — что бы было? Ведь с самого начала финской войны британцы едва сдерживались, чтобы на стороне Финляндии не выступить: каких-то там голосов в парламенте не хватало. А тут... тут и голоса бы несомненно сыскались, а история совсем по другому раскладу, самому невероятному, пошла. А вы говорите: роль масс в истории решающая, а роль личности — подчиняющаяся!

♦ Капитан британского противолодочного корабля, бортовой номер 207, Стивен Доббл получил в середине дня шифровку из оперативного отдела штаба: зайти в неприметный фиорд (незнакомое название он сверил с картой) справа от финского порта, в районе которого корабль курсировал в дежурном порядке: прослушивал море на предмет появления с целью разведки русских подводных лодок. При пеленгации последних — финских, равно как и любых других субмарин здесь быть не могло — Доббл по инструкции должен был садиться им «на хвост», демаскируя их и тем самым вынуждая всплывать или уходить восвояси в подводном положении. В штабе же полагали, что лодки могли заходить и в тот самый фиорд. Правда, за каким чертом? — Этого штабисты в шифровке не поясняли.

Доббл мысленно выругался, ибо со вчерашнего дня сильно простудился, хотя вроде бы и по привычке к самой в мире дикой погоде зимней Арктики, а потому рассчитывал уже через час-другой спокойно выпить чаю с виски и отоспаться. Мрачно, с хрипом и кашлем, отдал команду, перепоручив штурману сверку с курсом. Более всего Доббл ярился на русских, которые в один присест предали Англию и всю Европу заразу, снюхались с фашистами и напали на беззащитную Суоми. Здесь следует отметить, что жена Доббла по происхождению была полушведкой-полуфиннкой. Далее вроде как и пояснять не требуется: какие чувства обуревали Стивена, молодого еще капитана, но несколько мизантропа по своему характеру, патриота и потомственного военного моряка со времен Трафальгара.

Обследовали скоренько фиорд, где, конечно же, никого не было; последние плавсредства сюда заходили, скорее всего, осенью с селедочными неводами, а военные корабли — во времена викингов. Отдал команду на обратный путь и приказал коку принести горячего чаю с лимоном. Однако на выходе из фиорда, переключая курс на норд-вест-вест, корабль вошел в зону трехбалльных волнений, а чай оказался вовсе и не горячим, что Доббла опять-таки вывело из себя. Он собрался было вылить свое раздражение на штурмана, но включилась связь с акустиками: те запеленговали ход подводной лодки, шедшей на сближение курсом почти наперерез.

Еще молодой, но достаточно опытный уже капитан тотчас оценил невероятно удобную для атаки тактическую ситуацию, а в памяти всплыло заплаканное, с гримасами лицо жены — сразу после прослушанного по радио (он тогда был в отпуске, дома) экстренного сообщения о нападении Советов на Финляндию с воспоследовавшим жестким комментарием премьер-министра...

— Готовиться к атаке, — приказал он штурману, — скорректируй курс, пусть акустики связь не отключают и постоянно докладывают; минеров на боевой пост, — это уже вахтенному офицеру, зашедшему в рубку.

— Кэп! Но здесь ведь только русские подлодки могут быть?

— Отставить. Выполняй команду, — приказал Доббл вахтенному.

Через четверть часа, когда курсы «охотника» и лодки, шедшей на перископной глубине, совпали, а акустики доложили, что подлодка чуть вправо от киля корабля, капитан дал команду резко вправо руля, а вслед за тем — команду атаки на минный пост, после чего корабль так же резко отклонился влево, уходя от неглубоких разрывов, даже в трехбалльное волнение моря покачивавших корпус «охотника».

— Стоп машина! — новая команда Доббла.

Пройдя несколько кабельтовых, корабль остановился. Акустики фиксировали полную тишину, только фон моря, впрочем, уже успокаивающегося; надвигался снежный заряд. Прошло полчаса, на заметно снизившемся фоне никаких сигналов акустики не отмечали. Все было кончено. Лодка не всплыла, как должна была сделать в этой ситуации, оставшись на плаву. А если бы всплыла — ничего бы не оставалось как добивать... Капитану стало неудобно. Не глядя на штурмана и вахтенного, Доббл отдал команду идти в порт, а сам, передав корабль старпому, ушел в свою каюту, попросив вахтенного послать к нему кока с чаем. К чаю он выпил стопку виски. Противная простудная ломота несколько притупилась. Вызвал по внутренней связи радиста и продиктовал шифровку в штаб.

Через месяц Стивен Доббл был награжден орденом Георга. Советы о потопленной лодке промолчали. Понятно, что и Адмиралтейство тоже не афишировало подвиг капитана противолодочного корабля бортовой номер 207.

♦ В конце сорок третьего года, пробившись через бурные в декабре Норвежское и Баренцево моря, потеряв от немецких полетов и ихних же *U-ботов* четверть судов с грузом и два корабля охранения, очередной конвой *PQ** прибыл в Мурманск. Грузовые «либерти» стали под разгрузку, а часть кораблей охранения (основная охрана возвращалась в Англию, передав конвой кораблям Северного флота) пришвартовалась у пирсов Полярного.

Был как раз канун католического рождества. Желая сделать приятное союзникам, традиционное застолье в честь прибытия конвоя начштаба распорядился провести в этот же день, а не как обычно, дав командам англичан отдохнуть сутки-другие. О чем и сообщил капитанам прибывших кораблей штабной адъютант, скоренько побывавший с визитом, с непрременной стопкой бренди, у капитанов эсминца, двух противолодочных кораблей и вспомогательного корабля-плавбазы. Все офицеры приглашались к 21.00 в Дом командиров флота, а об остальной команде, как пояснял адъютант, позаботится гарнизонное начальство Полярного.

Изображавший букву «П» стол на полторы сотни персон, как обычно, сервировался в фойе ДКФ по соседству с концертным залом, где перед началом ужина гостям показали последние военные кинохроники. Кстати говоря, в этом самом ДКФ, но уже называвшемся Домом офицеров флота, до переезда семьи на «большую землю», в *Т.*, отец Николая Андреяновича работал старшим электромонтером, да и сам Андреяныч, учась последние два года в школе, страхась конкурса в институт, по вечерам, после школы тоже трудился электриком-осветителем при том же концертно-театральном зале...

Сочли за знак внимания к ним союзники и елку с мигающими гирляндами, что стояла в центре фойе, в проеме той самой буквы «П» банкетного стола; елка по довоенной традиции ставилась за неделю до Нового года. Англичанам эти тонкости не поясняли.

Рассаживанием за столом руководил все тот же шустрый адъютант; не мудрствуя лукаво, он сажал по принципу: два мальчика — две девочки, очевидно, запомнившегося из пионерского детства, то есть — два союзника, затем два наших и так далее. Впрочем, здесь был и толковый расчет: каждый мог одновременно общаться со своим и с чужим, а если учесть, что в пару с нашим боевым командиром адъютант усаживал и политработника, то расклад и вовсе был восхитительным. Правда, боевые наши моряки говорили по-английски, чего не скажешь о политотдельцах, но — очень хорошо во все и не хорошо!

* Кодовое наименование (добавлялась цифра) конвоя ленд-лиза, следовавшего в СССР из Англии. Расшифровку аббревиатуры — см. в романе Валентина Пикуля о караване *PQ-17*.

Но и на этом забота адъютанта не заканчивалась, он и по характеру общения пары подбирал: своих хорошо знал, союзников оценивал по выражению лица и кратким беседам за рюмкой бренди, когда обегал их корабли с приглашением. Самым мрачным из англичан ему показался капитан Стивен Доббл, командир противолодочного корабля; его он и посадил одессную известного на флоте весельчака кавторанга Федора Тихоновича Лощилина, командира геройской подлодки С-38, а для поднятия тонуса огорченного чем-то англичанина подсадил к ним еще большего живчика — политотдельского майора Шулейку, который мог и паралитика до хохота довести, и трезвенника упоить до положения риз. Закончив свой вдохновенный труд, адъютант стушевался. Слово для первого тоста взял командующий.

Потом было много тостов хозяев и ответных — гостей. Пили за героических союзников, за доблестный Северный флот, отдельно и стоя — за Сталина и британского монарха. Начальник политуправления флота предложил выпить за скорейшее открытие второго фронта; союзники несколько сконфузились, а мрачный, хотя уже и в сильном подпитии, Доббл что-то проворчал неодобрительное о Черчилле и Рузвельте...

Постепенно общие тосты сошли на нет, языки развязались, разговоры пошли по группам и группкам, Лощилин все пробовал разговорить откровенно пьяного, не выходящего из мрачного состояния духа Доббла. Шулейко помочь ничем не мог, ибо в школе и политучилище осваивал немецкий. За два часа застолья только и выяснил Федор Тихонович, что равный ему по званию и годам военной службы английский капитан впервые прибыл с конвоем в СССР, а до этого охотился за германскими лодками в составе Флота Метрополии в северной Атлантике, командовал же новейшим противолодочным кораблем почти крейсерского класса, а до того — небольшим «охотником».

Лощилин пробовал было разговорить хмурого соседа на морские темы; известно, что моряки о море столь же охотно говорят на берегу, как и рыбаки о рыбалке (в пивной, например). Доббл скупно отвечал, видно по всему было, что в мрачных своих мыслях он где-то далеко, может в семье что? Или наградой какой обошли? Вспомнив о наградах, Федор Тихонович погладил свой иконостас на кителе, где, не считая медалей, присутствовало несколько орденов, которые в первые годы войны довольно скупно давали: от простенькой «звезды» до первого своего ордена Ленина — за потопленные в один выход в море немецкий эсминец и два транспорта крупного тоннажа с военной техникой и живой силой.

Поинтересовался у английского капитана, также имевшего несколько наград, в том числе офицерский орден Георга высокой степени: за что получены? Доббл еще более сник и даже сделал инстинктивный жест рукой,

как бы прикрывая «георга». Зоркий кавторанг это отметил и деликатно переменял тему беседы.

Англичанин временами коротко поглядывал на своего соседа; по все-му было видно, что здоровяк и весельчак русский капитан ему нравится. Как будто решившись на что-то, Доббл быстро налил и выпил, не чокаясь, подряд две стопки водки, на секунду-другую задумался и огорошил Ло-щилина:

— Сэр, мне очень плохо, мне стыдно. Я вижу, как ваша великая страна и армия почти-что в одиночку противостоит фашистам. Пройдя в составе конвоя Норвежское и Баренцево моря, я был потрясен храбростью ваших моряков и летчиков, которые в буквальном смысле закрывали своими бор-тами наши транспорты и корабли охранения. Мне невероятно стыдно: ведь этого «георга»,— он с ненавистью, скосив вниз глаза, посмотрел на ор-ден, — мне дали за потопление... русской лодки!

Федор Тихонович, поняв что Доббл не шутит, не иносказательно гово-рит, посерьезнел. Доббл же, развернувшись со стулом к соседу, быстро-быстро, словно опасаясь, что русский капитан гневно сверкнет добрыми своими глазами, встанет и уйдет, стал рассказывать о своей атаке русской подлодки во время финской войны, о тайной гибели последней, о том, что им двигало тогда... а вот теперь они союзники, соединенные пролитой кровью, вместе бьющие страшного и сильного врага. Этот орден жгет ему грудь, душу, кажется, что вот-вот китель обуглится в месте крепления на-грады...

— Капитан! — перебил его Лощилин,— но в финскую войну у нас не было потерь в подводном флоте. Это не военно-политическая маскировка; я сам в то время служил в этих местах, лодки все до единой знал, все они и в Отечественную войну вступили целехоньки. А, кстати говоря, капитан, не припомните обстоятельств того инцидента, дату поточнее?

Немного поуспокоившись, но еще не веря словам русского капитана, Доббл подробно, с датами, чуть ли не часами, с названием порта и фиорда, рассказывал о злоключении противолодочного корабля бортовой номер 207. Командир же подлодки С-38 внимательно слушал. На лице его попе-ременно отражалась вся последовательность наваянных воспоминаниями чувств.

— Знаете, капитан, чтобы рассеять ваши последние сомнения и, как говорят у нас, снять грех с души, я вам скажу невероятное по стечению обстоятельств: лодкой, которую вы бомбили, командовал я.

♦ Через месяц от описываемой беседы в банкетном фойе ДКФ города Полярного, уже благополучно — не считая развороченного форштевня в надводной части от непрямого попадания авиабомбы — вернувшийся с

обратным конвоем командир противолодочного корабля Стивен Доббл поутру вошел в здание штаба, хотя его и не вызывали, и вручил дежурному офицеру полотнояный конверт с упакованным орденом Георга и пояснительным письмом. На конверте стоял адрес Адмиралтейства с указанием имени первого лорда этого ведомства. Затем зашел в буфет офицерской столовой при штабе, попросил кельнера налить ему стаканчик бренди, улыбнулся, облегченно вздохнул и удивил буфетчика фразой по-русски: «За наших доблестных союзников!»

◆— Вот так-то, ребята, мы хоть и верным курсом идем,— Шулейко заговорщицки подмигнул собеседникам,— но история не всегда уместается ни в краткий, ни в полный курсы; реальная жизнь то норд-ост-ост даст, а теперь, похоже на то, и к весту склоняется. Помяните слова кадрового политработника!

Ошеломленные услышанным, мы с Николаем Андреяновичем молча следили за правой рукой Бориса Никифоровича с бледной татуировкой морского якоря, разливавшего по последней.

— За наш Флот! Семь футов ему под килем! — громогласно провозгласил Шулейко и, не закусывая, округлым своим баритоном затянул родную североморскую: «...растаял в далеком тумане Рыбачий».



ПОКУШЕНИЕ НА ЧЛЕНА ПРАВИТЕЛЬСТВА

*Я полюбил чужой полярный город
И вновь к нему из странствия вернусь
За то, что он испытывает холод,
За то, что он испытывает грусть.*

Николай Рубцов

♦ Прошлогодня поездка и отдых в нашем областном курорте нам с Николаем Андреяновичем очень понравились. Серега Зябликов даже позабавился, наслушавшись рассказов — после работы в любимом «Рыбном», посмотрев привезенные фотографии. И это-то на фоне его неудачной поездки на юг: молодое вино, которым он собрался полечить свое сердце, мотор — по его терминологии сына боевого летчика-штурмовика, в этом году вовсе в стране и не квасили, шел второй, самый свирепый год горбатой перестройки и борьбы с алкоголизмом. Вдобавок девка, которую он взял с пляжа для совместного курортного проживания (он снимал у местной хозяйки комнату с отдельным входом), оказалась подмосковной стервой, в два-три дня его раскрутила и смоталась на другой пляж, следующего дурака искать. А Серега до конца отдыха пил с отвращением один лишь квас — экономил на обратный билет. «Эх, дурак, нужно было с вами ехать!» Сделанного не воротишь, тем более, что другие события затмили южно-отпускные страдания нашего коллеги: даже в «Рыбном» и ему подобных простонародных заведениях практически пропал портвейш, водку давно перестали разливать, даже коньяк к обеденному времени заканчивался...

♦ Я понимаю, что читающему эти строки, избалованному изобилием отечественных и импортных напитков («Сюда жемчуг привез индеец, поддельны вина европеец...» — как писал Александр Сергеевич) и мест их распива, скучны все эти воспоминания: создается впечатление, что в последние советские годы народ тем и занимался, что все световое время суток только и думал: где взять и где распить безбоязненно, не попав в руки краснофуражечных сержантов? Но вспомните сами те годы: до какого осатанения народ Меченый довел? Даже от рождения не пьющие, язвенники всех степеней тяжести заболевания, страдающие желчнокаменным недугом по алкогольной этиологии — все, включая начальников средней и малой руки, начинали свой трудовень с оживленного обсуждения в курилках и кабинетах последних новостей: кому-то соседка, уборщица в стопятидесятом специализированном, доверительно шепнула, что, дескать, с утра должны завести большой фургон «экстры»; в ресторане «Центральный» официантка Клара, уважающая инженерную публику (сама когда-то окончила два курса нашего политеха) продает — от буфетчицы — коньяк на вынос с наценкой всего в десять рублей... Самые сногосшибательные новости обычно приносил Серега Зябликов, живущий в окраинных Глушанках: «А у нас со вчерашнего вечера самогон на рубль подешевел!».

Но — к делу.

♦ Вот думал, думал... как перейти к сути этого самого дела, рассказа то бишь, этак побезалкогольнее, но — не получается! Вы уж меня извините великодушно. Словом, в то зимнее утро пронесся по нашему отделу неизвестно кем пущенный слух, что-де в ресторане «Упа» вчера праздновали шикарную, чуть ли не генеральского сына свадьбу, поэтому у буфетчицы Марьи Васильевны в загатнике осталось несколько ящиков неоприходованной водки, отпускаемой с божеской наценкой приличным людям. Наша троица входила в этот клуб.

Нам бы, идиотам, сразу сообразить, что слух этот издевательский, явно исходящий от непьющего изобретателя Красенькова, конкурента лучшего изобретателя же НПО «Меткость» Сереги Зябликова — какой дурак свадьбу играет в четверг, тем более — генеральскую! Но безалкогольная жизнь у кого угодно мозги свихнет...

Словом, совершив дисциплинарный проступок, мы уехали из своего леса не пятичасовым автобусом, а на час раньше, когда покидают родное предприятие гегемоны-рабочие. Ввиду отдаленности от родины, то есть от города, его центра, НПО «Меткость» арендовало у автоколонны 1108 два десятка старых автобусов, которые уже не годились для городских маршрутов.

Сели в автобус, который имел плановую остановку в квартале от «Упы», но при въезде в центр торопящийся куда-то водитель срезал крюк от набитой транспортом и людьми Советской и помчался по тихой и спокойной Менделеевской и, к нашему удовольствию, притормозил почти что у самого входа в ресторан.

...У католиков все благие намерения ведут в ад, а в нашей православной стране — к огорчениям жаждущих людей: Марья Васильевна горько посмеялась над наивными молодыми людьми: «К завтраму обещают привести пару-тройку ящиков. И это на оба выходных!» Несолоно хлебавши, с отвращением выпили по трехрублевому стакану какой-то ебурлығы в новомодном, недавно открывшемся баре в левом углу ресторанного зала. Настоятель, проницательный парень по кличке Женька-бармен, называл это месиво «джусом», наливая ингредиенты под прилавком, видно, от дурного глаза клиентов.

Вышли, закурили на крепчающем вечернем морозе. Делать нечего, надо расходиться. Нам с Николаем Андреяновичем — вверх по проспекту, но сначала пошли провожать Серегу на его восемнадцатый номер автобуса, пошли обратным путем по Менделеевской. Проходя мимо двухэтажного здания бывшего женского монастыря, а ныне юношеской морской школы, вспомнили с Андреянычем о полковнике Шулейко, с которым отец его служил в войну на Северном флоте и с которым же мы так хорошо встречали День военно-морского флота этим летом на курорте, где оказались в номерах по соседству. Милейший Борис Никифорович просил их запросто заходить к нему в морскую школу, где он сейчас — на пенсии — начальствовал. «У меня там и холодильник имеется в кабинете», — лукаво намекал Шулейко понравившимся ему молодым людям.

— Смотри! Никак ваш мореман от политотдела час воспоминаний устроил? — обратил наше внимание Серега на единственно освещенное окно прямо под колоколенкой на крыше. Действительно, за легкой занавеской виднелся силуэт крупного мужчины, активно жестикулирующего руками, и, прислушавшись в открытую вентиляции ради форточку, узнали и округлый баритон хозяина кабинета и всего здания.

— Зайдем? — мотнул я головой в сторону двери.

— Отчего же не зайти, звал ведь, — поддержал Николай Андреянович. Одна и та же блудливая мысль оседлала наши головы: вспоминали слова Шулейко о холодильнике в его служебном кабинете...

♦ Дверь оказалась незапертой (это ведь не нынешние бандитские времена!), встретила, впрочем, не вставая со стула, заспанная гардеробщица, караулившая в пустой раздевалке две флотские шинели с шапками с «крабами», висевшие отдельно от стоек с номерками на крючках.

— К Борису Никифоровичу,— опередили мы неспешный расспрос почтенной раздевальщицы.

— Тама он,— зевнула бабка, махнув рукой влево, в сторону коридора,— токмо пальтушки у меня оставьте, у нас того... морская дисциплина. Номерки можете не брать, а то еще потеряете.

На наш почтительный стук из-за двери раздалось энергичное «войдите» хозяина.

— А-а, молодые люди! Входите, входите, молодцы, выполнили обещание — зашли! Вот, знакомьтесь, Гаврила Анисимыч, мои летние знакомцы по курорту, куда тебя не первый год зову, инженеры, куют, так сказать, щит Родины! — рекомендовал нас Шулейко, великолепно смотрящийся в черной полковничьей форме с красной политотдельской окантовкой погон, с четырьмя рядами орденских колодок на кителе, со значком Военно-политической академии, с другими солидными знаками отличия. Рекомендовал своему, судя по всему, гостю, тоже в форме «черного полковника», но только с синей окантовкой погон. Оба сидели у накрытого — что холодильник послал! — стола: рюмки, закуска, полупустая коньячная бутылка, нарзан.

— От стены стулья-то придвигайте, садитесь к столу,— Шулейко подмигнул, не вставая со своего директорского креслица, обернулся к стоящему рядом зилловскому холодильнику, открыл, достал литровку — точно-точно родную сестру давешней, из которой на курорте нас потчевал.

— Вы, молодые люди, сами представьтесь Гавриле Анисимовичу,— Шулейко занялся доукомплектованием стола с учетом увеличения экипажа,— а Гаврила Анисимыч — мой давний приятель и сослуживец. Я в политотделе служил, он — в военной прокуратуре флота. Сейчас, навряд ли меня, воспитывает в военном направлении молодежь: командует областным ДОСААФ в Запорожье, на родине своей.

Мы почтительно пожали руку морскому прокурору, кратко отрекомендовались. Шулейко меж тем закончил нарезать сервелат и грудинку явно столичной покупки, прицелился на литровку «домашней».

— ...Так вот, мы с корабля на бал: только два часа, как с поезда, в Москве с Гаврилой Анисимычем на Всесоюзном съезде военно-патриотических организаций в президиуме сидели! Таки зазвал его на пару дней к себе погостить, вот и начали со знакомства с моим хозяйством, а потом домой покатаем, на Севастопольскую. Кстати,— Шулейко заулыбался, вспомнив, обращаясь к гостю,— ты ведь помнишь тот случай с Косыгиным в сорок пятом?

— Ха-ха-ха,— от души рассмеялся осанистый, под стать хозяину кабинета, прокурор,— как же не помнить, ведь мне же поручили с этим разбираться: смех и грех!

— Ну, если так хорошо помнишь, то вот — рекомендую, — Шулейко дружески положил свою руку на плечо зардевшегося Николая Андреяновича, — этот молодой человек есть сын того самого старшины с Тороса, с которым ты тогда разбирался, а сам Андреян живет-здоровствует на соседней со мной улице, огородами почти-что граничим!

— Вот ведь дела! — восхитился прокурор, — что в жизни бывает? Прочти в романе каком — ни в жизнь бы такому совпадению не поверил.

Мы с Серегой историю эту давно знали; сам Андреян Матвеевич нам рассказал на дне рождения своего старшего. А посидели тогда с черными полковниками от души. Много чего матерые сухопутные моряки порассказали любопытного...

♦ Апрель сорок пятого на Мурмане стоял спокойный, тихий, хоть и по-северному, но — солнечный: на верхушках сопок снег уже начал оседать, подтаивать. Низкое, даже в полуденный час, солнце заставляло жмуриться людей, еще не отошедших от теми и сумрака полярной ночи. Военным и немногим в тех местах штатским казалось, что и суровая Арктика к концу войны отчаянно устала штормить, осыпать сушу и море слепящими снежными зарядами, беспокоить натянутые нервы людей дикой красой всполохов — во все темное небо — северного сияния. Эту гармонию умиротворенный ранней весенней природы, спокойного моря и успокаивающихся людских измученных душ дано было почувствовать только участникам Великой войны — на самой ее северной оконечности: еще выше были только льды; там пока воевать не научились.

Андреян, всю войну прослуживший старшиной (и по званию — старшина 2-ой статьи) команды наблюдения и связи на крутобоком островке Торосе на самом входе в Кольский залив, стоял на мостике, шурился от яркого низкого солнца и его же отсвета от тишайшего, зеркального залива. На небе ни облачка, и уже давно — ни одного немецкого бомбардировщика, три с лишком года каждодневно пролетавших бомбить Мурманск, облетая зенитные батареи, густо обсыпавшие берега и острова залива.

Теперь все шло в обратную сторону: наши транспортные самолеты и неторопливые баржи с десантными кораблями вперемежку двигались влево, на Запад — в уже освобожденную советскими войсками Северную Норвегию: в Киркинес, в Варангер-фиорд. В Мурманск же иногда проходили последние лендлизовские конвои союзников, но уже с минимальным охранением. Союзническую же команду наблюдателей-связистов, служившую в параллель с командой Андреяна большую часть войны, уже сняли с Тороса.

Со стороны закутка радиста, находившегося слева и снизу от мостика — боевого поста наблюдения, доносился голос Левитана, личного врага

Гитлера; другим личным врачом фюрера не так давно стал героический подводник-балтиец Александр Ионович Маринеско. А вот Лунин, которого Андреян знал в лицо, за торпедирование «Тирпица» этим самым врагом не стал...

♦ В утренней сводке новостей по радио говорилось о боях на подступе к Берлину; добили окруженных немцев в Восточной Пруссии, про Северный их флот упомянули в связи с Норвегией. Союзники валом катили по Германии с запада. Вспомнил Андреян и о калужском племяннике Ленке, призванном в сорок третьем: бог его миловал, ни одного ранения-контузии, сейчас в самом пекле пехотинец...

— К-х-а-а,— послышалось вежливое покашливание Жоры Асатурьяна, не совсем строевого из-за легкой хромоты старшего матроса, с тридцать девятого года служившего вместе в Андреевом,— о чем мечтаешь, Матвейч?

— Так... Об общем. Чего не спишь? Тебе в третью вахту.

— Отоспался, хватит,— Жора потянул ноздреватым носом,— сегодня Гриша треску на обед жарит. Хорошо как сегодня? Помню, такая вот тишь и благодать в июне сорок первого стояла...

— Тьфу! Все настроение испортил. Не видать тебе Арарата!

— Не глумись над горем армянского народа, Андреев. Мне вот из Еревана пишут, что маршал Баграмян уговорил-таки Иосифа Виссарионовича потребовать от турок Арарат; и Черчилль теперь не у власти, не воспрепятствует, союзник хренов!

Асатурьян раззевался и совсем было собрался отправиться с мостика — проверить, правильно ли кок Гриша жарит треску: он любил, чтобы с корочкой получалась, но в это время раздался зуммер от радиста, Андреев взял трубку, нажал тангенту связи. Единственный на посту новичек, радист только месяц назад прибыл на Торос (прежнего старослужащего радиста Мальцева политотдельский подполковник Шулейко отправил добровольцем на укомплектование недавно созданной Дунайской флотилии, отчаявшись с уговорами о вступлении в партию), потому обращался к начальству официально:

— Товарищ старшина! С поста Большого Оленьего проводка: из Полярного следует на выход в море польская подлодка, пропуск... (радист назвал комбинацию букв). Отбой связи.

— Чего там? — заинтересовался Асатурьян.

— Чего-чего, гора к Магомету идет: пшечки решили под завязку войны подвиг совершить, в море вышли.

Жора, свирепо было задвигавший неуставными усами, за которые его нещадно пилил политотделец Шулейко (куда-нибудь добровольцем его отправить было невозможно из-за хромоты), при упоминании имени про-

рока, тотчас сообразил, что речь идет не о турках, а о польской подлодке, что почти приросла к пирсу Полярного, не сделав ни одного боевого выхода за время войны. Сама же лодка была в начале войны передана польскому правительству Миколайчика в изгнании (в Лондоне) и с польским экипажем послана на советский север для посильной помощи в охране лендливзовских караванов. Вот и охраняли... Сами себя.

Асатурьян, по всей видимости, имел желание свести польский вопрос к турецким проискам, поэтому начал, забыв про правильно пожаренную треску, издалека:

— Странный народ эти поляки! Немцы пять лет их страну оккупируют, Варшаву всю разрушили, а они и ухом не шевелят? Армия Андерса* в Персии отсиживается, подлодка — в Полярном, правительство в Лондоне...

— Ну, почему же, а Войско Польское?

— Ты, Андреян, смеешься надо мной? Войско-то польское, да из поляков там почти-что один Рокоссовский. У меня двоюродный брат Ашот в том войске воюет: в английском френче и с конфедераткой на голове; ведь помнишь, фотографию тебе показывал?

Андреян заухмылялся, вспомнив, как словоохотливый и дотошный Асатурьян доводил до белого каления Шулейко своими вопросами, когда тот планоно заезжал на политотдельском катере окормлять свою паству...

♦ Жора Асатурьян ушел все же досмотреть за жаркой трески. Через полчаса со стороны стоявшего в створе залива Седловатого послышался характерный стукотной гул, шедшей на дизелях подлодки, а вскоре показалась и она сама, без бинокля хорошо различимая. Еще через четверть часа лодка вышла на линию Тороса. К этому времени на мостик вернулся любопытствующий Асатурьян, вытирая чистой ветошкой губы и подбородок: он успел и пообедать в камбузе.

— Ты радисту-то дай, салаге, команду о пропуске на Кильдин или Рыбачий — куда она там повернет? Может в Англию за Миколайчиком идет, а?

— Ты, Жора, советы Грише давай — как треску жарить, а дисциплину еще никто не отменял, как говорит товарищ Шулейко, ха-ха! Вот отмаху и дам радисту команду.

— Какая-такая дисциплина!? Для нас война — капут!

— Ты эти разговорчики брось, товарищ старший матрос.

Хотя разговор и был шутейский, но Жора сразу поскунчил: очень его обижало неизменное свое скромное звание старшего матроса... Однако с ехидцей про себя отметил, что и Андреян похоже насовсем застрял в своем

* 100-тысячная польская армия после разгрома Польши Германией находилась на территории СССР, отказалась участвовать в войне, в 1942 году ушла в английскую зону оккупации Ирана; после окончания Второй мировой войны следы ее теряются где-то в Италии.

чине старшины 2-ой статьи. Но дразнить старшего и давнего своего приятеля раздумал.

Лодка дала короткий гудок, Андреян в ответ, нажав ручку ревуна, дал ответный. На мостик рубки подлодки выскочил сигнальщик с красными флажками в руках; такие же флажки взял с подсобной полки Андреян и вышел вперед, к ограждению мостика, встал по стойке «смирно» и отмахал флажковой азбукой запрос. Польский сигнальщик в ответ отмахал свой шифр; Андреян отошел к столику сверил с записанным в вахтенном журнале, снова выступил вперед и отмахал разрешение на проход, потом позвонил радисту.

— Хочешь, трески принесу? — Асатурьян явно подхалимничал.

— Не надо, через час пообедаю, когда сменюсь.

— Ну, как хочешь, а я пойду еще ухи похлебаю и посплю.

Асатурьян, прихрамывая, ушел с мостика, а Андреян вынул из кармана папиросы. «Хорошо все же без бомбежек жить», — прищурился он на солнце.

♦ Старшина поскучал на мостике еще с час, пропустив в залив за это время только две гражданские посудины: рыбацкое суденышко, шедшее с лова на кильдинской банке*, и небольшой грузовой пароход «Гоголь», почти ежедневно курсировавший между Видяево и полуостровом Средний — что-то возил по части морской авиации.

С изумлением, обернувшись за сигнальными флажками, Андреян обнаружил на полочке давешнюю чистую ветошку, которой Асатурьян вытирал губы и подбородок после жирной (Гриша масла не жалел) трески. Как потомок калужских старообрядцев-поповцев, Андреян не выносил и малейшего беспорядка в вещах, делах, флотской дисциплине, поэтому загодя решил прочитать въедливую нотацію Жоре, даже наглядный пример продумал: «Жора! Я думал ты армянин, а ты неряха хуже турка...» И так далее. Жорину тряпку он брезгливо, подняв двумя пальцами, бросил в бочок с песком, в котором тушили окурки.

Сдав вахту пополудни старшему же матросу Федору Крапивину, старослужащему, Андреян спустился в камбуз. Действительно, уха и треска коку Грише сегодня удались. Компот, забытое за годы войны флотское лакомство, был сегодня тоже настоящий, не из американского концентрата: только накануне продуктовая баржа завезла на Торос довольствие, в том числе мешок сухофруктов. Странно было думать: где-то люди и в эти годы яблоки, груши со сливами собирают...

Он заглянул в матросский кубрик: Жора с храпом спал, а выражение

* Обширная отмель у острова Кильдина, к северо-востоку от выхода из Кольского залива (где сейчас лежат на дне останки АПЛ «Курск»).

лица явно говорило: севанская форель все одно лучше трески! Спать — на флоте дело святое. Отложив взбучку, старшина ушел в свою «командирскую» каморку, которую он когда-то самолично переоборудовал из пустовавшей подсобки: не потому, что брезговал флотским коллективом, а Шулейко, тогда еще капитан, как-то привез на пост маленький сейф для хранения служебных документов, велел Андреяну соорудить себе отдельный кубрик и спать рядом с сейфом. Обрадованный старшина, чуткий сон которого постоянно перебивал храп Асатурьяна, оборудовал себе комнатку со вкусом флотского ранжира, поддерживал в ней абсолютную чистоту и порядок. Впрочем, дверь в свой кубрик держал днем и ночью полуотворенной — хотя и имел крепкие флотские нервы, но малое замкнутое пространство его угнетало. Опять же — так демократичнее, через узкий коридорчик каюта радиста, часто оттуда музыка слышна. К тому же что срочное — радисту и бежать не надо: обернулся и доложил. Слух у Андреяна, равно как и зрение, был отменный.

♦ Прилег, однако в сон не тянуло. Прикрыл глаза, а в них бегали вдогонку зайчики отблесков солнца от зеркальной воды залива; все же глаза утомились от долгого, в течение всей вахты рассматривания однообразной картины: широкое горло залива, с пятнистыми, где уже сошел снег, обрывами сопот берегов, ползущая по глади вод рыбацкая шхуна, а в стороне моря, где берега залива, мельчая, уходили вправо и влево, сливаясь с горизонтом в дымке, — спичечный коробок морского «охотника»*, ходящего взад-вперед, сторожащего вход в залив... Застывшая картина июня сорок первого, возникшая наяву три с половиной года спустя.

Сон не шел, Андреян раззевался, из-за двух полуотворенных дверей из комнатки радиста доносилась тихая музыка, перемеживаемая краткими фразами по-английски. Вот и конец войне — тихий, солнечный, умиротворенный, с красивой музыкой камерного оркестра, передаваемой радиостанцией из Лондона. Вроде как в течении жизни ничего не изменилось, только вот... тишина. Это самое непривычное. Настолько тихо, что чуткий слух уловил из-за переборки храп Жоры Асатурьяна.

В комнатке Андреяна, устроенной им по образцу кают среднего корабельного офицерского состава, все было продумано, а по причине малой кубатуры помещения любой предмет можно было взять, не вставая с койки. На стене, прямо над этой койкой, была принаитована полочка, самолично и любовно выструганная и отполированная Андреяном из бросовой половой доски. На полке же помещались четыре десятка разноформатных книг, разными путями попавших к нему, начиная еще с калужских времен учения в молочном техникуме. Это и было почти все его личное имущество.

* Малый противолодочный корабль (воен. разговорн.).

во; подвижная (а потом и малоподвижная на островке) жизнь Андреяна не позволила собрать и сохранить какой-либо скарб. В рундучке же, что стоял под койкой, находились носильные форменные вещи, на гвоздях, вбитых в углы стен, висели шинель, бушлат, летняя рабочая роба, «мичманка» и зимняя шапка. На полу в том же углу стояли две пары ботинок, одни еще довоенные — «батеvские»*, и рабочие яловые сапоги: все хорошо начищенные. Гражданской же одежды Андреян не имел с года своего призыва, то есть с тридцать шестого.

Еще в кубрике умещался совсем небольшой стол-тумбочка, поставленный под окном, завешенным полотняными шторами. Знаменитый сейф, привезенный Шулейко, стоял пустой, поскольку единственным документом на посту был вахтенный журнал, а он постоянно был нужен на мостике. Вот и все немудреное хозяйство.

♦ Поскольку сон не шел, Андреян повернулся на бок, приподнялся на локте, левой рукой дотянулся до окошка, раздвинув занавески. Сделав свет, он повернулся на другой бок, чуть подавшись спиной, оперся на другой локоть и уже правой рукой достал с полки один из четырех приемистых томиков в порыжелой картонной обложке довоенного издания «Дешевой библиотеки»: уже он сам забыл — в который раз перечитывал «Войну и мир». Открыл, вынул закладку — обрывок газеты, второй том на нужной странице, с полчаса читал, точнее говоря, фиксировал в памяти хорошо знакомый текст. Порой, переворачивая страницу, досадливо морщился: неудовольствие аккуратиста Андреяна вызывали частые, неразборчивые карандашные пометки на полях, а то и прямо поверх печатных строк.

Понятно, что сам Андреян, строго предупреждавший матросов команды, бравших «что-нибудь почитать», чтобы уголки страниц не загибали, на страницах не чиркали, книгу не перегибали наподобие журналов и брошюр и пр., ни малейшего отношения к этому неряшеству не имел. Напакостил же юнга Валька, гостивший на Торосе; прошлой зимой с тральщика, шедшего из Полярного на задание в море, сняли и оставили на острове — до прибытия какого-нибудь каботажа с базы — этого самого юнга, сильно затемпературевшего (на тральщике медперсонал не был предусмотрен). Однако море тотчас на неделю заштормило, а юнга стараниями кока Гриши, его горячего чая с одному известными ему травами, уже на второй день пришел в себя, только говорил хрипло, проявил необыкновенный аппетит. Жил же он всю эту неделю, пока тральщик не забрал его на обратном пути в Полярный, в комнатке Андреяна: поопасались, что чем-то заразным хворает и поместили вроде как в изолятор. Андреян же на это

* В 30-е годы обувь для РККФ СССР поставляла чешская обувная фабрика Бати (в послевоенной Чехословакии ее переименовали в ЦЕБО).

время перешел в общий кубрик. Уже со второго дня пребывания юнга постоянно торчал то на камбузе у Гриши, дегустируя все подряд, а ближе к вечеру — в матросском кубрике, слушая разные байки матерых мореманов сухопутной службы и искусную игру Федора Крапивина на гармошке в дуэте с мандолиной Асатурьяна.

Несмотря на такую занятость, шустрый юнга, как потом с горечью и гневом установил Андреян, успел тщательно, с карандашом перечитать с десяток книг библиотечки старшины, включая три тома «Войны и мира»; четвертый не успел — вернулся тральщик и забрал своего юнга. Прощаясь с экипажем поста, Валька обещал при случае еще раз побывать на гостеприимном островке, желательно вместе со своим однокашником по Беломорской школе юнг Мишкой Поповым*, служившем на другом корабле их бригады.

...Только тридцать с лишком лет спустя, увидев на столе в комнате сына Николая только что вышедшую книгу Валентина Пикюля «Реквием каравану *PQ-17*» и прочитав ее вместе с помещенной там же краткой биографией автора, понял Андреян — кто исчеркал карандашом «Войну и мир» и «Тихий Дон» в его военной библиотечке. Мир-то он тесен.

♦Прочитав с десяток страниц, Андреян аккуратно заложил книгу газетной полоской и положил на тумбочку-столик рядом с пепельницей — крышкой от пластмассового корпуса старого телефонного аппарата, закурил папиросу.

Будучи философом-эмпириком в душе, Андреян ко всем событиям окружающей его жизни относился по-философски же, то есть, оценивая события, факты, собственную жизнь, становился в позицию некоторого стороннего наблюдателя — это как в теории относительности, бесформульный вариант которой он освоил, учась в техникуме.

В контексте толстовских воззрений на сущность мира и войны в восприятии разных героев романа он и размышлял.

Вот заканчивается самая жестокая война из когда-либо бывших. Были, конечно, войны и намного более длительные: Семилетняя, Тридцатилетняя, Столетняя наконец. Но все они вместе, взятые по масштабу охвата, потерям в один только год этой войны уместятся... Чем жизнь человека в войну и в мирное время отличается? — Подумав, а думал он не в первый раз, Андреян подтвердил свои прежние парадоксальные выводы: а почти ничем не отличается, особенно если твоя жизнь к началу войны не устоялась, если не обзавелся семьей, домом, привычками размеренного течения бытия.

* Также не вымышленный персонаж: Михаил Павлович Попов ныне живет в Курске, работает профессором в тамошнем университете, известный биофизик, доктор биологических наук — научный коллега и знакомый автора.

Конечно, к постоянному ощущению опасности привыкнуть невозможно, но, с другой стороны, если в облачный сверх меры день немцы не летят бомбить Мурманск, попутно оделяя бомбой-другой и Торос, возникает кошмарное чувство неполноты прожитого дня.

Значит, человек все же привыкает к самому аномальному течению жизни? А попробуй не привыкни, коли тебя в эти обстоятельства вставили, как винт в отверстие, закрепили гайкой, а чтобы не развинтились, например, от вибрации, еще и законтрогают. Опять теория человека-винтика?

Нет, сегодня Андреяну не философствовалось. Самое интересное, что голова в этом направлении хорошо работала после очередной политбеседы не забывающего своим вниманием отдаленный пост Шулейко, за годы войны выросшего в звании от политрука до подполковника. Значит, умел матерый политотделец заставлять своих подопечных мыслить, хотя беседы-наставления его и не выходили за рамки, утвержденные Главпуrom. Все дело было в конкретных, житейского характера, отступлениях — для ясности и конкретности.

Все же полуденный сон сморил старшину-философа. Но проспал он всего минут двадцать.

♦ Его разбудил голос радиста — через коридорчик и две полуотворенные двери:

— Товарищ, старшина! Тут непонятное сообщение с поста Большого Оленьего.

Андрейн поднялся с койки, вставил ноги в самодельные войлочные обувки «для дома» и, как был в тельняшке, вошел к радисту:

— Чего тебе не понятно?

— Да вот сообщили, что только что со стороны Верхней Ваенги, по всей видимости, прошел катер, не подавая сигналов пропуска. Им же на Большой Олений никаких сообщений по радио не поступало.

— Спят, наверное, на Оленьем на посту.

С этими словами Андрейн вернулся в свой кубрик, накинул на плечи бушлат и поднялся на мостик, где уже Крапивин щурился на послеполуденное солнце, явно склоняющееся к горизонту.

— Дай-ка,— протянул Андрейн руку к биноклю, по-чапаевски накинутаю на бушлат Федора.

Действительно, в бинокль слева от берега Большого Оленьего виднелась пока еще точка быстрогоходного катера.

— А где ракетница?

— В шкафчике,— Крапивин мотнул головой на настенный шкафчик за столом с вахтенным журналом.

— Что за бардак? Ракетница должна находиться под рукой вахтенного!

— Чего ты, Андреян, расшумелся, подумаешь делов-то,— Федор подошел к шкафчику, достал ракетницу, три уставных патрона к ней с разными цветами и все это положил на полку под столешницей вахтенного стола.

Андреян включил связь с радистом:

— Ничего не было?

— Глухо.

— Ну, слушай дальше.

С минуту Андреян поразмышлял, потом снова взял у Крапивина бинокль, а тому велел набрать из флажков на мачте сигнал запроса и остановки корабля для выяснения. Катер меж тем уже выскочил на траверсе Седловатого и хорошо просматривался в бинокль: белого цвета посыльный катер, которые в обиходе морском называют «адмиральскими». Впрочем, явно командующего на нем не было: катер Головкин был хорошо вахтенным знаком.

На мостик, позевывая, влез по боковой лестнице проснувшийся Асатурян; у Жоры был нюх на происшествия. Все трое молча поджидали приближающийся катер. Молчание Жоре не понравилось, он начал рассказывать длинную байку о немецкой лодке, якобы в прошлом году ночью вошедшей в Темзу и так же спокойно вышедшей в море. Зачем она заходила — того Асатурян не знал.

Уже по своему почину позвонил радист: никаких сообщений не поступало.

♦ Катер меж тем почти поравнялся с Торосом; шел он посредине залива. Жора в бинокль высмотрел на палубе катера перед рубкой двоих штатских среди группки одетых в форменное.

— Смотри, гражданские! — передал он бинокль Андреяну.

— Сам вижу, что не турки,— буркнул тот, взял ракетницу, переломил ствол, вставил красный патрон и выстрелил. Федор Крапивин вслед за выстрелом вывесил на мачте ранее подготовленный им флажковый сигнал.

Однако катер ни на кабельтов не снизил скорость, хотя поравнялся с островом. Андреян подошел к шкафчику за другой красной ракетой, зарядил и выстрелил. Словно издеваясь, катер надбавил обороты.

— А ну, расчехляй,— не отрываясь от бинокля, указал Андреян на пулемет, установленный на треноге в правой стороне мостика. Это был тот самый новенький тяжелый пулемет «Кольт» лендлизовкой поставки, что Андреян ездил получать в Мурманск в конце зимы сорок четвертого года, где в последний раз виделись и даже хорошо отметили это выпивкой они с Джеймсом Лэнгом, ранее служившим на Торосе в составе союзной команды.

— Смотри, командир, на неприятности еще нарвешься, шишка какая-

то в шляпе катит,— заметил Асатурьян, снимая чехол, а Крапивин уже поправлял ленту патронов, по диспозиции постоянно заложенную для боевой стрельбы.

— Пусть инструкцию прежде перепишут,— пробурчал Андреян, давая в воздух третью и последнюю предупредительную ракету.

— Ручкой помахали,— весело сказал Жора, в чьем распоряжении сейчас был бинокль.

— И мы помашем,— Андреян наклонился, глядя в визир прицела, ствол «кольта» легко ходил вправо-влево и вверх-вниз, взял повыше над рубкой и дал очередь, сотрясшую мостик и все здание-башню поста. Затем снова перевел ствол влево, взял по визиру ниже ватерлинии — с запасом — и дал длинную очередь. В двух кабельтовых от борта катера взвилась цепочка фонтанчиков.

— Получи, фашист, гранату! — усмехнулся Жора.

Катер запоздало подал громкий сигнал корабельной сиреной, сбросил обороты до нуля и затормозил разворотом влево, в сторону поста, затем взял самый малый ход, приближаясь к острову.

♦ Катер на малом ходу подошел на полтора кабельтовых к отвесному берегу острова, застопорив движение, уже по инструкции развернулся бортом и в противоположную предыдущему курсу сторону.

Андреян взял в руки раструб переговорной трубы, но его опередил офицер явно высокого ранга с катера, уже державший трубу у рта:

— ...Вы, на посту! Под суд захотели? Что за стрельба по кораблю, на борту которого находится представитель руководства страны, член правительства!

По всему было видно, что присутствие на палубе штатского в шляпе заставляет его выбирать выражения.

— Почему вы нарушили инструкцию и не остановились на цветовой и флажковый сигналы?

— Я тебя, сукина сына, сгною... — не сдержался-таки офицер, но штатский в шляпе остановил его жестом руки. Переговорную трубу на катере взял, судя по повседневному кителю, старшина катера. С ним Андреян и вел переговоры. На корабле рация имелась, поэтому через четверть часа радист позвонил на мостик и передал Андреяну послание аж от самого замначштаба Северного флота: беспрепятственно пропустить катер под номером таким-то, следующий по спецзаданию, передать шифр пропуска на следующий по курсу корабля пост. И еще радист сообщил неслужебную часть радиোগраммы: «Вы мне там ответите за свою стрельбу!»

На мостик рубки катера выскочил сигнальщик и по всей форме отмахал запрос на проход. Взял флажки в руки и Андреян. Через несколько

минут мотор катера, набирая обороты, взревел, корабль сделал крутой вираж и, оставляя широкий тракт белой пены за собой, начал скоро удаляться от острова.

— Зажрались начальнички, хуже турок! — сплюнул (за мостик) Асатурьян.

♦ Расплата за лихую пулеметную атаку не заставила себя долго ждать. Как то водится, долго ждать на посту приходится пайков, когда продовольствие на исходе, заслуженных медалей, обещанных повышений в звании, новой стереотрубы взамен пришедшей в полную негодность — времен Цусимской битвы... По неделе ждал Андреян санитарный катер, когда сначала обострившаяся в голодном сорок втором году язва, а в следующем — открывшийся туберкулез укладывали его в госпиталь в Полярном. А вот на расправу начальство скорое.

Рано поутру катер с членом правительства проследовал обратным курсом, полностью проделав все положенное по инструкции при прохождении мимо поста, а уже пополудни к крохотному пирсу Тороса пришвартовался столь хорошо знакомый политотдельский катер, с которого в скорбной деловитости сошли подполковник Шулейко, незнакомый майор в черной шинели с синими петлицами, с кожаной папкой под локотком; замыкали шествие мичман и трое матросов в рабочих робах.

Шулейко с майором, ни с кем не здороваясь, так же молча проследовали в хорошо знакомую подполковнику комнатку для политзанятий с бюстиком Ленина и портретом Вождя, а мичман, вычислив командиром Андреяна, передал ему предписание на изъятие пулемета в связи с прекращением активных боевых действий в районах базирования Северного флота. Расписавшись в получении предписания, Андреян крикнул Асатурьяна — проводить служивых. Матросы живо демонтировали пулемет, сняли треногу с болтов, забрали ящик с боеприпасом и все это снесли на катер. «От греха подальше», — подмигнул Андреяну мичман, прощаясь со старшиной.

Из здания поста посыльным выглянул радист и позвал командира на расправу.

Мурыжили Андреяна Шулейко с майором-прокурором, тож из хохлов, как родной брат подполковнику, которого Шулейко именовал Гаврилой Анисимовичем, полтора часа. Потом отдельно допрашивали радиста, Крапивина, Жору Асатурьяна и еще кой-кого из команды. Каждый стоял на своем: Андреян — на уставе береговой службы и инструкции, которую пока никто не отменял, прокурор — на превышении должностных обязанностей («Потом, ведь понимать надо — один из руководителей партии и государства на катере следовал...»), а Шулейко напирал на тот существенный момент, что на посту сложилась вопиющая обстановка: единственный

член партии старший матрос Волков переведен на другое место службы, все остальные, исключая нового радиста, по возрасту вышли из комсомола или близки к этому печальному в их жизни моменту. Очень не понравился прокурору старший же матрос Асатурян, который проявлял нездоровый антигосударственный национализм и даже шовинизм. Конечно, турки не союзники наши, но ведь и не воюют с СССР?

Шулейко грозил всеми карами земными и небесными, прокурор шурил глаза под круглыми очками, явно копируя Лаврентия Павловича. Кончилось дело объяснительной Андреяна, взявшего на себя единолично ответственность. Прокурор сурово заверил, что дело вовсе не закрыто, а поскольку Шулейко в присутствии старшины проговорился, что на катере находился сам Косыгин, следовавший с инспекцией баз Северного флота, то с Андреяна взяли и личную расписку о неразглашении.

Также не прощаясь, подполковник с майором покинули пост, катер отвалил от пирса и растаял в ранней темноте залива.

Разбирательство разбирательством, но Шулейко помнил и о своих политотдельских обязанностях: оставил новый график проведения политинформаций — ответственный комсомолец-радист, а также пачку свежих газет. Поэтому, когда старшину обступили сослуживцы с вопросом: кто же такой был на катере, — Андреян сказал, что не имеет права разглашать и ткнул пальцем в раздел хроники флотской газеты «На страже Заполярья», где сообщалось о инспекционной поездке на Северный флот товарища Косыгина. Матросы присвистнули.

♦ Андреян ожидал самого худшего, а худшим для всех кадровых срочных служащих, то есть кто встретил начало войны уже в военной форме, в связи со скорым окончанием войны было увольнение-демобилизация. Это означало, что вместо заслуженной сытой и спокойной службы, хотя бы пару-тройку лет, придется возвращаться в забытую гражданскую жизнь, да еще в самую разруху, голод, неустроенность... И кто их там ждет, почти десять лет тому назад ушедших из дома? А у многих, как у Андреяна, и дома-то не было. Словно в другой мир вернуться.

Прошла неделя, потом другая, отметили на Торосе, как и во всей стране, Победу. За это время связисты из Полярного восстановили телефонный подводный кабель, связывающий Торос через зенитную батарею на ближайшем берегу со штабом и политуправлением, поэтому уже на другой день после Победы Шулейко, обзванивая все опекаемые им команды, весело и дружелюбно поздравлял Андреяна, называя его по имени-отчеству. Был Борис Никифорович в легком и счастливом подпитии:

— ...Службу пока несите как обычно, кадровые передвижения и изменения будут в течение всего лета проводиться. По секрету, так сказать,

лично тебе сообщая: ты в кадрах остаешься, готовь рапорт на сверхсрочную, и отпуск тебе по первому же приказу будет. Вот так-то!

Уже служа на новом месте, на посту прямо напротив Североморска, Андреян услышал от молодого политотдельского старлея, с которым оказался калужским земляком, в честь чего они демократично распили поллитровку, ходившую в командных кругах флота байку-быль, явно касающуюся Андреяна, как он сам сообразил.

Как уверенно говорили слухи, последовательно спускавшиеся от флотской верхушки к командирам частей и соединений, далее к их адъютантам и любимчикам, наконец, к совсем уж младшим офицерам, чуть ли не на приеме руководством страны, устроенном в честь военачальников Советской армии, на котором Иосиф Виссарионович произнес свой исторический тост о решающей роли русского народа в Победе, Сталин, беседуя с командующими флотами, с улыбкой взглянув поочередно на Кузнецова и Головка, шутливо посетовал: дескать, что за brave у вас моряки, вот товарища Косыгина наверное приняли за адмирала Дёница и обстреляли?

Андреян смущенно смеялся. Еще раньше Шулейко, благодушествуя по случаю досрочного получения чина полковника, посетив пост — место теперешней службы Андреяна, рассказал, как все было на флотском уровне — сразу же за инсцендентом.

Когда Головка доложили о случившемся (Сам Косыгин вроде как ни словом ему не обмолвился), он нахмурился, приказал скоренько разобратся и доложить подробно, следствием чего и явился визит Шулейко с прокурором на Торос. Подробнее же ознакомившись с обстоятельствами дела, вспомнив Андреяна в связи с крейсером «Эдинбург», распорядился старшину катера разжаловать в рядовые (в связи с Победой подготовленный приказ отменили, но старшину убрали в глухой гарнизон на береговую службу).

— Конечно, — рассуждал командующий в присутствии начштаба и начальника политуправления флотом, — следовало бы Андреяну медаль дать, но как-то неудобно — члена правительства, ха-ха, обстрелял?!

Война окончилась, но товарищ Сталин призывает держать порох сухим, нам нужны во флоте дисциплинированные моряки, имеющие бесценный опыт боевых действий. Так что оставим этого старшину с Тороса в кадрах, а поощрим его... вот в отпуск первоочередно отправим!

Истинно сказано: за богом молитва, за царем служба не пропадет!



УРОК КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ

То, что ценно в человеческой жизни, возникает не из разумного рассуждения, но в состоянии войны у людей, которые, будучи воодушевлены великими мифологическими образами, участвуют в борьбе.

Жорж Сорель

◆ После того, как ближе к концу века и тысячелетия (*Millenium* — по-ихнему, проклято-западному) любимую нашей троицей, а равно и двумя-тремя поколениями жителей Пролетарского района нашего славного оружейного города, стекляшку-кафе «Рыбное», что располагалось рядом с ДК Комбайнового завода, перепрофилировали в духе эпохи в баптистскую молельню, мы окончательно перебрались в закусочную «У сквера». Благо она находится в том же районе, даже ближе к остановке трамвая, которым мы с Николаем Андреянычем приезжали в условленное время «из леса», то есть из ракетного НПО «Меткость», где по-прежнему служили инженерами. Из своего поселка-выселка в районе областной больницы подъезжал бизнесмен Серега Зябликов, тож бывший наш коллега.

Поскольку объебизнес у Сереги был самого шкурного характера — рантьерский, то, в отличие от честных предпринимателей, которые целыми сутками крутятся-вертятся, сидят в ларьках, бегают с пистолетами на «стрелки», воруют, конвертируют валюту, бьют смертным боем конкурентов-азеров, с опасностью для жизни режут провода высоковольтных линий электропередачи (помните родное советское: «...ЛЭП-пятьсот не простая линия!») и так далее, он имел массу свободного времени. Вообще говоря,

он и из дома-то выходил только для нашей дружеской встречи и раз в месяц — получать дивиденды. Все остальное время он пил ординарный портвейн — скуп был, все боялся на коньяке разориться — и смотрел телевизор. Даже провел себе какой-то специальный кабель, по которому гнали чуть ли не 100 программ.

Поэтому после первых трех стопок он проводил с нами нечто вроде политинформации, исключительно негативной, матерной, в чем был совершенно прав: бытие определяет сознание, а компонент сознания — информация соответствует текущему состоянию бытия. Оно же у нас последние десять с лишком лет понятно какое...

♦ — Если вы люди еще не до конца зомбированные, — начал очередную информбеседу Серега, утерев губы после первой стопки во время очередной встречи в послерабочую пятницу «У сквера» (он никогда не закусывал), — то, конечно, обратили внимание: мы полностью отрезаны от информации о событиях в мире!

Мы с Андреянычем на миг задумались, прервав закуску, и дружно согласились. Действительно, так ведь и получается, хотя и говорят ныне по телеящику, что в советское, дескать, время весь наш 300-миллионный народ ничегошеньки не знал о событиях в мире, а вот сейчас — весь этот мир перед нами нараспашку... А ведь все наоборот; истинно о детях Антихриста еще церковь учила: выслушай и сделай (подумай) наоборот! А поскольку уже и последний дебил от демреформ не сомневается, что средства массовой информации суть порождение Антихриста, то все совпадает.

— ...Вот, допустим, — продолжал Серега, — раньше разбуди тебя посреди ночи и спроси: как дела в Польше? Кто президент Уругвая? Кто сейчас бастует в Англии?.. Даже могли ответить об особенностях конфронтации Сальвадора и Гондураса. А сейчас? — Да ничегошеньки никто не скажет. Все дело в фильтрации этой самой информации, точнее — какой фильтр используется. Есть фильтры пропускающие и есть фильтры заграждающие. Советский информационный фильтр был пропускающим: 99% информации пропускал, а лишь один процент отсекал, в основном, негатив. А нынешний суть заграждающий: 99 % полезной и нужной информации наглухо блокирует, зато по всем каналам, газетам и книжкам в мягких переплетах без конца гонят чернуху, порнуху, светско-политические сплетни и прочее, что в нормальном раскладе не должно мозг опять же нормального человека занимать более чем на один процент.

Как инженеры со стажем работы, принципы фильтрации мы хорошо знали, а по сути дела с Серегой согласились даже не на девяносто девять, а на сто...

— Возьмем Украину, Хохляндию тож, — конкретизировал свои дово-

ды Серега,— ведь, кажется, должны все знать, что там происходит. Хотя бы потому, что у каждого второго там родич проживает, а у каждого первого — друг или приятель по детству, учебе, работе там же живет. И что? Что мы сейчас знаем?

— Да, пожалуй, и ничего,— согласился, чуть подумав, Николай Андреянович, у которого все родственники жены проживали в Крыму и в Донбассе,— даже по личным каналам: в Крым так письма вовсе не доходят, звонить архидорого, в гости наведываться? — Жрать месяца два-три, а то и более, наверное, не нужно будет, чтобы съездить на свои трудовые...

— Вот и я говорю,— слегка поморщился на последние слова Серега; совесть в нем жила отчаянно. — А что по ящику про хохлов талдычат? Правильно, только то, что экономический рост у них ох..енный, выше всех в Эсенговии, а так же про успехи населения в изучении истинно самостийного, ридного украинского языка. Ну, про это мы сами знаем: на каждом перекрестке в любом нашем городе хохлушки копченым салом торгуют, а в Москве хохлы-нелегалы за копейки бандитам и прочим банкирам дворцы строят... это, конечно же, от огромного роста экономического. Вот бывший гигант советского ракетостроения, днепропетровский Южмаш перешел на выпуск алюминиевых тазов и тарелок: как-то по телеящику оплошность сделали, пропустили, сам Кучма, бывший его директор, признался.

— По-русски сказал?

— Нет, по-хохлацки, но понятно: дескать, *завид Пивденьмаш зумистом...* и так далее. Пивдень — это понятно всем: помните еще крымский портвейн масандровский, на этикетке покрупнее было написано «Портвейн южнобережный», а пониже мелкими: тот же портвейн, только пивденьбережный. А остальное и так понятно.

— Послушайте,— вступил в беседу Николай Андреянович, до сей поры занятый селедочкой с зеленым горошком,— а что это у них за сложности с изучением ридной мовы? Помните, в школе еще учили на украинском из Тараса Шевченко, ну-у, это где как помрет, так на Украине его похоронить. Чего же сложного для тех, кто по-русски говорит?

— А они не тот язык учат.

— Как так?

— Тот язык, которым писал Шевченко и на котором испокон веков по ту и по эту сторону Днепра разговаривали, кстати, очень схожий с нашим южнорусским говором, власти Украины своим не считают. Таковым же объявили искусственный «украинский» язык, изобретенный в конце прошлого века в Австро-Венгрии для западных украинцев: смесь немецких, польских, еврейских слов со славянской грамматикой — типа: *готель* — гостиница и так далее.

◆ После третьей стопки Серега завершал политинформацию. Как-то всплыл вопрос о забастовках. Теоретик классовой борьбы бизнесмен Зябликов полагал, давно отойдя от реальной жизни, что только забастовки и восстания могут хоть как-то улучшить нынешнее скотское положение людей. В пример он приводил страны классического капитала в историческом их развитии. Однако встретил неожиданное резкое возражение деликатнейшего Николая Андреяновича:

— Забастовки и всякие другие волнения, так сказать, масс приносят результаты только в нужном месте и в нужное время. Главное же условие успешности этих действий — стабильность, своего рода «правильность» государственного устройства, неважно — правого или неправого. Мы же сейчас находимся в ситуации, когда не действуют никакие законы, в том числе законы нормального капитализма, наиболее благоприятные для тех же забастовочных действий. Более того, нынешних наших выступлений МВФ, или кто там в действительности нами правит, ждет не дождется. Вот забастуй наше НПО — последних заказов лишится и развалится на радость врагам, у которых одна забота: свести научно-производственный потенциал к нулю.

А более серьезные выступления доведенного до порога биологического выживания народа? — Пример 93-го года дает однозначный ответ: не задумываясь, перестреляют, а на трупах будет этот самый, как его, с виолончелью который, плясать. А МВФ опять же возрадуется: выполняется его указ: свести население России к 30...50 миллионам рабов на обслуживание добычи и первичной обработки сырья, тех же нефти и газа.

— Постой, постой, Андреяныч, получается, что наиболее успешным для забастовочных выступлений является либо ситуация современных западных стран, либо... того же СССР времен развитого социализма? Это же абсурд, вспомни Новочеркасск!

— Новочеркасск — дело темное, это, скорее всего, провокация была, первый натиск наших глобальных врагов, первое выступление пятой колонны — следствие хрущевской оттепели. Как и пробный шар в Китае — студенческие волнения на площади Тяньаньмынь. Соответственной были и реакции властей: в Новочеркасске жестко ответили — и еще на четверть века государство сохранили, а в Китае еще жестче поступили — и теперь Поднебесная наше место сверхдержавы заняла.

— Так все это умозрительно получается? Я насчет забастовок в СССР. Фактов-то ведь нет.

— Есть. Я сам участник такой победной забастовки.

Мы с Серегой отставили только что наполненные по четвертому заходу стопки, опасливо поглядели на нашего коллегу, одинаковые мысли промелькнули у нас: чтобы заговориваться — так выпил Андреяныч мало,

да и не водилось это за ним, либо... не хотелось и думать о самом страшном. Хотя... неустроенность жизни последнего десятилетия и не такие организмы ломает.

— И-и... сколько же лет тебе тогда было, вообще — когда это было и где?

— Учился я тогда в пятом классе, а происходило все на Севере, где, как все вы хорошо помните, я и жил от рождения до окончания школы. Если есть желание послушать — расскажу.

♦ В тот морозный февральский день Николка, учившийся во втором полугодии в первую смену, входил в дежурную команду интерната. Собственно интернат — по типу платного пансиона — располагался в ста метрах от школы и делил двухэтажное здание с прямо-таки усадебно-помещечьей баллюстрадой со службами райисполкома. Впрочем, эти службы, имевшие отдельный вход, занимали только треть первого этажа. В остальном, довольно приемистом здании размещались до семи-восьми десятков постояльцев — детей маячников, на островках которых школ вовсе не было, и офицеров маленьких гарнизонов, распаханных по губам* Кольского залива — баз атомных подлодок навроде Четвертой точки**, где наличествовали только школы начальные.

Николка принадлежал к первому разряду, то есть уже пятый год жил в интернате, а среди своих сверстников-пятиклассников смело претендовал на старожительство.

По сложной разрядке дежурств, а их видов в сложном интернатном хозяйстве насчитывается достаточно, сегодня, в февральскую субботу, Николке досталось самое малоприятное, хотя по занимаемому времени и необременительное: идти ближе к вечеру в «циркульный» магазин за мешком хлеба — суточная пайка всего интерната.

После обеда, вызвавшего, уже в который раз, всеобщее неудовольствие — жидкий борщик, макароны с неизменной вареной селедкой, компот с размахренными сухогрушами, Николка сходил на второй этаж в свою спальню, забрал портфель и до четырех часов делал уроки в классной комнате, с вожделием посматривая на телевизор, только в прошлом году вошедший в их обиход. Телевизор включали ровно в семь вечера; собственно говоря, в это время и начинала работу телестудия в Мурманске; других тогда, кроме местных, телевещаний не было.

Не стоит и говорить, что уже в три часа за окнами стоял сумрак, а к

* Губа — небольшой залив, образованный ущельем двух береговых сопок.

** Впоследствии называлась Гаджиевым — в честь героя войны подводника Магомеда Гаджиева; в демократические времена, очевидно в связи с чеченскими войнами, переименован в Скалистый.

началу пятого часа — и вовсе темнота. Полярная ночь все же. Сейчас бы подняться в спальню и, отрянув правила внутреннего распорядка, а старшая воспитательница Ирина Евгеньевна с проверкой до ужина не ходит, — с часок подремать, еще на часок выйти на улицу, зайти в городскую библиотеку книжку поменять, потом с морозца поужинать и как раз успеть в классную — к началу фильма по телевизору; сегодня «Два капитана» повторяют... Однако и увы — труба зовет на дежурство. Хотя старшей сегодня Белла Нурьевна, крайне снисходительная к ребятам (и в школе, где она ведет историю в старших классах, отзывы о ней самые благоприятные), но хлебное дежурство не отменишь!

♦ В спальне надел свитер на рубашку, толстые, вязаные матерью носки под ботинки; с утра мела пурга, а пополудни проявился мороз под пятнадцать градусов — для здешних мест с постоянной стопроцентной влажностью (незамерзающее море!) и арктическими ветрами это каторжная погода.

В раздевалке, где сегодня дежурил его сосед по спальне, тож пятиклассник Витька, надел пальто и шапку, прошел через столовую на кухню, в подсобке взял с полки хорошо знакомый полосатый полотняный мешок, в который бы сам с головой мог поместиться и вышел через кухонный ход на улицу. Повара, занятые ужином, двое дежурных ребят на чистке картошки внимание на него не обратили: дело привычное, да и своих забот хватает. Попутно подумал: сейчас должен прийти из школы средний его брат Славка, учившийся во вторую смену, и привести младшего, первоклассника Сережку — у них в школе что-то навряд продленки было.

На улице мороз сразу ухватил за щеки. Вообще говоря, по правилам дежурств за двумя десятками буханок черного хлеба (белые булки выпекали на интернатской кухне) полагалось идти двум дежурным, но по неписаным же правилам, давно установившимися между ребятами, звать кого-либо в пару — проявлять слабосилие, малодушие и прочие немужские качества. Не в детсаду же живем!

Держа под левым локтем туго свернутый мешок, Николка, не выходя на главную улицу, дабы не встречаться-конфузиться с «городскими» одноклассниками, как раз сейчас спешащими с коньками через плечо навстречу, на верхний, что за школой, большой городской каток, спускался вниз, к пирсам, где находился опять же самый большой в городе циркульный магазин (циркульным назывался по причине полукруглости здания, как будто дугу очертили циркулем), зигзагами между домами, местами — по чуть протоптаным тропкам.

В циркульном, минуя двери соблазнительных отделов — гастронома с его замечательной колбасой, кондитерского с сумасшедшим обилием конфет, халвы, орехов в шоколаде, книжно-канцелярского с замечательными

ручками, карандашными наборами,— вошел в булочную, положил на торец прилавка мешок и деловито стал разворачивать. Привычная продавщица, оставив на время небольшую очередь, рассеянно кивнула пацану и начала выкладывать рядом с мешком буханки.

— Двадцать,— закончила она, сделала пометку в амбарной книге, развернутой на подсобной полочке, и вновь вернулась к очереди, из которой какая-то сердобольная заметила, что-де больно тяжел груз для парнишки.

— Из интерната,— ответила ей другая,— у них там не особо церемонятся; у меня старший тоже там два года маялся, пока мужа в Полярный не перевели...

Не дослушав интересного разговора, Николка ухватил мешок через плечо и вышел в дверь, участливо придерживаемую молодой женщиной. Уже выйдя из магазина, Николка с ужасом сообразил: рукавицы-то он еще в школе положил в портфель (в школьном гардеробе иногда по мелочи шалили, не то чтобы воровали, такого и в помине не было, а могли те же перчатки или рукавицы подальше забросить...), уходя за хлебом облопошился, забыл про них, шел в магазин, шикуя, руки в карманы пальто заложив, а теперь?

♦ А теперь к морозу внезапно, как здесь и бывает, присоединилась и нешуточная пурга-поземка, от которой пальцы вмиг заоченели, а ведь идти еще с тяжестью с четверть часа? Самое обидное, что спрямить, укоротить дорогу не представлялось возможным — прямого пути к интернату не существовало. А потом, двадцать кило впившихся углами в спину и бока буханок только в первые минуту-две казались приемлемым грузом для пятиклассника, вовсе не начинающего спортсмена-тяжелоатлета. Дорога все время в гору, зигзагами — довольно просто по разметенным дворам, но вовсе отвратно от двора к двору по уже заметаемым пургой-поземкой тропинкам.

Уже во втором дворе Николка сбросил облипший его мешок оземь, с минуту растирал ладони, потом поглубже запрятал их в карманы пальто, топчась — и ноги в ботинках пробирать начало,— дождался, пока ладони и пальцы стало ощутимо покалывать. С ненавистью посмотрел на полосатый мешок, расплзшийся своими буханками в метрового диаметра ядовитый гриб.

Собрав верхнюю часть мешка в жгут, повернулся к грузу боком, присел, извернулся и взвалил на спину. Буханки в широченном мешке снова рассыпались, облепили спину, бока, при ходьбе тыкались пребольно в поясницу. По мере ходьбы полотняный жгут скользил в обмерзающих руках, а буханки стучали своими углами уже чуть не под коленкой. Пот из-под ватинной шапки пролился струйкой на лоб, попал в глаза. С проклятьем

Николка выронил мешок из замерзших напрочь рук. А прошел-то только треть пути с четырьмя остановками. Что делать? Слезы полились из его глаз, а онемевшие ступни ног уже почти и не чувствовались. В нелепой полусогнутой позе ревел Николка, заметаемый снегом. Правой рукой он никак не мог нащупать край мешка...

— Мальчик! Ты куда идешь? А что в мешке? Это твой, но ведь такая тяжесть не для тебя,— Николка поднял полные слез глаза и увидел женщину, не молодую, но и не старую, которая шла ему навстречу, явно увидев мальчика и свернув со своего пути. А вышла она из подъезда, около которого остановился Николка.

— Из-из-из интерната,— всхлипнул Николка, утирая рукавом пальто слезы и пот с лица,— дежурный, хлеб несу.

— Я вот сейчас этот мешок вашей директриссе на голову надену, устроила колонию для малолетних,— решительно сказала женщина,— да ты без варежек?! Ну-ка, быстро одень мои,— она сняла и протянула мальчику вязанные пуховые рукавицы,— постой здесь минуту,— и она скоренько вернулась в подъезд, из которого только что вышла.

♦ Пух варежек немотно щекотал замерзшие руки, потом появились уколы. Слезы сдуло ветром, а из подъезда вышла давешняя женщина, за ней следом — молодой моряк, на ходу застегивая шинель с курсантскими погонами с якорями и уголками-нашивками на рукаве.

— Где, мам, твой замерзший? А, вот ты где! Ну, братец ты мой, и мешочек, по полной выкладке тебя в марш-бросок откомандировали. Показывай путь,— курсант вскинул мешок на плечи.

— Я и сама знаю, за нами иди,— женщина взяла правую руку Николки в свою, теплую,— пальцы щиплет? Хорошо, отогреваются.

Пока они гуськом — курсант замыкающим — дошли до интерната, причем женщина-спасительница пошла на парадный вход, она, успев поругать бессердечную директриссу («даром ей это не пройдет!»), рассказала о сыне, курсанте военно-морского училища, только-только прибывшем из Ленинграда на практику в Видяево и на два дня отпущенном к родителям. Рассказала и о младшем сыне, что в этом году оканчивает здешнюю школу и тоже собирается в военные моряки. «И у меня, и у мужа все моряки в роду были».

Войдя в интернат, курсант спросил у Николки куда снести мешок и прошел вместе с ним на кухню, невероятно удивив поварих и дежурных по картошке. Курсант шутиливо всем откозырял и пошел к выходу; проходя мимо открытой двери директорского кабинета, куда, как он заприметил, вошла его мать, заглянул: «Мам, я пошел».

Николка же, раздеваясь в гардеробе, что был напротив кабинета, слышал начало разговора на очень даже повышенных тонах:

— Я жена адмирала Гурьина!..

Но директорша, вышедшая из-за стола, прикрыла дверь. Николке же пришлось ждать, держа в руке пуховые рукавицы адмиральши. Вышедшая с кухни Ирина Евгеньевна, мигом все сообразившая, прошипела, проходя мимо: «Почему один пошел? Малохольный...»

Минут через пять адмиральша вышла, не очень вежливо пристукнув дверью, увидев Николку с протянутыми ей навстречу рукавицами, улыбнулась, ему даже показалось, что смахнула с ресниц слезинку.

— Не робей, Коля! Я с вашей дамой побеседовала. Ты вот что, подъезд наш запомнил? — Левая квартира на втором этаже. Будет плохо, грустно на душе — приходи, поговорим, чайку попьем. У меня торты отменные получаются.

Она взяла варенье в левую руку, а правую опустила в карман, достала горсть конфет с верблюдом на обертке и высыпала Николке в ладони. «И когда только успела захватить, ведь на минуту домой заходила», — размышлял Николка, поднимаясь на второй этаж.

В спальне, где перед ужином собрались почти все ее обитатели, Николка кратко рассказал о происшествии. Проявлять назойливую жалость здесь было не принято. Более всего заинтересовал факт прихода в интернат жены адмирала Гурьина, командира эскадры подводных лодок. По интернатским законоуложениям половину конфет Николка хотел отдать в пользу общества, но сосед его Витька, сменившийся с дежурства в гардеробе, как-то загадочно порекомендовал и самому конфеты не есть, а положить всю горсть в тумбочку.

— Не бойсь, не стибрят, — так же уверенно-загадочно добавил Витька.

Прозвенел звонок на ужин, поселенцы потянулись со второго, жилого этажа к лестнице. На входе в столовую дежурные по кухне, одетые в белые халаты, сдерживали напор малолеток и почтительно пропускали старшеклассников. Старшеклассницы входили в столовую с легким оттенком безразличия и усталости.

♦ Только сев за стол своей бригады, то есть спальни или группы, названия разные, но коллектив один, Николка слегка стал отходить от происшедшего. Как ни взбудоражен он был, но отметил нечто необычное в поведении интернатцев, что-то было не то. Во-первых, шумели только самые несмышлениши, в числе которых он видел и своих братьев. Во-вторых же, старшеклассники как-то задумчиво и изучающе смотрели в сторону кухонного окна раздачи. Вошла в белом халате директорша Изольда Фотьевна на процедуру пробы еды. Лицо ее было безмерно строгим, в пунцовых пятнах. Она-то явно не отошла от разговора с женой адмирала Гурьина. Угол стола, где сидел Николка, она обошла, как гнездо

змеи, по выраженной дуге окружности. На героя дня не взглянула, только правая ее щека чуть вздрогнула.

Завстоловой уже поставила на маленький «служебный» столик тарелку и стакан. Изольда Фотьевна, не присаживаясь на любезно подвинутый завстоловой стул, взяла вилку, ткнула ею в тарелку, что-то невидимое глазу поднесла к губам. Губ она не раскрывала. Ту же процедуру проделала со стаканом. «Очень вкусный сегодня ужин, калорийный, полезный для молодого организма», — произнесла она обычную фразу, произнесла громко, хорошо поставленным педагогическим голосом. После чего развернулась и ушла к себе, так же обогнув по дуге несчастного Николку.

Ребята постарше, уже все знавшие, усмехнулись и переглянулись, заметив маневр директорши. А Николка, хорошо видевший стол старшеклассников (столом здесь называли длинную столешницу на полтора десятка едоков — по флотскому образцу), почему-то вспомнил, что утром, выходя из интерната в школу, удивился услышанному обрывку разговора двух десятиклассников на темы, в обычной жизни их заведения не пользующиеся популярностью: «...А вот Владимир Ильич в «Текущих задачах» говорит, что сначала должны быть испробованы все меры дипломатии, а уж в крайнем случае идти на явные формы протеста».

Однако дневальные от столов двинулись к окошку раздачи, народ взял в руки вилки, потянулся к хлебу, доставленному сыном адмирала Гурьина.

♦ Единственным съедобным предметом этого ужина были свежеепеченные булочки, правда, без начинки, как то было раньше. Чай — светло-желтая теплая водица, а к жухлому картофельному пюре — «гвоздь» явствований последних месяцев: неизменная вареная соленая селедка темно-кирпичного цвета. Как-то на спор старшеклассников один из них, будучи дома на каникулах, привез роскошную двухтомную книгу — справочник по кулинарии. Две любознательные девятиклассницы за килограмм шоколадных конфет (вскладчину) добросовестно изучили оба шестисотстраничных тома и объявили: такого блюда, как вареная соленая селедка, не знает ни одна кухня мира, включая экзотические восточные. Поясним: речь идет не просто о селедке — рыбе, которую варят в подсоленной воде, а именно о селедке бочечного посола, которую варят. Один из остроумных десятиклассников предположил, что секрет этого блюда был сообщен во сне Изольде Фотьевне и завстоловой при контакте с марсианскими инопланетянами. С его легкой руки вареную селедку весь интернат стал называть *марселедкой*.

Еще дежурные расставляли тарелки, блюда с маргарином, с недавних пор заменившим масло, миски с булками и чайники с кружками, а по их столу от старосты спальни Левки Кондаурова, сына капитана первого ран-

га с Четвертой точки, по цепочке пошел приказ: рубать только марсоледку с картошкой, булки же взять с собой и весь хлеб со стола тоже собрать!

Жуя вязкую и безвкусную марсоледку с картофельным пюре на маргарине, Николка задавался вопросом, в последнее время занимавшем весь интернат: почему, за какие прегрешения стали так скверно кормить? О массовом голоде в стране им, ребятам, известно только из учебников и уроков истории. В том же циркульном и других магазинах города прилавки ломаются: на дворе благодатное начало 60-х годов, да еще учесть привилегированное снабжение в закрытом городе, военно-морской базе... Родители их исправно платят за пансион; вот Николкина мать все жалуется детям: девяносто новыми (только-только прошла реформа) за вас троих платим, половину нашей с отцом зарплаты, а вы все норовите как выходные, так домой тащиться!

Так в чем же дело? Ну, с марсоледкой дело и вовсе таинственное, но почему масло напрочь маргарином заменили? Ведь забегая вечером, после ужина на кухню хлебца попросить, пожевать на сон грядущий, Николка и вечно голодные его сверстники-младшеклассники с восторгом и часто наблюдали, как поварихи в личное, послерабочее время делают на сторонний заказ роскошные торты. Особенно восхищали Николку специальные трубочки, из которых искусницы, выдавливая крем, рисуют на тортах целые картины. Николка даже раз поинтересовался: из чего делается крем? Повариха охотно объяснила технологию изготовления, в основе которой значилось масло.

♦ Окончив сиротский ужин, держа в руках булочки и по несколько кусков хлеба, ребята потянулись по спальням, заодно каждый припоминал свои дневные грехи перед вечерней линейкой, после которой разрешался телевизор. Николка, понятно, имел за собой не только самый великий грех, но был виновником абсолютно неординарного прегрешения. А когда на человеке висит великий грех, очень великий, то виновник уже как бы заранее отдает себя в руки карающие и это приносит, как ни парадоксально, чувство освобождения. Такое чувство, например, испытывает преступник по пути в участок милиции с желанием чистосердечного раскаяния...

В спальне их у порога встречал Левка, молча отбирал булки и хлеб, который сносил на свою кровать. Собрав у всех, стал очищать от вещичек свою тумбочку. Народ заинтересованно обступил Левкину кровать. Упрямцев собранное в тумбочку, Левка велел (вот память!) Николке принести сюда же адмиральшины конфеты. После чего закрыл дверцу тумбочки, припасенной суровой ниткой и пластилином опечатал ее; в качестве печати использовал свой талисман: серебряный рублевик с портретом-барельефом императора Александра III.

Полюбовавшись на свою работу, Левка что-то вспомнил, вытащил из кармана своего форменного школьного пиджака, висевшего на спинке стула, небольшой сверток, в котором явно угадывался бутерброд с колбасой из школьного буфета, распечатал тумбочку, уложил туда бутерброд и вновь опечатал.

— Вожди не должны иметь привилегий перед массами в годы борьбы,— прокомментировал Левка свои действия явно с чужих слов.

Николка мигом припомнил подслушанный утром разговор старшеклассников. Поскольку в спальне начал подниматься ропот в отношении экспроприированных теплых еще булок, Левка что-то припомнил и сказал в том смысле, что народ безусловно должен быть в курсе событий, но до поры до времени тактику должны знать только вожди.

— Никому ни слова! Все скажу перед отбоем.

После чего, велев остаться Николке и Витьке, порекомендовал настоятельно всем выйти из спальни.

— Вот что, орлы, вы, как дежурные, на линейку ходить не обязаны. А тебе, Коль, это и вовсе ни к чему. Сам понимаешь. Поэтому ты дуй на кухню — помогать ребятам, а они в курсе дела. А с тобой, Витек, мы здесь займемся.

Левка прижал палец к губам, после чего откинул край матраца своей кровати и вытащил моток крепкой бечевки, явно казенного происхождения. Снедаемый любопытством, Николка пошел на кухню, постаравшись незаметно проскользнуть на первом этаже мимо полуоткрытой двери директорского кабинета.

♦ Дежурные по кухне семиклассники Борька и Саня из другой группы-спальни стаскивали со столов остатки посуды и носили ее на мойку.

— Меня Левка послал к вам.

— Давай, помогай, а потом со мной пойдем мусор и очистки на помойку относить,— скомандовал старший здесь Саня-спортсмен,— Борь! А ты дуй сейчас мусор в мешки и ведра собирать.

Саня подмигнул Борьке, тот скорчил понимающую гримасу. Любопытство уже бешено колотилось в груди, оттого работа ладилась. Вернувшийся из подсобки Борька взялся поварихам помогать с посудой, а Николка с Саней пошли на его место.

— Этот не трожь,— показал Саня на небольшой мешок, от которого остро пахло селедочным рассолом,— бери ведра, а я мусорку,— Саня подхватил длинными руками мешок с разным кухонным сором и первым вышел из подсобки на улицу.

Выбросив мусор и всякие очистки в недалекую помойку, вернулись в подсобку. Саня бережно, чтобы не испачкаться, поднял мокрый мешок и

вынес его на улицу, позвав Николку за собой.

— Что здесь?

— Селедка. Стратегический запас,— отшутился Саня, остановился на торце здания прямо под окном спальни, в форточке которой виднелась голова узнаваемого Левки.

— Трави! — крикнул Саня.

Сверху поползла давешняя Левкина бечевка. Скоро конец ее поймал Саня и обвязал верх мешка, который держал на вытянутых руках Николка.

— Вира помалу! — опять скомандовал Саня.

Мешок пополз вверх.

— Стой, стой,— крикнул Саня, когда мешок поднялся на метр с небольшим,— закрепляй,— а мне пояснил, что если выше, то могут с улицы заметить, а так забором интернатским закрывает.

Вернувшись на кухню, dokonчили с поварами уборку. Саня, как старший, получил кулек с булочками, который понес в спальню, Николке же с Борькой порекомендовал идти в классную; линейка заканчивается, а телевизор уже включен тамошним дежурным.

♦ Начался фильм, классная заполнилась ребятами, с топотом и гомом примчавшихся с линейки. Однотруппник и одноклассник Мишка втиснулся на первый ряд между Николкой и Борькой, занявших ранее привилегированные места, и передал последние новости с линейки. Новости того стоили, чтобы отвлечься на несколько минут от увлекательного фильма. Во-первых, имя Николки конкретно не упоминалось, видно директорша еще не продумала последствия визита адмиральши, поэтому она косвенно сказала про «некоторых недобросовестных воспитанников, которые сами нарушают дисциплинарные установления, а потом лицемерно и публично позорят наш дружный коллектив».

Это само по себе заинтересовало «воспитанников дружного коллектива» и осталось бы предметом разговоров на целую неделю, если бы не инцидент в конце линейки, произведший эффект взорвавшейся (хоть и самодельной, но —) бомбы. Уже Изольда Фотьевна, пропесочив ребят за менее тяжкие прегрешения, подобрев голосом, собиралась отпустить всех с миром, сделав ряд назидательных советов и увещаний, как вошедший в коридор левой, женской половины жилого этажа, где по традиции всегда проводились линейки, дежурный семиклассник Саня-спортсмен попросил слова.

Понятно, что подобное хамство, не простительное даже для матерых десятиклассников, прощалось только двум-трем постоянцам, в том числе и Сане — гордости интерната, чемпиону области по плаванию среди юниоров, к тому же не балбесу, кое состояние ума обычно пристало юным

спортсменам, равно как и более старших возрастов, а круглому отличнику, победителю всевозможных школьных физических и математических олимпиад.

Очевидно, полагая, что Саня-спортсмен хочет сделать какое-то полезное предложение по части развития спорта в интернатском коллективе, Изольда Фотьевна мило улыбнулась и указала Сане на место рядом с собой и старшей воспитательницей.

— Товарищи! — рубанул с ходу Санек, — я буду говорить от вашего коллективного имени, даже если в ваших рядах и имеются штрейкбрехеры...

При последнем слове Изольда Фотьевна, ранее преподававшая в школе немецкий язык, удивленно подняла правую бровь и переглянулась с Ириной Евгеньевной. Обоим стало несколько неудобно. Саня, набрав в могучие легкие пловца (шесть с половиной тысяч кубиков по спирометру) воздуха, продолжал, поначалу даже чуть успокоив начальницу:

— ...Я уже не говорю о том, что руководство интерната свалило всю спортивную работу на школу (Саня говорил явно заученный текст, хотя и владел речью неплохо), но что происходит в последний месяц-два с едой? Почему нас травят одной марсоледкой? Куда делось масло, изюм из булочек, котлеты, наконец, обычные? От имени и по поручению большинства воспитанников интерната я предупреждаю, что наше терпение закончилось. Мы уже дважды говорили о качестве еды на заседаниях старостата в вашем присутствии. Вы нас успокаивали, обещали, а позавчера на кухню, в склад опять завезли четыре бочки селедки!? Наше право — ответить протестом.

Раскрасневшийся Саня встал в строй на свое обычное место. Секунд десять и воздух не шелохнулся, Изольда Фотьевна хватала этот безмолвный воздух, щеки ее пошли злыми пятнами.

— Какой ужас! И это комсомолец говорит, — всплеснула руками Ирина Евгеньевна.

♦ Второго сильнейшего удара за один день, причем с интервалом в каких-то два часа, Изольда Фотьевна не выдержала. Она взялась руками за (абсолютно здоровое) сердце, болезненно сморщилась. На выручку пришла Ирина Евгеньевна, которая упрекнула выдающегося спортсмена и отличника учебы в том, что «он пошел на поводу некоторых отъявленных бездельников, которые сами спрятались за его спиной». Далее она сообщила, что представители санэпидемстанции и диетологи городской больницы два раза в месяц берут пробы, которые «являются высококалорийными и соответствуют диетическим нормам детско-юношеского питания». «Даже усиленного питания», — заверила старшая воспитательница.

Далее она же объявила об окончании линейки и, поддерживая под локоток патронессу, повела ее к лестнице. Обе были скорбны, задумчивы, строги ликом.

Что-то готовилось в интернате из ряда вон выходящее. Но что? — Этого Николка никак не мог объединить и сделать вывод. Через голову Мишки он обратился было к Борьке, но тот опять-таки рекомендовал дожидаться до отбоя.

И по публике было видно, что далеко не «Два капитана» с его захватывающим сюжетом сейчас волнуют юные умы. Большинство по-двое и по-трое перешептывались. Иногда в комнату заглядывали старосты спален и кое-кто из старшекласников, телевизор в этот вечер игнорировавшие, жестами вызывали и уводили с собой неких избранных из числа зрителей. И Саня-спортсмен заглянул и увел Борьку. Левка Кондауров также отсутствовал, но и в комнату не заглядывал.

Уже через полчаса действия фильма Николке откровенно захотелось есть; единственное диетическое свойство марсоледки — она быстро переваривалась. Очевидно, это полезное свойство имела в виду Ирина Евгеньевна, ссылаясь на авторитетное мнение санитарно-эпидемиологов и диетологов.

♦ Заглянула в классную и Белла Нурьевна, воспитательница и одновременно заместитель директора, воспитательница — наиболее любимая в интернате, в основном за то, что воспитывала ненавязчиво. Казалось, что думает она постоянно о своем, только иногда с доброй усмешкой что-нибудь скажет, но именно в форме совета, безотносительной рекомендации. А потом оказывалось, что юный человек запоминал этот совет на всю жизнь, что нимало ему помогало в житейских передрыгах и событиях.

И только появившись в интернате (и в школе), она охотно рассказывала ребятам свою биографию, что-де выросла в Осетии, училась в Ленинграде, где и вышла замуж за тогда еще курсанта; теперь вот за ним, за офицером-подводником ездит, благо, учительская профессия везде позволяет не бездельничать.

У нее сегодня по графику было вечерне-ночное дежурство.

Белла Нурьевна из всех видов воспитательной деятельности предпочитала беседы-рассказы, собрав вокруг себя в спальне, куда она заходила, пять-десять ребятшек. На все у нее было свое, но ненавязчивое, мнение; тож касалось и ее специальности — истории. Много чего любопытного, о чем на уроках лишь вскользь упоминали, слышали от нее ребята, особенно — в вечерние ее дежурства. Даже про телевизор забывали. Вот и сейчас она поманила за собой целую группу малышей, в том числе и младшего брата Николки.

...Как-то Николка осенью этого года зашел в спальню старшекласни-

ков — послала, кто под руку попался, дежурная воспитательница: покликать к ней старосту-десятиклассника. Передав просьбу, Николка остался в уютной комнате посидеть-послушать приемник, который здесь имелся — высочайшая привилегия. Несколько ребят как раз сидели около этого приемника, прислушиваясь к чему-то сквозь потрескивания и механические завывания. Ребята покосились на незванного гостя, но снова повернулись к приемнику. Николка тоже вслушался.

Когда по радио заиграла короткая и энергичная музыка и диктор объявил, что-де вы слушаете радиостанцию «дойче велле», Николка сообразил, что ребята слушают зарубежные «голоса»; дома их же иногда слушал отец, обычно когда выпьет по поводу праздника или чего иного. Чаще всего эти «голоса» передавали выступления неких диссидентов. Что это такое — отец конкретно объяснить затруднялся; выходило что-то навроде предателей, сбежавших из СССР на Запад.

Действительно, голоса у этих диссидентов были захлебывающимися, торопящимися, как будто их вот-вот прогонят... Николка, подсев поближе, прислушался:

«...Кавказцы дали России за двести лет совместного проживания только шашлык и лезгинку: очень вредное для желудка полусырое мясо и примитивный танец, исполняемый русскими только в большом подпитии. Взяли же у России они все — нет, не культуру, она им не нужна, а по части потребления и наживы.

Теперь вам захотелось свободы? — Так берите свои шашлыки и лезгинку и плывите обратно в мрак истории на утлом кораблике первобытно понимаемого Корана!»

Николка почувствовал неприязнь к говорящему, а вспомнив «кружковые» беседы Беллы Нурьевны, обиделся за нее, не стал дальше слушать, встал с края кровати и тихо вышел. Увлеченные старшеклассники этого не заметили.

♦ После окончания «Двух капитанов», когда по телевизору начались занудливые репортажи и малопонятные для детского ума беседы дикторов с директорами рыбзаводов и горно-обогатительных комбинатов, многие покинули классную комнату. Николка, все же опасаясь встретиться лицом к лицу с директоршей, досидел почти до отбоя, когда Белла Нурьевна заглянула в комнату и нараспев сказала: «Время порчи зрения заканчивается. Через десять минут дежурному по классной телевизор выключить, всех удалит, комнату запереть и ключ мне донести».

Поднимаясь на второй этаж и шагая далее до своей спальни, Николка отметил совсем не свойственное для полусонного часа оживление: по коридору переходили из комнаты в комнату озабоченные старшеклассники,

инные шли на женскую половину, но и делегаты оттуда шептались в коридоре и на лестнице с теми же старшеклассниками. Из чужой спальни выскочил озабоченный Левка Кондауров, увидел Николку и жестом направил к себе, в спальню, дверь в которую находилась в торце коридора.

Все обитатели «пятиклассной», как ее называли по преобладанию этой золотой школьной прослойки, комнаты были в сборе, ждали информационного сообщения с наименьшим напряжением, чем 22-го июня сорок первого года страна ждала у репродукторов обещанного Левитаном на двенадцать часов дня выступления руководства. Однако Левка, пересчитав на правах старосты комнаты паству и порекомендовав никому не отлучаться (показал как бы невзначай кулак), снова исчез.

Ребятня гомонила, все чаще поглядывая на опечатанную тумбочку своего руководителя.

За пятнадцать минут до отбоя Левка появился, держа в руке довольно-таки увесистый сверток: круглый и длинный, который он спешно сунул себе под подушку. Затем он подал обычную команду: раздеться и ложиться в кровати, простыни и края одеял у головы отвернуть, руки поверх одеяла! — В интернате культивировалась военно-морская дисциплина, а отец Николки, матерый моряк, участник войны Андреян Матвеевич пояснил на вопрос сына, прибывшего еще в первый год интернатской жизни домой на выходной, что по морскому уставу матрос спит укрытый одеялом только по пояс, по уставному: «торс открыт», ни в коем случае не в тельняшке (слово «майка» на флоте незнакомо), а руки, желательно по швам, поверх одеяла. Причем — независимо от времени года и температуры в казарме или в кубрике — в зависимости от сухопутного или морского пребывания, мирного или военного времени.

Сам Левка, по интернатскому уже уставу, ждал проверяющих одетым, но с разобранной для сна кроватью. Вскоре зашли и проверяющие: Белла Нурьевна с председателем старостата, недавно избранной на эту высокую должность девятиклассницей Женей Митрюшиной.

Далеко от двери не проходя, они окинули взглядами комнату: все было в порядке, форточка открыта, даже снежинки разыгравшейся к ночи пурги залетают, ребята морщатся на свет лампочек, лежа по стойке «смирно». Ничего предосудительного. Белла Нурьевна о чем-то догадывалась, поэтому, уходя, пожелала доброй ночи замысловато:

— Спокойной ночи, ребята! Пусть вам снится нечто оптимистическое, желательно с историческими примерами, а утро вы встретите готовыми к подвигам в науке познания! Лева, разоблачайся и гаси свет. Все, мы пошли.

◆ Далее началось еще более интересное. Выждав минут пять, время достаточное для ухода проверяющих из мужской половины, Левка распе-

чатал свою тумбочку, достал и выложил на крышку куски хлеба по числу обитателей, затем вынул из-под подушки давешний сверток, развернул его: аппетитнейший запах чудесной «докторской» наполнил комнату, разносимый резким пуржистым ветром из форточки, вызвал восхищенный ропот.

— Тише, бойцы, тише. Это помощь старших товарищей,— вполголоса пояснил Левка, вынутым из кармана перочинным ножом отрезая тонкие кружки. На эти ломтики он извел треть батона; оставшееся завернул в прежнюю газету, положил в тумбочку, опечатал. Затем самолично, рискуя падением своего высокого авторитета, разнес бутерброды по кроватям.

Когда чавканье и шевеление губами и носами закончилось, Левка, не раздеваясь, выключил свет и в темноте произнес историческую речь, явно передавая чужие, выверенные слова:

— Соученики и одноклассники! Государство не жалеет сил и средств для воспитания детей, ибо мы — будущее страны. Для этого мы учимся, в основном — добросовестно, некоторые — хорошо и отлично. Наши родители на маяках и на атомных подводных лодках, на заводах и крейсерах крепят мощь Северного флота, охраняющего рубежи СССР. В отличие от школьников, живущих в городе, мы вынуждены жить в отдалении от своих семей в интернате. И родителям это тяжело, а каково нам — это вы по себе знаете лучше меня, особенно те, кто здесь находится с первого класса — дети маячников. Потом, мы не нахлебники государства, ибо родители платят за нас и платят прилично.

Но почему в последнее время нас стали кормить как в тюрьме? Почему вместо котлет нам дают марсоледку, вместо масла — маргарин, не говорю уже об исчезнувшем изюме из булочек.

Мы неоднократно обсуждали на старостате нетерпимость такого положения дел; это делалось в присутствии директора. Ее ответ один: временные трудности, а вообще — это вас дома избаловали, еда калорийная и почти что диетическая. Больше терпеть нельзя, а то и вовсе на воду и сухари посадят.

Поэтому образовавшийся стачечный комитет, пофамильный состав которого законспирирован, принял решение о начале с нуля времени наступающих суток бессрочной голодовки-забастовки...

Восторженный ропот прокатился в темноте, просвечиваемой отсветом уличного фонаря, качающиеся лучи которого едва-едва пробивались через белесую метель. На улице завывало, что-то монотонно стучало, ветер из форточки охлаждал плечи и руки. Левка же продолжал, а точнее — финишировал:

— ...Еще Владимир Ильич Ленин не раз говорил, что доведенные до отчаяния массы имеют право на стихийный и организованный протест.

Наш протест направлен исключительно против руководства интерната, которое вместо заботы о нас проявляет преступную наклонность личного обогащения за счет наших юных желудков.

Надеюсь, что все вы сознательные школьники и примите самое активное участие в забастовке-голодовке. Ни одна нога не должна переступить порог столовой, пока руководство не призовут к ответственности, а качество пищи изменится к лучшему! Слабым духом и желудком говорю: у нас есть стратегический запас пищи. День-два мы на ней продержимся, а дальше пойдет помощь от наших школьных товарищей; на это счет уже есть определенная договоренность...

Красиво говорил Левка, даже когда сбивался с официального заученного текста на обычный школьный язык с интернатским акцентом (впоследствии, во взрослой жизни, Левка окончил военно-морское политическое училище, академию, дослужился до высокой должности заместителя начальника политуправления Тихоокеанского флота, далее стал военно-морским атташе в одной, очень не дружественной исторически нам стране).

Эффектно закончил он свою патетическую речь:

— А если найдутся среди вас так называемые штрейкбрехеры, то пусть помнят: это не одобрят наши старшие товарищи, среди которых имеются спортсмены-разрядники по боксу и вольной борьбе!

Приказав обдумать услышанное, полностью согласиться с его доводами, а затем уснуть, Левка вышел из комнаты:

— На повешение *Комитета*,— внушительно пояснил он,— не ждите, будем работать всю ночь!

♦ Понятно, что с уходом вождя возбуждение в спальне достигло апогея: беседы велись между соседями по койкам, кой-кто, топоча пятками по холодному полу, прибежал к своему другу-приятелю и присаживался на край постели. Только к полуночи взволнованными телами и юными душами стал овладевать сон. И к взрослому самодостаточному человеку часто во сне возвращаются события дня минувшего, но только богато окрашенные ситуационным опытом всей предшествующей жизни. А что говорить о несмышленишках? — Их сны есть самая неистовая фантазия на тему прошедшего дня.

Снились нашему Николке, да еще на худо напитанный марсоледкой и добродетельным бутербродом с тонким кружочком колбасы желудком, суровое и хмурое воскресное утро наступающего дня первых суток бессрочной голодовки. Она же — забастовка, первая в СССР со времен волнений тульских оружейников в первые годы после гражданской войны.

Часам к десяти утра чуть рассвело, рассеянные солнечные лучи едва-едва пробивались сквозь свинцовость арктических туч. Забастовщики,

поднятые вожжами еще в середине ночи, едва-едва успели построить баррикады из слежалого за зиму снега и залечь на боевых позициях: собственно за баррикадными валами, в вынесенных вперед разведывательных окопчиках, соединенных друг с другом зигзагообразными ходовыми траншеями. Вожди-десятиклассники в кожаных куртках с красными повязками дежурных по интернату слаженно руководили достройкой первой и второй линии обороны.

Младшие группы, в том числе и оба брательника Николки, были поставлены в резерв обороны, то есть боевыми тройками, вооруженные рогатками со свинцовыми пулями, бутылочками с чернилами, расставлены в стратегических точках первого и второго этажа. В настезь отворенном бывшем директорском кабинете начальник штаба обороны Саня-спортсмен сильным голосом пловца-рекордиста кричал каким-то неведомым инстанциям: «Предупреждаем, что при штурме мы не остановимся ни перед чем, взорвем кухонные котлы, откроем кингстоны, тьфу-тьфу, настезь откроем окна и разморозим отопление. Вся ответственность ляжет на вас. В плен мы брать не будем — понятно? Что? — Нас в плен брать нельзя, мы — несовершеннолетние, то есть под защитой закона. Все, я закончил; переговоры только с руководителями в должности, соответствующей во флоте адмиральской!»

По траншеям ходов первой линии обороны ходили санитары из девочек-восемиклассниц под попечительством перешедшей на сторону восставших Беллы Нурьевны в бурке и папахе; они разносили в термосах горячий кофе и бутерброды с толстыми ломтями копченой грудинки и колбасы: забастовщики вскрыли кладовые кухни, где нашли утаенные от воспитанников запасы высококалорийной пищи на целый год осады.

Бойцы второй линии, то есть баррикадники, поочередно бегали на пункт питания, в столовую, куда из кухни с бушевавшими огнями всех печей добровольцы-поварихи из старшеклассниц подавали противни с шипящими свиными котлетами, откупоренные баночки с рыбными консервами в масле, в том числе сардины и шпроты. Гарниром к котлетам и антрекотам с эскалопами служила хрустящая картошка фри. Наскоро закусив и запив все настоящим индийским чаем кирпичной крепости, напихав в карманы пальто, перепоясанных флотскими ремнями с бляхами, горсти изюма без косточек, повеселевшие бойцы уходили на свои посты, в последний может бой...

Николка стоял за своим сектором баррикады, всматриваясь до рези в глазах на противоположный участок центральной городской улицы имени героя-подводника Фисановича. Проходивший за его спиной Левка Кондауров тихо сказал однокласснику: «Кажется, не миновать. Стоим до последнего. Жалко ребят,— все полягут при первом штурме. Будет и у нас в

новом интернате своя почетная группа вечных в строю...» — Левка отвернулся и смахнул слезу.

◆ К одиннадцати часам почти рассвело — с поправкой на февраль поллярной ночи. Началась раздача оружия, принесенного из школы из запасов военрука Рема Давыдыча, отставного бравого старшины, героя Сталинграда, сочувствовавшего восставшим. Николке достался ПППШ и два запасных диска с патронами. Левка — командир их участка обороны — нацепил на флотский ремень поверх тужурки пистолет Стечкина в огромной деревянной кобуре-прикладе. Мишке досталась трехлинейка с примкнутым штыком; он с обидой и завистью смотрел на автомат друга Николки.

Наступила пауза, а потом зловеще загрели барабаны, запели наступление азиатские флейты и карнаи, из-за окрестных домов выдвинулись и построились в боевые порядки штурмующие, одетые по-махновски воспитательницы и какие-то толстые мужики, под кулацкими полушубками которых виднелись воротники белых рубашек и галстуки в полоску. «На штурм!» — прокричала предводительница — Изольда Фотьевна в папахе с косой полосой белого цвета, в длинной, до пят кавалерийской шинели, в сапогах со шпорами, размахивая маузером.

И началось! Николка расстреливал короткими очередями последний диск, а штурмующие уже накатывались на валы баррикады, сметались огнем обороняющихся, откатывались, снова лезли. Уже не выдержал дружественного нейтралитета Рем Давыдыч, выиграло ретивое, ударил в тыл махновцам со стороны школы, закидал лимонками. В панике бежал противник. На четверть часа все затихло. Парламентеры с санитарями с обеих сторон собирали раненых. Наши своих относили в медпункт интерната, где, не покладая рук, трудилась бригада Беллы Нурьевны.

Но вот снова заревели карнаи, засвистали дудки, тяжело ухнули барабаны воинственный марш лейб-гвардии Кексгольмского полка.

Противник шел в психическую атаку: воспитательницы в бальных платьях, толсторожие мужики — в строгих черных костюмах с цветастыми галстуками, в шляпах, с сигарами в зубах.

Выскочил из интерната Саня-спортсмен и прокричал: «Держитесь, ребята! Братишки из подплава* на подмогу идут!»

Действительно, со стороны гавани бежали цепями матросы без бушлатов, в бескозырках, с карабинами на изготовку. Ими предводительствовал сам адмирал Гурьин, а его сын-курсант бойко катил за собой пулемет-максим.

— Атас! — заорали сотни матросских глоток. Черная волна с тре-

* Военная часть подводного плавания (воен.).

угольниками тельняшек с ходу врзалась между баррикадой и психическими шеренгами. Застрочил пулемет адмиральского сына. Рем Давыдых глушил смятых галстучников противотанковыми с тыла. К полудню все было закончено. Адмирал Гурьин откозырял Сане-спортсмену, шутливо потрепал по вихрам Николку (шапку в горячке боя куда-то унесло вражеской пулей). Матросы с пением «Варяга» помаршировали к пирсам. На бывшем поле боя стояли сбитые в кучи нападавшие. Председатель старостата Женя Митрюшина с группой чекистов-семиклассников сортировала жалких и оборванных пленных, отбирали наиболее «отличившихся» для образцово-показательного наказания. Поодаль Саня-спортсмен, Мишка и Витька делали какие-то страшные приготовления у разведенного костра...

С ужасом Николка обнаружил, что в эту «образцовую» группку пленных почему-то попала и Белла Нурьевна. А Женя Митрюшина вполголоса сказала схибно: «Мне нужна золотая медаль, а она выше четверки по истории не ставит. Вот пусть попрыгает, может поумнеет!»

Но не сбылась кровожадная мечта сомнительной отличницы и выскочки. Налетел отряд нукеров и кунаков на конях, в бурках, с саблями, отбил Нурьевну и умчал ее в сторону Эльбруса. И лезгинку с шашлыком, почему-то материализовавшимися в маленькие кованые с серебром сундучки, с собой увезли... Загрустил Николка... и проснулся.

♦ В день воскресный подъем — чистая фикция, главное, не опоздать к завтраку, а у кого с вечера заначена в тумбочке булочка от ужина, конфета от давешней покупки, кусок черствого хлеба с солью, наконец, тот просыпается по велению желудка, который, независимо от мозга, сам помнит обо всем съестном...

Николка открыл глаза. В самую последнюю перед явью секунду желудок, помятуя о горсти адмиральшиних конфет, дал ложную команду. Обладатель его заметно огорчился, вспомнив о вчерашней реквизиции. До света было неимоверно далеко, но раннеутренний сумрак позволял различать два ряда коек с отдельно стоящей в торце, под окном, кроватью бугра Левки. Николка услышал явно за окном лай и дрызг бродячих собак, коих в любом городе, будь он на Северном полюсе, но если есть порт — предостаточно. Удивился: в такой ранний, самый холодный в сутках час собаки должны дрыхнуть, забравшись в снежные норы, открытые сараи, подъезды, свернувшись в пушистые клубки. А тут драку устроили?

Все же штабистов под утро отпустили чуток подремать перед *делом*, иначе почему бы Левке спать нераздетым, разметавшись наискосок кровати. Укорив желудок, Николка еще с полчаса подремал, обдумывая удивительный сон. С разных сторон до него доносились всхлипы, вскрики во сне: не один он держал оборону!

Однако не у одного Николки желудок дал ложную команду: заворочались ребята, зачихали досадливо, потом то один, то другой зашлепали к двери, в туалет. Открытая дверь осветила комнату электрическим светом из коридора; он-то и остальных разбудил. Шлепанье, глухое бормотанье со сна, чья-то с грохотом упавшая с тумбочки книга разбудили и Левку. С минуту он непонимающе смотрел в потолок, к чему-то прислушиваясь, а потом его как ветром сдуло. С криком «ах, гады!» он метнулся к окну, вскочил на широкий подоконник, дернул бечевку, мертвой хваткой с тремя узлами привязанную к оконной ручке и... быстро вытащил ее, оборванную неровно, размахренную на конце.

— Собаки! Собаки нашу селедку сожрали,— загомонили голодные ребята,— надо было выше поднимать!

— Тише вы, советчики,— обескуражено пробормотал Левка,— ладно, всякое серьезное дело начинается с осечки,— видно, отцово повторил он.

Спрыгнув с подоконника, отошедший Левка гаркнул подъем. Оставшиеся в постелях ребята поднялись, остался лежащим только Николкин сосед Витька. Он безмятежно спал, на губах играла улыбка.

— Эй, ты, подъем,— тронул Николка его плечо, глухо укутанное в край одеяла, натянутого до подбородка.

— Чего, чего,— забормотал тот, поворачиваясь на бок.

— Чего, чего, вставай, подъем!

Но и самого Николку приспичило, оставив будить соседа, он помчался в туалет.

Через десять минут, одевшись, ребята расселись по своим койкам. Витьку поднял сам Левка, поднял радикально, сдернув на пол одеяло вместе с мертвой хваткой вцепившимся в него соней. Вслед за хозяином упала на пол и подушка. Левка, забыв опустить из рук край одеяла, остолбенело смотрел на место, где до того лежала подушка. Другие заинтересовались, подходили и молча останавливались. На смятой простыне лежала бесформенная, смятая, во многих местах надорванная целлофановая колбасная обертка. Ужас обуял всех.

— Держите его,— Левка указал на чертыхающегося Витьку, запутавшегося в простыне и одеяле,— а сам метнулся к своей тумбочке, присел на корточки, внимательно разглядывая отпечаток на пластине. Подошел и Николка: невооруженным взглядом было видно, что вместо бородатого облика императора на двух отпечатках виднелся герб Союза Советских Социалистических Республик с пятикопеечной монеты.

Левка, открыл тумбочку, пересчитал единственно оставшиеся там, сморщившиеся за ночь булочки: их число было на три штуки меньше, нежели обитателей комнаты. Левка присвистнул, заложил руки в карманы, подошел к Витьке, который уже понуро сидел на кровати, бормоча, что он-

де здесь не причем и вообще он — лунатик, за свои действия не отвечает (в новейшее время Витька стал преуспевающим банкиром). Вождь восставших задумчиво постоял перед ренегатом, преодолевая естественное желание вынуть из кармана правую руку... но осознание своей роли помешало этому:

— Разбираться с тобой будем в более свободное время, а сейчас — ноги в руки, хоть на папёрть иди, хоть к приятелям из городских, но к двенадцати ноль-ноль доставишь и положишь вот в эту тумбочку целиковый батон «докторской», две банки сгущенного молока и четыре буханки белого. Вон отсюда!

Продолжая бормотать, застегивая рубаху, Витька попятился к двери, повернулся к ней и с криком вылетел в коридор, грохнувшись на пол уже с другой стороны порога. Это здоровяк Мишка, обувший военного положения ради не ботинки, а подкованные сапоги, которые он одевал, когда отправлялся на выходные-каникулы домой (в «свою дыру», — говорил он), влепил ренегату здоровенного, от души пендаля.

Левка одобрительно кивнув, все же велел посмотреть вслед: может сознание потерял? Сознания Витька не потерял, его у него не было, а скорее всего поднялся и с ревом умчался по коридору.

♦ Фантики от адмиральшиних конфет, завернутые в газету, пропитанные духом колбасы, нашли под Витькиным матрасом.

— Видно, хотел раньше всех встать и выбросить в туалетную мусорку, да проспал, обожравшись, — прокомментировал Мишка. Левка меж тем, наморщив лоб, держа в руке раскрытый перочинный ножик, размышлял: как нарезать булки, чтобы компенсировать две недостающие для всех едоков, исключая вора.

В это время Васек, тихий паренек, только три дня как поселившийся в интернате, вообще только что приехавший с родителями на Север из Вологодской области по вербовке на работу в подсобное хозяйство при заводе в Ура-губе, еще дичившийся, скудно рассказывающий о себе, подошел к Левке, волоча большую матерчатую сумку, с которой вкупе и чемоданом прибыл на проживание.

— Вот, у меня тут из дома есть... — он положил сумку на койку, вынул из нее и передал Левке что-то тяжелое, завернутое в марлю, а потом поднял сумку и высыпал на тумбочку, прямо на сиротские булочки гору домашнего печения пирогов разных фасонов. Левка меж тем развернул мокроватую марлю и восторженно закричал: он явно с трудом удерживал одной рукой двухкилограммовый ломоть соленого сала с трехсантиметровой мясной прослойкой.

— Очевидно, хорошие и плохие люди встречаются одинаково часто,

но их характеры проявляются в общей беде,— процитировал староста явно какого-то классика русской литературы. Память у Левки была абсолютной; учителя прочили его в великие математики...

— А сало-то копченое! — раздался всеобщий крик восторга, когда замечательный запах добежал до ноздрей голодных ребят.

Левка меж тем бережно вручил шматок стоявшему рядом подчиненному, сложил давешние булки и пироги в тумбочку, накрыл крышку ее догадливо подсунутой кем-то газетой, на которую установил копченое сало, прикинул и ловко разрезал на три части: два куса побольше и один поменьше. Последний вручил Мишке, приказав отнести в спальню Саниспортсмена, а из оставшихся равнобедренных один завернул в прежнюю марлю и положил опять-таки в тумбочку. Кто-то непреднамеренно посоветовал, дабы не испортилось, повесить на бечевке за окно...

— Над кем смеешься... — кротко и грустно парировал командир,— Николка! Вскипяти-ка чайку, в шкафу трехлитровую банку возьми,— а сам занялся нарезанием тонких, но размерам с ладонь, кусков сала.

Все знали пристрастие Николки к чаепитию, которое он перенял от своего отца; Николка же по вечерам, после телевизора, рискуя схлопотать всевозможные кары от начальства интерната, наливал воду в поллитровую стеклянную банку, устанавливал в воде нагреватель из двух полосок тонкой нержавеющей — подарок старшего брата Анатолия, плававшего матросом на лесовозе после окончания восьми классов, в этом же интернате ранее жившего. В закипевшую воду он сыпал щепотку чая. Чай ему с запахом давала из дома мать. Сложнее было с сахаром, но Васек, потупившись и слегка покраснев, порывлся в своем чемодане и принес кулечек карамели «подушечки». «Ты достоин, парень, лучшей доли»,— к чему-то сказал Левка, с чувством пожимая герою дня руку.

К тому времени, как чай заварился и настоялся (кружки у каждого уважающего себя имелись личные), Левка начал оделять страждущих. Николке, кроме двух ломтей сала на зачерствевшей булочке, достались два пирожка: один сладкий, явно с домашним вареньем, другой — солидный, с палтусом, жир которого насквозь пропитал хлебную оболочку.

...Закончив еду и чаепитие, ребята ощутили себя в раю. Кто-то заметил, что теперь до полудня можно смело голодать. Левка отбыл в штаб на утреннюю планерку со словами: «Если хоть один организм выйдет, кроме как в туалет, из комнаты до моего прихода... вы меня знаете!»

♦ Отдаленно прозвенел звонок на завтрак. Ребята, уже устроившиеся на кроватях, кто с книжкой, а кто, сидя попарно, ведущие тихо беседу, не прореагировали: после копченого сала с мясной прослойкой и пирожков с палтусом, с вареньем, с засахаренной моршкой было даже неприятно

представить себе этот завтрак: манная каша с блестящими маргаринами, каменноподобная рисовая запеканка и нечто бурое, с какими-то пенками, называемое кофе или какао; название менялось со дня на день, но содержимое оставалось одним и тем же.

Минут через десять в дверь вошла завхозиха, в первую половину воскресенья исполнявшая должность старшей в интернате. Она уже обошла несколько комнат, поэтому, зло осмотрев неуставно лежащих, читающих, разговаривающих, только буркнула: «Почему на завтрак не идете?».

Услышав в ответ молчание, хлопнула дверью. Ее сменил Левка, сообщивший, что завхозиха опрометью помчалась в директорский кабинет звонить *Самой*.

— Впрочем, можете идти по своим делам,— разрешил он, добавив, что у входа в столовую на всякий случай дежурит Саня-спортсмен...

Николка никуда не пошел, с интересом читал взятую накануне в школьной библиотеке книгу о греческих мифах, потом задремал, ощущая приятное тепло в благодарном желудке.

Часов в одиннадцать из легкого и приятного сна его грубо вырвал голос Изольды Фотьевны:

— Ребятки! Пошалили и хватит. В столовой вас ждет новый завтрак. Сегодня воскресенье, поэтому и завтрак праздничный: пирожные бисквитные, яичница с колбасой, котлеты с жареной картошечкой, компот из персиков консервированных... Все вас ждет, стынет. Кстати, Лева, я сейчас на пяток минут, перед завтраком, собираю старостат — у меня в кабинете. Прошу не опаздывать.

Директорша, сопровождаемая мило улыбающейся Ириной Евгеньевной, и сама очаровательно улыбнувшись, изящно развернулась и вышла. В комнате поднялся ропот. Левка, сурово оглядев комнату, вздохнул и ушел на старостат, многозначительно заметив: «Голод — дело поправимое, а потерянная совесть не возвращается». Николка с тоской подумал, что и Саню-спортсмена с дежурства его снимут на старостат...

— Пойду на улицу погуляю,— сказал Сашка Пономарев.

— Подожди, я с тобой прошвырнусь,— присоединился его дружок Ленка.

Еще двое, посвистывая, вышли в коридор. Оставшиеся прилегли, в желудке заняло: сало и пирожки тоже перевариваются быстро. Николка прикрыл глаза; ему сразу представилась шипящая яичница с колбасой, исходящая паром настоящая мясная котлета, окруженная золотистой поджаренной картошкой. Он досадливо помотал головой. Кто-то повернул ручку громкоговорителя: тихая, умиротворяющая музыка. Николка снова прикрыл глаза, но тут в комнату вбежали Славка с Сережкой — сытые и довольные, причем Сережка доедал, держа в руке, самое настоящее пирожное с кремом.

— Мы в кино в «Север» пойдем на утренник, дай двадцать копеек.

Николка с ненавистью посмотрел на штрейкбрехеров:

— И много вас таких... с пирожными?

— Да полстоловой,— сказал Славка, понявший подтекст вопроса,— нашу группу Ирина Евгеньевна пришла и увела завтракать. А знаешь, на обед обещают жареную курицу и сардины — банку на двоих!

— Пошли вон,— Николка достал из кармана пиджака, висевшего на стуле, двугривенник и зло швырнул в протянутую руку Славки,— чтобы сегодня мне на глаза не попадались!

Сережка с непониманием смотрел на старшего, хлопал ресницами: может заболел брательник?

♦ Вошел, посвистывая, Левка.

— Где остальные? А-а, яичницу шамают,— равнодушно заметил он.— Вот что, малышня не в счет, их насилу Евгеньевна увела в столовую. С остальными, их десяток с небольшим, постепенно разберемся. Изольда чуть не на колени стала, умоляла, теперь меню на следующий день будут с дежурным старостой согласовывать. Но и нам надо сегодня выдержать, чтобы запомнили. Николка? Заваривай чай, пообедаем салом и пирогами, а вечером пойдем в гости к моему однокласснику, мы с ним еще вчера все обговорили. Нас сколько? — Шесть, как раз, как договорились. Его отец с моим батей вместе учились и служили, тоже кап-один*. Сам он сейчас в походе, мать дружка нам наготовит, а сама к семи вечера пойдет в ДОФ** на концерт ленинградских артистов. У других тоже запасы кой-какие есть. А завтра с утра посмотрим.

До вечера занимались кто чем, преимущественно вне интерната. Со штрейкбрехерами не общались, не разговаривали. Николка и вовсе ушел в Старый Полярный в районную библиотеку, где в тепле сидел в читальном зале, читал свежие журналы «Румыния», «Социалистическая Чехословакия», «Польша», где были целые страницы по филателии, рассматривал репродукции марок, мечтая, когда родители купят ему в Мурманске обещанный кляссер, а то все свои марки приходится хранить в конверте.

В семь вечера отправились компанией к приятелю Левки, где три часа обжирались — стол для голодающих ломился — и смотрели телевизор. Николка не отрывался от роскошной коллекции марок хозяина. «Отец еще начал собирать»,— пояснил Левкин дружок. Все по очереди примеряли кортик его отца, рассматривали награды, среди которых имелся и орден Ленина. Вечер удался на славу, даже слишком: домашнее тепло и уют на-

* Капитан первого ранга.

** Дом офицеров флота.

помнили ребятам — сколько-то им ждать, когда они вот так же соберут друзей-приятелей у себя в доме?

Витька весь день скрывался непонятно где, явился только к отбою — без колбасы, сгущенки и булок белого хлеба. Держал себя нагло, полагая голодовку-забастовку провалившейся. Он и нажаловаться успел Изольде и Ирине. В полночь ему устроили темную, в кровь разбили нос. Больше всего старались штрейкбрехеры. В последующие дни были биты и они. По очереди.

♦ Забастовка наделала шума в невеликом городе, да еще адмиральша Гурьина подняла на ноги возглавляемый ею в этот год офицерский женсовет. Скоро куда-то вовсе исчезла Изольда Фотьевна и только Николка, зайдя месяц спустя в любимую им районную библиотеку, узрел страдальцу. Та сделала вид, что не узнает его и ушла в служебную комнату с табличкой «Районный бибколлектор».

Новая директорша была молода и обходительна. Ирина Евгеньевна ушла старшей пионервожатой в школу. До конца учебного года поварахи ходили злые; завтраки, обеды и ужины источали самые изысканные ароматы, исчезли из обихода слова марсоледка и маргарин. Во время плановых медосмотров в школьном медпункте врачиха отмечала тенденции к превышению веса у интернатских. А в продуктовые магазины ребятам стыдно стало и входить. Непременно какая-нибудь одноклассница, заведя интернатского, дергала мать за рукав, что-то шептала ей на ухо, после чего добродетельная мать ее бросалась к тому же Николке, Мишке или Ваське, насильно запихивая ему в карман кулек только что купленных шоколадных конфет или коробочку орехов в шоколаде.

Адмирал Гурьин организовал для интернатских экскурсии на боевой эсминец и на историческую лодку Лунина, из которой героический моряк торпедировал линкор «Тирпиц».

...Только три оставшихся месяца учебного года наслаждался Николка такой жизнью, ибо следующее 1-ое сентября он встречал уже «городским»: родители его, наскучившись разлукой с детьми и трудной маячной жизнью, перебрались в Полярный, а именно в ту его часть, которая называлась Старым Полярным, так что Николке теперь было удобно заходить в районную библиотеку. Кляссер ему купили летом в Мурманске, когда всей большой семьей ездили в отпуск в родную деревню отца в Калужской области.

♦ Николай Андреевич закончил воспоминания. Слеза-другая душевного умиления капнула в пустую стопку. Потрясенный рассказом Серега Зябликов спохватился и разлил по пятой и последней.

— Наше дело правое, победа будет за нами,— поднял он сталинский тост.

Выпили, закусили (Сергеа нюхнул кусочек булки).

— Ты счастливый человек, Николай,— похлопал его по плечу Серега,— в детстве получил великолепный урок классовой борьбы. Ты говоришь, что в современных условиях он не пригодится? — Ты, Брут, не прав. Все дело в том, что нажитый жизненный опыт не исчезает бесследно, но, чудесным образом перевоплощаясь в нас самих, помимо нашей воли и разума правильно подсказывает выбор жизненных ситуаций...

Мне показалось, что Серега вольно цитирует какого-то классика западной экзистенциальной мысли. А может и сам сформулировал? — После рассказа Николая Андреяновича я уже ничему не удивлялся.



ДЕСАНТ С ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ

*С годами мы дряхлеем, но
Порой одна мыслишка греет,
Что настоящее вино
Тем лучше, чем оно старше.*

Георгий Мельник

♦ В это лето, жаркое по погоде и событиям, по уже установившейся личной традиции я опять-таки побывал в полюбившемся курорте-санатории на Оке. Правда, на этот раз Николай Андреевич мне компанию не составил: жена уговорила его провести отпуск в пансионате — тоже на Оке, но ближе к Серпухову. Ей «обломилась» дармовая семейная путевка; все-таки что-то от социализма в стране осталось... А Серега Зябликов еще весной все грозился: вот август месяц нагрянет — и я с вами на ваш знаменитый курорт, мне как раз сто тысяч обломилось ни за что, ни про что, дивиденды, мать их ити!

Однако весной у нас в области случились громкие, со скандальным отзвуком на всю страну и даже зарубеж, губернаторские выборы: мафия рвалась к власти, даже две мафии — столичная и местная. Все мы очень переживали за нашего предбывшего народного губернатора, знаменитого члена ГКЧП, переволновались, а Серега, как Фидель Кастро, дал зарок: пока *Наши* не победит — в рот ни капли не возьму! Правда, Фидель-то не по части рома клятву давал, а в отношении бороды. Это мы еще со школьных лет помним. Но все одно — каждый великий пример воодушевляет и подвигает на подражание.

Не помогли мафиози выписанные из столицы высокооплачиваемые певцы и танцоры, килотонны подметных листовок, газет и плакатов... по-

бедил *Наиш*, хоть и во втором туре, но — очень убедительно. И здесь Серега отошел от подражания Фиделю Кастро Рус: тот до сих пор в замечательной своей бороде, которую поклялся сбрить только после мирового поражения империализма, в первую очередь американского, а Серега не стал дожидаться реставрации социализма в России — СССР, а на радостях впал в запой. Когда же трудяга вышел из радостного этого дела, то на телефонный мой вопрос о компатриотской поездке сам-трое на курорт зло ответил, что-де двадцать штук всего осталось на хлеб и квас, а новых дивидендов пока и не предвидится. Профсоюзной путевки, как нам с Николаем Андреяновичем, Сереге не полагалось, ибо он был тружеником частнособственнического капитала. Хоть здесь социальная справедливость возобладала!

♦ Вернулся с курорта я в самом конце августа, продолжавшего баловать народ устойчивой жаркой погодой. В то же время возвратился из семейного пансионата и Николай Андреянович. Как школьники или студенты, вышли мы на работу третьего сентября (первое-второе пришлось на выходные), обменялись впечатлениями. Андреяныч с завистью выслушал мои референции о вольной санаторной жизни, а также приветы от общих знакомых, не первый год ездивших в уютное место в бархатный сезон. Свой же пансионат он обругал: бестолковщина, кормежка хреновая, на пляже сплошь пьянь из многочисленных соседних турбаз и домов отдыха, до полуночи, а то и до утра вопли отовсюду несутся, музыка эта идиотская: «...Он ушел к другой, рыжей и хромой, меня мама не пустила домой», а главное — жена рядом. Не то, чтобы «налево» Николай Андреянович стремился, спокоен он был насчет этого дела, а нет той новизны впечатлений: как взглянешь на добродушное лицо супруги, так и почувствуешь, что только пришел с работы, поужинал, в ящик этот телевизионный хмуро посмотрел — и в сон-марево потянуло. Явно отдых не удался сей год у приятеля. Клятвенно подтвердил, что на следующее лето только со мной и только в родные, санаторные то бишь, пенаты!

Впрочем, толком не успели обменяться летними впечатлениями и обсудить последние политические новости. Меня на следующий же день на две недели на полигон близ Сталинграда-Волгограда выпихнули, а Николай Андреянович, так и не поправивший здоровье в злосчастном пансионате, в случившиеся в начале сентября три непогожих дня подхватил грипп, а может и простое ОРЗ, неделю с лишком провел на больничном. Так и получилось, что первая после лета встреча втроем, все в той же скверовской забегаловке, состоялась в начале второй половины сентября, когда у всех теледикторов на устах (народ просто молчал и не задумывался) была бомбежка небоскребов на Манхэттене и Пентагона самолетами-камикадзе. Даже про выборы Лукашенко президентом напрочь забыли!

Эк, их допекло. Кстати, только в тот знаменательный сентябрьский день я окончательно понял (хотя давно догадывался), что США — истинная и единственная духовная родина наших телевизионщиков: дело недавнее, сами помните, как прерывающимся от искреннего волнения голосами, смахивая с щек слезы боли, едва-едва не рыдая, они комментировали лихие атаки боингов на стозажные башни *WTC* и Пентагон. А в воследовавшие дни, суровые голосами, прямо-таки призывали российских обывателей (так они обычно называют народ, внимающий «электронной Хазарии»), вооружившись охотничьими двухстволками и винтовками образца понятно какого года, впереди планеты всей, американцев тож, с криком «ура» мчаться лупить талибов, иранцев с иракцами впридачу... Вот бы нам так преданно любить свою Россию, как они любят свою Америку!

Так, то плачущие, то суровеющие голосами и лицами теледикторы запугали добрый наш народ, что тот пристыженно замолчал, про бомбежки Ирака и Белграда забыл. Даже думские коммунисты, папа *Зю* тож, смущаясь своего антипатриотизма, на первом осеннем заседании встали и почтили молчанием американскую трагедию под хихиканье невставших Митрофанушки с сотоварищи по ЛДПР.

♦ Как всегда встретились в конце рабочего дня. Серега приехал не на такси, а на простонародном автобусе, даже не на «лайне»: поиздержался ведь человек! Но вид имел гордый и загадочный; нас заинтриговал, но до поры-времени о причинах своей гордости не сообщал.

Для начала поговорили о летних впечатлениях, затем перешли к Америке. Серега, как человек свободной профессии, имеющий 24 часа свободного времени в сутки, читавший газеты всех политических окрасок — от «Завтра» до местной желтой прессы, а недавно поставивший у себя дома кабельное телевидение с сотней программ, как дважды два четыре, разъяснил, что америкосы все это сами устроили, преследуя шесть задач: убрать Буша, разорвать все ограничительные договоры по вооружению, загрузить под завязку военно-промышленный комплекс, разогнать ненужную им ООН, установить мировую гегемонию, а главное — в краткосрочной перспективе — избежать полного экономического краха Соединенных Штатов в ближайшие недели, учитывая, что к осени этого года обеспеченность «вонючего доллара» дошла до 4—6 %, а 85 % валового продукта страны дают финансовые спекуляции. А по части технического исполнения терактов Серега и вовсе поднял на смех официальные версии: его отец, бодрый 80-летний военный пенсионер, в Отечественную войну был летчиком-штурмовиком, а потом двадцать лет работал в НИИ ВВС, так что все байки для ихних и наших лохов почтенный воин разложил и раздолбал по полочкам.

Мы с Сергеей полностью согласились, так что выпитую сгоряча вторую стопку за Усаму бен Ладена признали не совсем заслуженной.

В контексте начальной темы разговора вспомнили... о Нострадамусе. Почему, дескать, про сегодняшнюю Россию этот средневековый алхимик-еврей все предвидел, а вот истинную землю обетованную своей нации в наши дни — США — вовсе и не предупредил в своих писаниях.

— Все они прекрасно предвидели, — заявил Николай Андреевич, — только не популяризуют. Кстати, Серега, ты вот от коллектива удалился, поэтому последней компьютерной шутки не знаешь ведь? А у нас народ уже который день балдеет. Словом, набираешь в *Windows* текст: *Q33NY*, затем раскрываешь в компе таблицу шрифтов и «мышью» ставишь стрелочку напротив шрифта *Windings* — и, как ты думаешь, что на экране появляется?

— А хрен его знает, я к этим «компютерам» очень отрицательно отношусь.

— А зря. На экране появляется последовательность картинок: два высоких дома, самолет, череп и кости и родная до боли звезда Давида! Но ведь самое существенное: шифр *Q33NY* — это номер рейса самолета, который врезал по *WTC*!? А еще более поразительное, что это все выдает комп, ни с какой сетью не связанный.*

— То есть, хочешь сказать, что это уже было заложено во всех компьютерах, даже десятилетней давности выпуска?

— В том-то и дело. Вероятность?.. Сам прикинь, в *Windows*'е сотни шрифтов и сотни символов навряд ли черепа с костями и звезды Давида, так что вероятность случайного выпадения, как говорят астрономы, исчезающе мала.

— Дела-а-а... А ведь масоны все основывают на символике, она у них имеет сакральный смысл. Взять то же знаменитое число 666...

— Слышали, слышали, в каждом штрих-коде, хоть на пачке сигарет, хоть на презервативе, обязательно наличествует три разделительных штриха, каждый суть «шестерка». Ведь могли выбрать нуль, единицу, девятку наконец. А ведь для всего мира и ныне, и присно выбрали именно 666! На шутку не похоже.

Кстати, сейчас на нас бухгалтерия наслала, требует писать каждого заявление на присвоение личного ИНН**. А поскольку в самом ближайшем радостном будущем все личные номера на документах станут проставлять в виде штрихов-кодов, то автоматически каждый из нас получит клеймо в виде числа дьявола. Церковь это, православная конечно, просекла. В Гре-

* Сказанное — не фантазия автора: весь мир в октябре 2001 года, имеющий дело с компьютерами, в этом убедился. Если у вас под рукой компьютер, можете проверить сами...

** Идентификационный номер налогоплательщика.

ции, Грузии, у хохлов самостийных церковники даже у своих правителей добились, что ИНН присваивается только по желанию, а наши попы, наоборот, чуть ли не проклинают свою паству за нежелание брать этот номер. А уже закон принят, никуда не денешься!

— Это ты, Андреяныч, зря говоришь. Вся суть в том, что ты продаешь душу дьяволу только в случае, еслипишешьзавление, а если тебе его какой-то клерк в налоговой инспекции присвоит, то и хрен с ним: я, мол, не я, и кобыла не моя.

— Так как, Серега, быть?

— А никак. В законе по этой части есть положение, что заявление можно и не писать, а ИНН обязаны по предъявлению паспорта выдать. Это они, суки, самодеятельность разводят. Кстати, по заявлению грамоту роскошную дают, с голограммой, прямо как грамота бывшего Верховного Совета! И денег не берут, хотя везде за каждую сортирную бумажку норовят содрать. Так что стойте на своем.

— У тебя-то этот номер есть, ты ведь, как-никак, объебизнесмен!

— А как же, но мне его еще в прошлом году выписали, грамот, правда, тогда еще не давали. Просили заяву написать, когда декларацию заполнял, послал их куда подальше, а номер они пропечатали. А ну их всех на хрен! Вот у америкосов сейчас хлопот побольше...

— Людей вот только жалко,— раздался знакомый голос за нашими спинами. Ба! Оказывается за соседним столиком расположился наш давний коллега Юрий Васильевич Панфилов, живший неподалеку, на Лентяевке, потому иногда и сталкивавшийся с нами в точках бывшего общепита. Юрий Васильевич был постарше нас лет на десять, то есть близок к пенсионному возрасту, однако выглядел бодро и свежо. Когда мы с Серегой и Андреянычем пришли работать в «Меткость», Панфилов уже руководил сектором в отделении двигателей, защитил кандидатскую диссертацию, что тогда было редкостью в неакадемических НИИ-КБ. Словом, мощно и весело строил свою трудовую карьеру. Однако, как то часто случалось в «Меткости», Юрий Васильевич несколько самоуверился, а таких в добром и патриархальном нашем ВПК в советское время не поощряли. Словом, пару раз Панфилов позволил себе покрасоваться на совещаниях у Самого Гусакова и — навсегда покинул уютное заведение на лесной окраине города... Разделил же он судьбу всех таких самоуверенных — стал доцентом в «пентагоне», то есть в корпусе политехнического института, закрытом от посторонних, где готовили кадры молодых специалистов для той же «Меткости» и всего могучего ВПК СССР.

♦ Мы дружески приветствовали опального доцента, подошедшего к нашему столику с соткой водки в граненом стакане и бутербродиком с

тонюсеньким ломтиком красной рыбки, однако, с поправкой на его старшинство в возрасте и реноме ученого педагога, тон беседы сменили на более умеренный. Тем не менее в два счета убедили Юрия Васильевича в том, что америкосы еще большего пинка в зад заслуживают. Доцент, откусав половину своей сотки, легко согласился. Да и фразу о жалости к невинным клеркам в Нью-Йорке и Вашингтоне, округ Колумбия, он произнес неосознанно, видно, вчера на сон грядущий пересмотрел телевизор, вовремя не выключил...

Понятно, что разговор (Николай Андреевич сходил к стойке и на свой кошт взял еще четыре сотки и бутербродов с кумжей) перешел на педагогические темы, причем Юрий Васильевич подавился красной рыбкой, откашлялся и, забыв о педагогическом пиетете, легким матом понес все тех же америкосов, которые через пятую колонну совершенно разрушили нашу вышнюю школу.

— ...Студентов вот все жалеют, бедные, мол, учатся без устали голодные и холодные! А ни хрена подобного! Может на бандитско-воровских специальностях, юридических там, экономических всяких недоумочных, и пыхтят-учатся, чтобы деньги потом на взятках или торговле зашибать, а вот наши военно-технические факультеты сейчас не в почете у тинейджерной молодежи, конкурса нет, ребята поступают от армии отсидеться, благо шесть лет обучение, а девок родители к нам пихают, чтобы хоть чем-то занять, от панели на эти же шесть лет отвлечь, а там повзрослеют, подурнеют, в проститутки уже не сгодятся, конкуренции со старшими школьницами не потянут... да и с младшими тоже.

А университет? Эх, ребятки, вы еще не осознали: как вам повезло, что учились в советское время, в лучшей в мире педагогической традиции средней и высшей школы! Все испоганили, студенты наглы и бездеятельны, а насчет их бедности — я ни разу в руках пейджера этого идиотского не держал, тем более — мобильного, а у студюозусов у каждого второго пейджер, а у первого — мобильник. Все при деле: на базарах-толкучках, подручными у воров, сами суетятся, перекупают по мелочи. Вот только на учебу времени не остается, трояки выклянчивают, а кто понаглее, так и четвертаки-пятерки. Чуть не напрямую угрожают в случае чего.

Да и сам университет к ничтожеству полному свели — все по директивам свыше, да и местные подхалюзники легки на подхвате, особенно на «престижных» факультетах, экономиках там всяких абстрактных. Был все-союзно известным своими военно-техническими факультетами политехнический институт, а теперь бордель какой-то: филологи-лингвисты всякие, химики никому теперь не нужные, медики доморощенные... А верх идиотизма и подхалимажа — под всяких местных воротил кафедр с о специальностями «чисто университетскими» открывают как грибы!

— Да-да, наслышаны, винно-водочное производство — чем не университетская специальность?! С зарплатой тоже хреново, как и везде?

— Да-а... — махнул рукой доцент и начал, пригорюнившись, жаловаться на нищенскую жизнь.

Здесь пришла моя очередь делать алаверды с сотками и бутербродами; пока ходил до стойки, Юрий Васильевич совсем расстроился: из-за нищенского жалования и жена как на пустое место смотрит, дети презирают...

— А взятки надо брать, — сказал грубый Серега.

— А кто их мне даст? Это на всяких торгово-воровских и прочих престижных факультетах и специальностях от души дают и от души берут. А у нас и так недоборы ежегодные, стараемся через силу тащить до диплома, а то, на радость мировому империализму и их московским ставленникам в Минобразовании, и вовсе наш «пентагон» прихлопнут. Здание освободится, мигом там соорудят какой-нибудь факультет менеджмента в мелком бизнесе, братков будут готовить.

Нет, у нас взятки — это нечто виртуальное. Да и совесть бывшая советская не позволила бы брать, опять же опасное это дело. Сами прекрасно знаете: у нас сейчас в юстиции-милиции закон малых чисел действует.

— Это как? Почему малых? Ведь гребут миллионами и миллиардами!

— Вот-вот, правильно, миллиардами. Отсюда и закон: кто украл, допустим, свыше миллиона, тот в начальники, в Думу народным избранныком — по телеящику бизнесу народ учит. Кому по хилости ума удалось урвать десяток, даже сотню тысяченок — тот просто уважаемый человек районно-околоточного масштаба. Речь, понятно, идет не о рублях... И так далее вниз, по нисходящей — уважения все меньше, но на свободу личную никакие красные фуражки не покусятся. А по всей строгости сажать начинают только при суммах от рубля до сотни-другой. Вот это и есть закон малых чисел, друзья мои.

Кстати, это уже не секрет, весь город знает — про доцента Ромашкина, не с нашего факультета... слышали?

Мы дружно заверили, что где нам услышать: целыми днями в лесу, на отшибе. Жены тоже к вузовской среде никакого отношения не имеют. Словом, упростили Юрия Васильевича рассказать эту занимательную, поучительную и мучительно грустную историю (По окончании рассказа Серега разменял последнюю, как он сказал, пятачку и взял по сотке коньяка и бутерброды с красной икрой).

♦ Потомственный профессиональный доцент Ромашкин за годы величественных реформ впал в полное ничтожество и тоскливо дожидался пенсионного возраста: нет, конечно, на заслуженный отдых он и в мыслях не собирался уходить, но хоть какая-то прибавка в скудный семейный

бюджет! Как невероятный в своей фантастической экзотике сон порой вспоминал он далекие советские годы, когда получал он полновесных 320 советских рублей, да еще под сотню-полторы в раскладе на месяц выходило от руководства дипломниками, участия в хозрасчетных НИРах и пр.

Летний долгий отпуск всей семьей проводили сначала в Крыму, затем в местном доме отдыха на Оке, где Ромашкин предавался любимой усадле: рыбачил. Супруга красовалась зимой в дубленке и итальянских сапожках. Дочка-отличница усложняла школьную программу музыкальными и художественно-изобразительными занятиями. От ощущения сытости и полноты жизни Ромашкин, не довольствуясь млажавой красавицей-женой, а скорее всего для поднятия собственного реноме, регулярно заводил пикантные интрижки с аспирантками и незамужними коллегами-преподавательницами. Выстраивалась в планах и мыслях грядущая докторская диссертация...

Увы, все рухнуло. Чтобы как-то прокормить семью с сокращенной супругой-инженершей и незамужней дочерью с нищенской учительской зарплатой, весь световой день Ромашкин отработывал полторы ставки своей скучной металлорежущей специальности, подрабатывал, хорошо понимая физику, репетиторством с недоумками. Тем же была занята и суббота. Отпуск проводил на дальней и неудобной в части дороги даче — запасал на зиму картошку, яблоки и всякую растительно-съедобную мутанть.

Как всякий потомственный профессиональный преподаватель, Ромашкин имел и нелепое увлечение, вернее говоря, в прежние времена увлечение даже снисходительно-уважаемое, но в современной ситуации именно нелепое, а для семьи прямо-таки зловредное. Словом, наш доцент был подвержен филателистической мании. Коллекционером марок был его покойный отец-доцент, а также дедушка — дореволюционный приват-доцент Харьковского университета. К сожалению, дедушкина коллекция погибла в огнях гражданской войны, отец свою продал, чтобы купить кооператив младшему брату Ромашкина (сам Ромашкин унаследовал отцову квартиру), но и сам наш герой собрал в лучшие годы десяток классеров отменных знаков почтовой оплаты.

Возможно, бедствующий доцент и продал бы свою замечательную коллекцию в самые голодные годы начала 90-х годов и после пресловутого дефолта, но ведь и другие коллекционеры, даже богатые евреи адвокатского и врачебного сословия, потеряли в эти времена часа волка и Чубайса с Гайдаром-внуком платежеспособность. Но вот ведь неумная натура истинного собирателя! — Как только самую малость полегчало в девяносто седьмом и на рубеже веков и тысячелетий, когда цены на нефть в мире скакнули вверх, то хоть десяток-другой в год, но приобретал доцент марочки-уладу, заначивая самую мелочь от доброй супруги и заскучавшей в

безмужестве дочурки. Стыдился, корил себя за душевную безнравственность, но — заначивал.

Вот эти самые марки и привели его к грехопадению: больно захотелось ему присовокупить к своей нехилой коллекции раритетную серию советских марок 30-х годов, посвященную героям стратосферного подвига и выдающимся полярникам. Самое существенное, что знаменитую в филателистическом мире серию продавал едва не за четверть действительной цены его старший товарищ по увлечению, отставной доцент же Похлебкин, которому пришлось давать высшее образование своему запоздалому младшему внуку — любимцу всей семьи в трех поколениях. А задумали дать ему образование юридическое, самое дорогое в городе. По этой трагической причине и распродал семидесятирехлетний Похлебкин свою коллекцию — одну из наиболее престижных в городе.

Торговля шла вяло, ибо старинные филателисты так и не окрепли в финансовом отношении, а воры, бандюганы и прочие предприниматели, свято исповедуя первый том Марксова «Капитала», занимались первичным накоплением и до изящных искусств и коллекционных увлечений еще не дошли, а если и коллекционировали, то боевое стрелковое оружие. Именно поэтому Похлебкин не требовал настоящей цены, а Ромашкину, как давнему коллеге по увлечению обещал подождать с «полярной» серией, пока тот наберет искомую сумму: триста рубликов.

Прошло полгода, а марочная заначка, хранящаяся в толстом томе «Металлорежущего инструмента», достигла только половины нужной суммы. А тут и старина Похлебкин огорошил: при городском клубе банкиров «Ганимед» (с определенным сексуальным уклоном) образуется секция нумизматов и филателистов, уже оттуда люди интересовались: у кого в городе серьезные коллекции на продажу сохранились.

И здесь наш доцент согрешил. Ранее неподкупный и принципиально строгий со студюзусами, он и помыслить не мог, что станет взяточником, тем более, что у всего города на памяти еще свежа была история с заведующим кафедрой, профессором Спасским, который попался на взятке и покончил счеты со своей жизнью. Правда, при весьма сомнительных обстоятельствах.

Но — не зря многие ученые по части психологии и психиатрии полагают, что самодовлеющее коллекционирование есть разновидность скрытого душевного недуга. Решившись, наметнул на зачете хаму и полному бездельнику, третьекурснику Самшитову, а на экзамене вынул из его зачетки две сотенные бумажки. Далее весь окружающий мир исказился, как в треснувшем зеркале: набежали в растворившуюся дверь люди в штатском и в форменном, фотографировали доцента и зачетку Самшитова, снимали отпечатки пальцев, что-то спрашивали...

Откуда же малоопытному Ромашкину было знать, что старшему брату Самшитова, студенту-дипломнику московского милицейско-юридического вуза, направленному на дипломную, или как там у них называется, практику в родной город, требовалось провести практическое задержание с последующим расследованием. А брательник и идею подал.

♦ Прямо из родного корпуса университета Ромашкина повезли на его квартиру — делать обыск. Странно, но путешествуя в зарешеченном отсеке милицейского «газика», он больше волновался не по сути страшного происшествия, а опасался, что найдут заначку. В квартире же эта мысль-опасение настолько овладела им, что как-то мимо ушей и глаз протекали слезы истерики супруги, больно искажившееся лицо дочери, укоряющие взгляды и слова понятых — добрых старинных соседей, тоже бывших педагогов высшей и средней школы.

Слава богу, никто не покусился на унылый том «Металлорежущего инструмента», стоявший на верхней полке книжного шкафа. Да и искали-то служивые только для проформы, сразу оценив гордо-нищенскую обстановку жилища доцента. Ваньку валяли.

— Все, обыск окончен, понятые? — подойдите и распишитесь, — командовал Самшитов-старший. Сержанты заухмылялись, сочувственно посмотрели на правонарушителя, его семейство.

— А вы, подозреваемый, с нами поедете.

Ромашкин, до того безразлично и безучастно скучавший на стуле посреди комнаты, бурно вскочил. Радость переполняла душу, а в ушах звенели кастаньеты, били бубны, цыганский хор из фильма Михалкова-сына пел: «Не сыскали, не нашли рублики заначены!» Он сам стал тихонько подпевать, пританцовывать (в молодости отменно вальсировал), на душе стало легко и ясно: вот, мол, вернусь домой, еще с полгодика подкоплю и выкуплю замечательную «полярную» серию у добряка Похлебкина...

Самый старший по возрасту сержант, отведя глаза, тихо сказал: «Чего радуется? Ведь под хреновую статью угодил: пятерик строгого с конфискацией». Тут и Самшитов задумался, понятые зашептались. Самшитов же думал определенно: симулирует или вправду спятил? Посоветовавшись на кухне, милицейские вызвали шестнадцатую бригаду.

Пару месяцев Ромашкин провел в больнице за городом, теперь лечится амбулаторно. Из университета уволили по гуманной статье, но удалось устроиться в механический техникум на другом конце города; на тамошнюю зарплату только такие бедолаги и соглашались. Коллекцию марок пришлось-таки продать филателистам из банкирского клуба.

♦ Юрий Васильевич докончил свою печальную повесть, чокнулся с кол-

лективом и бережно, смакуя, выпил принесенный Серегой коньяк, кстати говоря, оказавшийся неподдельным, настоящий молдавским «аистом».

— Хор-рош! — Закусив бутербродом, наш доцент по-интеллигентски вытер губы платочком и заторопился домой:

— Я вас покину, молодые люди. Хорошо с вами, но боюсь увлечься — завтра у меня первая пара, в семь-сорок пять, наш вуз раньше всех в городе трудиться начинает. А вам — хорошо время провести!

Юрий Васильевич, пожав поочередно руки остающимся, покинул уютное заведение. Правда, нашелся за соседним столиком еще один желающий побеседовать, наш же, из «Меткости» ведущий конструктор Митюков. Иногда мы встречали его в точках общепита, был он умеренным любителем, но пил всегда в одиночку, потому свое краткое сообщение нам сделал, не отходя от своего столика.

— Вот Юрий Васильевич про политех наш, или как там он теперь называется, рассказывал, а у меня дочь в педу учится. Там бабы в другую дурь поперли — в доктора наук скопом повалили, защищаются все сплошняком в Москве, видно халяву там нашли. Жена, когда там же училась, говорит — один только доктор был, исторический профессор Ашурков, а теперь их за роту перевалило. Как-то дочка реферат писала по Рериху, сейчас все эти сатанисты в моде, принесла из библиотеки кучу литературы. Я от нечего делать пролистал эти книги, а там и брошюра ихнего, педовского издания, была; в аннотации написано, что автор, некая Голембиовская Нателла Венедиктовна, защитила на этой брошюре диссертацию доктора филологии. Прочитал ее, благо тонкая, через две страницы на третью, и несколько удивился: гладко написано, складно и умно. Ну, думаю, может и правда при демократии бабы научные поумнели? А дочка смеется, ты, говорит, пап, почитай предисловия к этим вот трем книгам.

Книги солидные, столичного издания, толстые, две и вовсе советского времени, когда туфту не пропускали. Стал читать одно предисловие, другое... что за черт! — Слово в слово как в книжке Нателлы прописано, даже по главам: три главы в брошюре, а каждая глава соответствует одному из предисловий. Ну, совсем народ простой пошел!

Как человек замкнутый и со странностями, Митюков замолчал и занялся дешевым пирожком с капустой. Мы тоже немного помолчали: тема педагогики была исчерпана. Смаковали дар Молдавской, бывшей советской и одновременно социалистической, республики.

♦ Мы с Николаем Андреевичем опять отметили про себя, что Серега что-то таит в себе, явно веселого характера, приберегает в качестве «гвоздя» вечера бесед и воспоминаний. Мы внимательно посмотрели на рантье-бизнесмена с душой коммуниста-сталинца.

— Ну-у, давай, колись,— подтолкнул его локтем в бок Николай Андреевич.

— Это ты о чем,— придурился Серега.

— Да все о том же, чего натворил?

— Да ничего не натворил, так... Кстати, обратили внимание: по всей стране со страшной силой стали церквухи городить. Раньше новости по телеку включишь, а там диктор под Левитана рапортует: новый блок АЭС дал первый мегаватт энергии, новый гигант химии где-нибудь в Навои запущен, спутник «Космос-1832» полетел и так далее. А сейчас? По всем каналам дикторы, стараясь скрыть картавость, радостно оповещают об открытии новых храмов в Североморске, на Камчатке, в глухой деревеньке Забрюхановке, где и вовсе народа не осталось... Дураку понятно, что не на бабкины копейки, а на госсредства церквухи срубают.

— Да-да,— встрял Николай Андреевич,— сын говорит, что в политехе в девятом корпусе уже поп кадилом машет, а в артухе за месяц с небольшим возвели и купола позолотили! Самое смешное, что чем больше церквей открывают или строят, тем меньше народа в них ходит. Заметили? Только вот смысл этой «активности» не доходит. Хотят православие государственной сделать вопреки конституции ельцинской, но опять — зачем? Что это дает власть придержащим?

— Во-о-о! Я тоже не понимал,— взял беседу в свои руки окончательно Серега,— и только с американскими лжетеррористическими актами все стало на свои места.

— Да ну-у! Ты, брат, конечно, аналитик известный, но здесь явно переборщил.

— Ничего я не переборщил. Слушай сюда. Дело с пресловутым терактом, причем неважно кто самолеты в дело пустил, хоть и решающее, но все же лишь одно звено в цепи, рассчитанной многие годы назад америкасами с подачи Израиля. А они умеют далеко по времени планировать и реализовывать свои цели, как правило, зловещие. Разрушение СССР — тому наглядный пример, в чем и полные идиоты уже не сомневаются.

Так вот. Здесь конечная цель — отвести удар мусульман от Израиля, а вместо него подставить Россию. Что сейчас и выполняется. Постреляют америкосы для понта «томогавками» и уйдут восвояси, а исламский мир вдруг увидит нового врага, почти что единственно и поддержавшего США в момент обострения его отношений с мусульманским миром. Кстати говоря, они не идиоты, чтобы искоренять талибов, которые де-факто работают на интересы США: восемьдесят процентов героина в мире трудолубиво взращивают именно в Афганистане. Героин идет в Россию и далее в Европу. Америкосы же спят и видят, чтобы все русские переходили в наркомании. И в Европе союзной им важно поддерживать высокий уровень

наркомании, чтобы не покушались своей экономикой и финансами на мировое господство доллара. Кстати, с той же целью они всячески поддерживают в Европе албанцев, ибо арнауты эти тоже живут сплошь наркотиками и их торговлей.

— Это все понятно, Серега, не дебилы мы, телевизоры избегаем смотреть, но строительство церквей у нас при чем здесь?

— А вот при том самом. Создать образ вселенского врага для ислама можно только в религиозном противопоставлении. Здесь-то и возникла сложность для ЦРУ, Моссада и прочих заинтересованных служб и ведомств: они как-то недоучли, что Россия никогда и не была страной религиозного народа, вспомните, как после революции, правда, с подачи троцкистов, но все же легко и просто народ забыл про эту самую религию! И до недавних времен если кто-то и ходил в церкви, то либо совсем убогие, а в основном из чувства протеста: на Руси силен дух противления официозу. А сейчас вот обратная картина: церковь входит в официоз, а народ начинает обходить эту церковь. Тем более, что ее сильно дискредитируют транслируемые по телящику великосветские молебны, где бывшие кристальные чекисты задумчиво бьют поклоны, крестятся левой рукой. Матерые ворюги от «семьи» нарекают себя глубоко верующими. А вот миру внешнему, исламу в первую очередь, надо пустить пыль в глаза: дескать, в России не то что повальное православие, но чуть ли не православный фундаментализм!

Здесь Серега и подошел к сути своего происшествия:

— А я вот, пока вы на курортах загорали, принял участие в одной городской акции.

Мы с Николаем Андреевичем засмеялись, ибо приятель наш как-то однобоко принимал участие в акциях. Например, решил принять участие в телевизионном конкурсе афористов, выпил вечером дома пару бутылок портвейна и исписал два листа бумаги афоризмами типа: «Первая степень шизофрении — смотреть цветные сны, а высшая — смотреть по цветному телевизору канал НТВ». Остальные же были и вовсе неприличные, с акцентом на национальный момент. Наутро купил конверт, вложил в него афоризмы и отправил на конкурс, проводимый как раз «третьей кнопкой». Правда, в обратном адресе подписался чужим именем, а сам адрес идентифицировал с областной психбольницей.

— Рано смеетесь,— Серега протянул мне сотенную,— возьми еще по сотке молдавского.

◆— Вы двор моего дома представляете ведь? И само по себе место тихое, на окраине, а двор и того лучше, большой, на восемь домов, травка растет, деревья, детские песочницы, пара столов для доминошников, сло-

вом — идиллия. В центре вашем даже близко похожего нет. Кот мой Рыжик большую часть суток во дворе проводит в своей компании. Приличной, непьющей кстати. У меня под окном дерево большое, а ветка прямо в балкон упирается, второй этаж. Поэтому Рыжик в любое время мявкнет, я ему балконную дверь отворю, он и сиганет по ветке и стволу; обратно таким же манером возвращается. Слышу мявканье — иду дверь балконную отворять, а он, хвост трубой распушив, прямо на кухню, к жратве.

Когда эти подлые времена наступили, раза два какие-то хмыри пытались палатки-сникерсные разбить во дворе, но народ у нас дружный и простой — сплошь гегемон с Комбайнового и Механического, не допустили. Видно у тех лавочников зеленых не хватило для взятки в районные инстанции.

А этим летом двор наш присмотрели совсем серьезные бандюганы. Место тихое и дальнее, решили соорудить для своей братвы кабак со стриптизом и еще какой-то хреновней, где шары-кухтыли катают и балясины ими сбивают. К концу июня начали завозить стройматериалы.

Мне, вообще-то говоря, все это по хрену, но котов распугали, мой Рыжик спустится по дереву и ни шагу дальше, сидит в траве у дома, мяучит жалобно. Злость меня взяла, как-то набрал номер секретаря в районной администрации, тот переадресовал в какой-то отдел, а в отделе сухо ответили: да, уже были коллективные заявления от жильцов вашего микрорайона, мы сделали проверки. К сожалению для вас и ваших соседей, решение о строительстве благотворительного культурно-досугового центра принято на областном уровне, поддержано московской мэрией. Город заинтересован в организации досуга малоимущих.

Голос начальника отдела начал благородно суроветь: дескать, надо быть сознательными гражданами, не только о себе думать, но и об обездоленных. Ведь сейчас не времена тоталитаризма советского, пора начать и о людях радеть! И так далее. Я трубку бросил, пошел утешать Рыжика на балкон.

Да-а, думаю, солидную пачку долларов дали кому следует, шестерок тоже не обидели. Значит, будет у нас во дворе веселая жизнь. Вечером включил «ящик», а там в новостях, как и положено, репортаж об открытии очередной церкви прямо на центральной площади заштатного городка Хрюкинска в курганских степях. Попы мордастые кадилами машут, песни свои поют, местное начальство постными лицами застыло от изумления новым порядкам. А диктор соловьем разливается: дескать, местный подвижник инициатором выступил, простой слесарь, первый камень заложил, а потом уже и администрация, вся сплошь из искренне верующих людей, поддержала. А ведь хотели пивной бар здесь строить, уже и решение в этой же самой администрации провели... Здесь меня и осенило, как вернуть Рыжику с друзьями и подругами их вольную жизнь во дворе.

♦ Утром пошел в свою фирму, ну-у, где бабки получаю, попросил раб-
ботягу колышек настругать, бечевки — с отдачей — метров тридцать у
него же взял. Топорик дома свой есть.

После обеда, когда бабки от духоты и жары квартирной во двор пере-
брались, вышел со всеми причиндалами во двор и начал в середине его
геометрической задумчиво мерять пространство земное шагами, забивать
колышки. Перекурив, соединил колышки бечевкой.

— Чего, Сереж, делаешь-то?

Не торопясь подошел к беседке, подсел к бабкам.

— Да вот, смотрю, в городе-то в каждом микрорайоне часовенку, либо
полную церкву поставили, а у нас до ближайшего храма на автобусе шесть
остановок ехать, да еще пешком идти. Нехорошо это, без благодати наши
дома стоят! Вот и решил церковку поставить.

— Да ну! Вот молодец-то, даром что бизнесментер. А денег-то хва-
тит? Дело ведь дорогое, дороже чем особняк строить.

— Главное дело начать, а там люди добрые помогут, да и властям ны-
не предписано помогать богоугодным делам. Вот в городе: в университете
церковь внутреннюю открыли, в артучилище настоящий храм строят...

До темноты я вел культмассовую работу, народу набежало? На ночь
бечевку с колышек снял, домой забрал, а то стащат непременно. Те же бо-
гомольные бабки, как люди хозяйственные.

Поутру продумал дальнейшие действия; главное было — упредить
брatву, не посмотрят, что свой брат-бизнесмен. Позвонил на областное
телевидение, узнал номер ведущего, который в своих передачах вел анти-
губернаторскую линию, то есть кормился не от администрации. Набрал
номер и услышал знакомый голос.

Представившись рядовым участником акции, без фамилии, изложил
суть дела, особо напирая на то, что богоугодной народной инициативе зло-
стно противодействует высокая администрация, в обход районных властей
отвела двор под постройку борделя с развратом. Секунд пять помолчав,
ведущий обещал к двенадцати прислать съемочную группу. «Массовку
только организуйте, антураж какой-нибудь», — сказал напоследок матерый
ас голубого экрана.

♦ Позавтракав, пошел вновь натягивать бечевку, а сочувствующих ба-
бок попросил принести пару лопат. Скоренько подошел мент в лейтенант-
ских погонах, с папкой и без дубинки. Представился здешним участковым.
А я и не знал, что такие власти еще сохранились.

— Чем занимаемся?

— Да вот народ решил церковь поставить.

— Разрешение есть?

— Нет.

— Тогда прекратите работы.

— А никаких работ нет, бечевку можно натягивать и для сушки грибов.

Милиционер внимательно посмотрел на меня, задумался и, не прощаясь, куда-то заспешил. Я же достал записную книжку, ручку и начал рисовать чертиков. Бабки уважительно гомонили поодаль. Ближе к двенадцати сказал им о телевизионщиках, дескать, срочно соберите народ, да пару икон раздобудьте, на стол доминошный поставьте на скатерти, свечку зажегите. Сам же пошел в котельную, извлек оттуда пару бомжей, пообещал по бутылке с закуской — попозировать с лопатами. Перепоручив общее руководство массовой активистке двора бабке Синицыных, сам удалился домой, объяснив, что, как человек скромный, хочу сохранить инкогнито.

Сцену телесъемок, народного возмущения действиями чиновников, трудолюбия бомжей, не обращая внимания на телекамеры окапывавших одним им ведомые геометрические фигуры, наблюдал с балкона, куда вынес креслице и журнальный столик с бутылочкой марочного хереса и закуской. Кот Рыжик тоже сидел на столике и внимательно наблюдал за суетой в испоганенном дворе, морщил от громких голосов свой умный лобик, кушал из закусочной тарелки постный окорок.

Телевизионщики убыли, бабки пошли обедать, захватив иконы, скатерть и лопаты. Подозвал бомжей к балкону, бросил им сотенную. Потянуло в сон. Проснулся пополудни, с огорчением углядел с балкона, что бечевку сперли-таки. Делу был дан верный ход, поэтому больше я инициативы не проявлял.

К вечеру приезжали встревоженные шестерки бандюганов, попинали колышки, спрашивали у бабки Синицыных: кто разрешил что-то здесь строить, кто верховодит? Бабка, возведя очи к небушку, строго им ответила, что у Бога разрешение на добрые дела не спрашивают, а дело это народное, все и верховодят. Порекомендовала завтра вечером посмотреть телевизор. Шестерки переглянулись, что-то доложили по мобильнику пахану и, как и участковый, не прощаясь, уселись в черную машину размером с трансформаторную будку и уехали.

Дальше все понятно. Ведущий в передаче превзошел даже московских телевизионщиков в благородном негодовании, ругмя ругая областную администрацию, намекал на коррупцию, почему-то хвалил нашу районную власть. Уже через два дня грузовики увезли стройматериал для борделя; коты, поначалу озираясь, заново осваивали территорию ночных концертов и вечной любви.

Приходили чиновники из обласканной ведущим-демократом районной администрации, интересовались у бабок ходом строительства храма, ту-

манно и неконкретно обещали помощь. Я же бабкам объяснил, что стройка откладывается до следующего лета. «Временные сложности в бизнесе. Смежники подвели и налоговая инспекция замотала!»

◆ Николай Андреевич, как генетический потомок калужских и поморских старообрядцев, потому крайне непочтительный к официальному как царскому, так и новейшему, православию весело рассмеялся:

— Ну Серега, ты даешь, такую панаму раскрутил!

Я же помолчал, а закусив, высказался в том смысле, что все-таки церковь — дело душевное и благородное, поэтому лучше над ней не смеяться, даже будучи атеистом (невоинственным) от науки.

— С одной стороны, конечно, так, — резюмировал Серега, — но почему они сами марку свою не держат: мерсы бандюгам освящают, а почему такие морды у них лоснящиеся? Надо осторожнее им себя вести, ведь должны понимать: эти гребанные телевизионщики так и норовят все истинно русское, настоящее православное, с дерьмом смешать. Ведь предел их мечтаний — чтобы по всей Руси бардаки сектантские пооткрывались...

— Ты что-то сам себе противоречишь.

— Может и так, но ведь двор-то свой я спас!

А потом, сама церковь, отцы ее учат: для всякого благого дела поощряется пользоваться именем Божиим, авторитетом церкви. Что я и сделал во благо сохранения нравственных устоев целого микрорайона...

Однако, памятуя, что к ночи о чертах и их антиподах, служителей култов, речь лучше не вести, Серега перевел разговор еще на одну животрепещущую тему, которая, не будь лихих атак камикадзе на *WTC* и Пентагон, обсасывалась бы телевизионщиками с утра до глубокой ночи. Понятно о чем верещали: о подъеме «Курска», повторили бы гробокопательскую вакханалию прошлой осени. Ведь всему подражают америкосам, но только не в том, чему у них и поучиться не грех. Там, все, что у них связано с подводным флотом, в прессу не попадает, а всякие обсуждения-пересуды считаются непристойными.

Серега придерживался той версии, что «Курск» был продолблен в носовой части американской АПЛ. Известно, что в районе учений с участием «Курска» находились две штатовские лодки: «Мемфис» и «Тоledo», которые после происшествия стали в доки на своей базе, а на запрос российской стороны по линии военно-морского атташата о допуске к внешнему осмотру ответили категорическим отказом.

— На то они и подлодки, чтобы в темноте, на глубине плавать, службу нести, — вставил я свое веское слово, — поэтому, как ни крути, но столкновения по неумыслу — это специфика этого рода вооруженных сил. Только зачем это скрывать, раз по неумыслу?

— Зачем-зачем,— нахмурился Серега,— затем, что такая у них работа. Думаете, если бы «Курск» оказался под тем же «Тоledo» и ненароком, подвсплывая, таранил его, так что? Сразу ТАСС, или как он там теперь называется, на весь мир оповестил бы об этом? Нет, подлодки должны плавать во тьме и все свои подвиги и неудачи в глубокой тайне хранить. Это пусть десантные, например, корабли в открытую действуют, с криком «ура» или «банзай», не знаю, что янки при этом кричат, «мек моней», наверное — десантировать роты морпехов...

— Бывает и подлодки десанты высаживают,— кротко встрял Николай Андреянович.

— Это как же? Разведчиков что ли?

— Не обязательно. Если не торопитесь — расскажу.

♦ Свое повествование Николай Андреянович начал с оговорки, что-де сам он не свидетель, иначе бы не находился сейчас здесь, да и вообще на грешной этой земле. Случилось это когда ему и пяти лет не было, но история наделала много шума в житейски размеренной жизни маячников Кольского побережья, не раз он слышал уже в сознательном возрасте от взрослых пересказы, потому в памяти хорошо сохранились все детали. Вот только место, где разыгралась трагедия, нечетко помнит: кажется, остров Великий, а может и нет. А если и Великий, то вовсе не значит, что какой-то гигантский остров с Гренландию размером; так себе островок. За полчаса весь обойдешь. Обычный маячный островок: сам маяк, несколько семей, его обслуживающих,— вот и все.

И еще одно замечание сделал Николай Андреянович. Сейчас подобные истории телевидение смакует через день. Но в те времена люди психикой своей были несомненно здоровее, во-первых, а во-вторых, для пользы народной подобные происшествия не популяризировались.

♦ Начальник маяка острова Великого Василий Коноплянников заступил на дневную вахту. Стоял тихий, почти жаркий июль месяц. Как и положено летом, вахты были не восьмичасовые, но полусуточные: время отпусков, двухмесячных, северных. Сам Коноплянников отправил все свое семейство и на все лето, еще с конца мая, даже старшего сына из интерната в Полярном досрочно забрал, на родину, в архангельскую поморскую деревню. Там и родня каждый второй, а главное — мать, еще бодрая старушка, обихаживает и в полном порядке содержит родительский дом, как и положено в Поморье, двухэтажный, со всеми службами, даже с отхожим местом, под общей крышей.

Самая многодетная семья Ворожейкиных уехала тоже в родную орловскую деревню в начале июля; Василий же собирался присоединиться к

своим на август месяц — после возвращения Ворожейкиных, которые, как и он сам с супругой, приехали на Север по вербовке шесть лет тому назад, в год окончания войны.

Еще на маяке находилась бездетная чета молодых Гуселевых, совсем недавно приехавшая «за длинным рублем» из Ташкента; ясно, что понятие отпуска для них было абстрактным, была бы денежная компенсация (супруга Гуселева тоже работала, в отличие от других женщин, в штате маяка, более того, была по профессии инженером-механиком). Наконец, не собирались в этом году куда-либо уезжать пожилые Трещевы, поскольку супруга Трещева уже вышла на льготную пенсию в сорок пять лет, а сам глава семьи тоже по льготе дорабатывал последний свой год на Севере. Готовились к переезду следующим летом в родные места где-то возле Вологды, откуда уехали еще задолго до войны которую также провели на маяках; отсюда и льготные пенсии. Трое их детей, уже вполне самостоятельные, разъехались: старший лейтенантом на Тихоокеанском флоте служил второй год, средняя дочь заканчивала в Мурманске пединститут, а младшая уже загодя училась в сельхозтехникуме в Вологде.

Василий сменил с ночного (солнце так и не заходило, полярный день на дворе) дежурства Трещева. Не оговорился: не вахты, а именно дежурства, как сторожа дежурят, ибо в круглые световые сутки, без зимних туманов, маяк и не включался. Вообще, весь списочный состав маяка в короткое летнее время занимался регламентом, в том числе и в вахтенные дежурства.

♦ Каждый в свою летнюю вахту занимался регламентом по своей части. Моторист по своей армейской специальности, Василий с самого утра, не разминаясь, продолжил уже недельную возню с дизелем — электростанцией маяка. Часам к двенадцати перебрал коробку и, весь в мазуте, вышел на мостик маяка, предварительно сполоснув руки в солярке и тщательно вытерев их ветошкой. Солнце почти пекло — со скидкой на заполярную широту. Василий присел на табурет, закурил.

Маяк стоял на самой высокой точке острова, в ста метрах от скалистого восточного берега, мимо которого и проходил траверс судоходного пути вдоль северной оконечности Кольского полуострова. Где-то далеко, за горизонтом, путь этот отворачивал на юг, на вход в Кольский залив. С западной стороны острова, разделенная проливом полукилометровой ширины, располагалась материковая земля. Кстати, на этот берег на маячной моторке сегодня поутру за морошкой отправились Трещевы и жена Гуселева: на острове не было болот, поэтому за морошкой, сезон которой был в расцвете, ездили не первый день на ближний материковый берег. Гуселев, как человек городской, собирать грибы-ягоды не любил, поэтому приши-

лось с моторкой управляться сонному с ночной вахты Трещеву. Впрочем, он прекрасно поспит и в причаленной к берегу моторке. Кстати, берег тот был вполне обжитой: километрах в трех располагался береговой маяк, а еще чуть дальше — зенитная батарея с батальоном солдат.

Переведя взгляд на свой остров, где в низине, в километре, маленькими отсюда смотрелись четыре однотипных домика, в том числе и его семейства, живописно в своей неправильности разбросанные по берегам озера, Василий мимоходом отметил, что уютный дымок идет из трубы только избы Гуселевых, а также из трубы его личного сарая, где предприимчивый ташкентец соорудил рыбокоптильню, чем вызывал неудовольствие политотдельца, курировавшего маяки; на военизированных маяках самодеятельность не приветствовалась. Однако, копчущки получались отменные. Василий облизнулся, вспомнив их вкус.

Коль скоро вспомнил о Гуселеве и его копчущках, то и задумался: а сколько ему еще лет глотать здешние зимние туманы, прямо-таки выедающие легкие? И деньги уже прикапливаются, и жизнь на родине в норму вступила... Однако, все же следует подождать, пока старший окончит школу. Опять же и лишние «длинные рубли» не станут помехой в деревне, да и парня учить надо дальше, чай, не двадцатые, не тридцатые годы. Сейчас и из большей глухомани молодежь в институты рвется.

Да и младший сын начальные классы проведет в хорошей, даже посвоему знаменитой школе Полярного, а не в деревенской четырехлетке, где все классы в одной комнате... Конечно, когда оба будут по девять месяцев в году в интернате, совсем сиротливо им будет, а родителям разве весело?

Правда, там, в городе, и уход за ними серьезный, не дай, бог, заболеют — больница и врачи первоклассные, госпиталь флотский... А здесь, на острове? Даже связи на случай чего нет; сколько не просили в гидрографическом отделе флота хоть простенькую рацию — не положено, говорят. Наверное, боятся, что прямо в Америку будем каждодневно сообщать о проходящих кораблях.

Был ведь недавно случай на маяке острова Седловатого, когда прободная язва образовалась у мужика, а она времени не терпит. На моторке в Полярный не пробьешься: море штормит под пять баллов. Хорошо Андреян, его, Василия, знакомый, оказался бывшим флотским сигнальщиком, развернул в сторону военного поста на Большом Оленьем большой маячный прожектор и отморзянил о помощи. С поста позвонили (там связь есть) в Полярный, оттуда выслали катер... словом, спасли мужика. Он, оклемавшись, поставил Андреяну две бутылки коньяка грузинского — это в наших-то строго «сухих» краях?!

Василий докурил и пошел в вахтенную комнатку попить чаю из принесенного термоса под нехитрые домашние пирожки с рыбой.

♦ Доев пирожки с палтусом (один попался с грибами; очень он уважал грибы), запив почти горячим чаем крепкой китайской заварки, Василий наполнил стакан в подстаканнике вдругорядь и, держа его в правой руке, а в левой кусок пиленого сахара — пил по-деревенски, вприкуску,— вновь вышел на мостик, уселся на давешнюю табуретку. Между двумя глотками чая заприметил, как Гуселев вынес из коптильни на вытянутых руках, как поленья носят, охапку свежeproкопченных трещин — с то же полено длинной; зорек был Василий.

Гуселев с поклажей скрылся за домом, но Василий хорошо знал хозяйство своего соседа: с той стороны избы были сгорожены полки-решетки, на которых копченая треска или палтус на свежем воздухе доходили до нужной кондиции. Хоть и посмеивались маячники над Гуселевыми, но и понимали: «длинные рубли» нужны южанам не для куркульства или ба-ловства, а для строительства домика на тихой окраине Ташкента, куда их судьба — порознь — занесла в военные годы.

Какая же тишина стояла в этот июльский полдень! Близкий материковый берег синел в дымке, а в низине острова тоже стлалась дымка, но уже от коптильни Гуселева, с коим их и было сейчас всего двое на острове... Вот к осени все маячники соберутся, к первому сентября, все школьники еще здесь будут — почти многолюдно на острове станет. А следующее многолюдство повторится уже на школьные зимние каникулы. Новый год, а там до весны рукой подать. Глядишь и год промелькнул, потом еще и еще... Но придет время, уедут Гуселевы в свой Ташкент. К этому времени в опустевшем было доме Трещевых уже заживет новая семья маячников. А там и очередь собирать скарб и гидроотдельским катером идти до Мурманска, а далее железной дорогой с пересадкой — и его семействку подойдет. А ведь привыкли, жалко будет с суровой, но и уютной, вдали от начальства всевидящего, жизнью на забытом богом острове прощаться. Но ведь дожить еще надо до того времени!

Померещилось? Да, почудились частые, короткими очередями выстрелы, еле-еле слышные со стороны материкового берега, но не того, что напротив острова, а откуда-то издалека. Если со стороны берегового маяка, то по какой-такой причине? Если и стреляют по осени и зимой охотники тамошние, то не из автоматов, а из тульских или ижевских двустволок. С зенитной батареи, где, конечно, имелось стрельбище для воинских упражнений, если что и слышно на таком расстоянии бывает, то уханье зениток во время учений.

Василий хлопнул себя по лбу и рассмеялся: вот что значит сам-двое на острове остался, рассудок страхом заражается. Это ведь дизели подводных лодок порой так чихают, когда механик корабля на досуге, на тихом надводном ходу что-то начинает мудрить и проверять. Значит, где-то в милях

шести-восьми, невидимая за изломами берегов, лодка идет из Полярного на боевое дежурство.

Василий допил чай, вынул из кармана початую пачку «беломора», закурил с наслаждением. Полуденное марево и вселенская тишина неумолимо тянули в сон. Устав бороться, Василий прошел в дежурку и прилег на топчан. «Часок подремлю»,— и провалился в крепкий дневной сон.

♦ Однако сон редко спрашивает своего хозяина о продолжительности, запрошенный час обернулся целыми двумя, да и прервался только звонком местного телефона. Конечно, телефон — звучит громко, но тем не менее он связывал мостик маяка с верандой дома Василия. Веранда исполняла роль общей телефонной будки, а местную связь сгношил совсем недавно Гуселев, радиотелефонист по техникумовскому своему образованию: на маячном складе он розыскал бухту телефонного провода, завезенного на остров еще до войны и непонятно зачем, а два списанных старинчатых армейских телефонных аппарата обменял на бутылку водки у старшины береговой зенитной батареи. Телефон всем маячникам пришелся по душе, а Василий на правах начальника маяка добился от гидроотдела благодарности в приказе своему смекалистому подчиненному.

— Василий Никитич,— как к старшему по должности и возрасту обратился Гуселев,— ты что, прикемарил? Взглянь в бинокль на пролив, мне отсюда не разобрать: кажется, моторка тарахтит, а наши-то к вечеру только собирались. Отбой.

(Аппараты, купленные за бутылку водки, были односторонней связи, полудуплексные, как говорят техники, то есть говорить надо было поочередно, нажимая танкету на трубку).

— Сейчас посмотрю. Слушай, Жора, я тарахтенье тоже хорошо слышу. Перезвоню, будь на веранде. Отбой.

Василий взял двенадцатикратный морской бинокль и направил на хорошо видную с горушки маяка моторку, шедшую на полной скорости наискосок пролива к их острову. В бинокль же, как рядом в двух-трех десятках метров, увидел человека в военном, в пилотке (значит, солдат, не офицер или ундер), который не совсем ловко управлялся с рулем. Особенно это стало заметным на повороте моторки с середины пролива к островному берегу: неопытный в морском деле солдат слишком резко переложил руль, отчего моторка выпрыгнула носом из воды, дала опасный крен вправо, вывернутый руль подтабанил, и моторка пошла делать зигзаги, пока не выровнялась по новому курсу. Может старшина, дружок Жоры, послал бойца с какой-нибудь рухлядью, что в хозяйстве всегда пригодится, на предмет получения бутылки — универсальной и высоко ценимой в этом краю полного сухого закона обменной единицы? Однако смутил автомат

на ремне за спиной солдата. Был еще вариант поиска дезертира, крайне редкий случай, но... дезертиров ищут командами, с офицерами.

Василий снял телефонную трубку, крутанул динамо вызова:

— Слушай, Жора, странно все это. Давай-ка запирай свой дом и копилку, мой тоже закрой вместе с верандой, замок с ключом слева от аппарата на полочке. Так-так... у Ворожейкиных заперто (В этих краях запирают только при длительном отсутствии — и то для пресечения детских шалостей), загляни к Трещевым. Если замок на глаза попадет — замкни. Да, захвати мое ружье, оно хоть не стреляет, но все же... Отбой.

Повесив трубку, Василий, вспомнивший о своем ружье, раздосадовался: еще в начале лета решил пострелять куличков на маленькой отмели в дальней части острова из старенькой своей одностволки, но на втором выстреле раздуло лопнувшую латунную гильзу — то ли от многократного использования ее, а может и чуток бездымного, к которому еще толком не привык, переложил. Ножа или чего тонкого и плоского, чтобы подцепить доньшко гильзы под рукой не было, оглянувшись, нашел подходящий гранитный обломок с клиновидным выступом... словом, гильзу не вытащил, а сорвавшимся камнем скривил боек. Как ни пытался осторожно, уже дома, выправить боек, но каленый стальной шпенок сломался.

Отложил покупку нового ружья до осенней охоты. Больше на острове, исключая казенную ракетницу, ничего стреляющего не было: Ворожейкины охоту не вели, Трещев подарил свое бельгийское ружье, высоко ценимое в кругах охотников «Три кольца», неведомо как к нему попавшее, старшему сыну, а Жора Гуселев собирался вооружиться тоже осенью, за компанию с начальником прокатившись в Мурманск.

Однако, надо было что-то делать: моторка уже зашла под береговую сопку, исчезла с виду, а мотор снижал обороты, потом и вовсе стих. Приехали!

♦ Вскороости пришел Жора, поднялся на мостик, поставил в угол ружье без бояка.

— У Трещевых замок нашел. Закрыл.

Василий задумчиво рассматривал, держа в руках, ракетницу. На столике был выставлен запас ракет: восемь штук, трех цветов металлической крышки патронов. Положив ракетницу на этот же столик, взял бинокль, направил в сторону небольшой сопки, закрывавшей вид на островную половину пролива. Как раз в этот момент из-за сопки показался приехавший. Молча и поочередно с Жорой они рассмотрели гостя; в бинокле он был совсем рядышком: солдат, без единой лычки на погонах, воротничок расстегнут, пилотку он снял и нес в правой руке. Автомат висел на плече наперевес, придерживаемый локтем той же руки с пилоткой. Левая же при-

держивала подсумок явно с тяжелым; рожками с патронами, как сообразили тотчас оба маячника.

Меж тем, пока его тщательно изучали в бинокль, солдат прямо шел к домам у озера. Подойдя к домам, взяв автомат наизготовку, держась дворов, начал обход слева — от избы Трещевых. Обнаружив, что дверь заперта на замок, с минуту постоял, раздумывая, затем направился к следующему дому — Василия. Там он долго всматривался в окна веранды...

— Давай вспугнем,— предложил Жора и снял трубку телефона, положил ладонь на ручку индуктора.

— А давай,— ответил Василий, не отнимая окуляров бинокля от глаз.

Жора из всей силы закрутил ручку, а Василий увидел в бинокль: солдат, без того настороженный в полной тишине острова и всего полярного мира, вздрогнул всем телом, даже пилотка с головы слетела, отскочил на пару шагов и дал длинную, гулкую очередь по окнам веранды. В наступившей затем тишине было слышно, как падают и разбиваются звонкие стекла.

— Ничего себе пошутил! — Василий не к месту вспомнил, сколько он положил трудов на веранду, особенно на переплет и остекление. Все вручную, из подсобного материала, одни стекла дармовые, казенные.

— Вот что,— обернулся он к несколько смущенному Гуселеву,— шутки закончились и дело понятно. Давай дуй отсюда по западному берегу, садись на моторку этого раздолбая... да-а, в подсобке здесь возьми канистру, горючкой залей. Иди через пролив, где наша моторка причалена, там Трещев поблизости кемарит, во всяком случае где-то рядом. Пусть сюда не суются. А сам на любой из моторок — на батарею. Понял?

— А если этот долбанутый моторку притопил или движок испортил? Потом, до батареи километров двадцать пилить и еще почти час пехом. А ты как же? Пошли вместе?

— Если моторка не на ходу — на веслах на ней или на двойке* Ворожейкиных, сумеешь ее стащить, легкая, а дальше на нашей пойдешь. За пару часов до батарейцев доберешься. А что делать? На море ни одной посудины нет. Мне — нельзя по инструкции, не забывай, что в военной части служим. Под суд не собираюсь. Потом, хоть и в железнодорожных войсках служил в войну, но под обстрелами и бомбежками бывал, не сдрейфлю. Иди, только с оглядкой.

♦ Одним глазом Василий смотрел, как Жора с канистрой вышел из подсобки с ГСМ** и скоро скрылся за углом маячного здания. Василий

* Шлюпка, рассчитанная на одного гребца, то есть на два весла (флотск.).

** Горюче-смазочные материалы.

полностью переключился на солдата. А тот, отойдя от испуга, выбил прикладом часть переплета и влез на веранду (Как потом выяснилось, автоматная очередь разбила телефонный аппарат). Что-то несколько минут он там делал, может, оголодавший, ел. Затем снова появился.

Проверив наличие замка на двери дома Ворожейкиных, солдат подошел к последнему — Гуселевых. Видно, его привлек запах копченой рыбы, он зашел за дом, вышел оттуда, на ходу раздирая и жадно поедая увесистую трещину. Так же продолжая есть треску, он направился вверх к маячному зданию, впрочем, стараясь не оставаться в прямой видимости, так что в бинокль Василия то мелькала, то вновь исчезала голова в пилотке. Перед крутым подъемом и вовсе исчезла. Затарахтела со стороны пролива моторка, значит у Жоры все в порядке. Однако, надо что-то предпринимать, ракетницей против автомата не повоюешь.

Василий повесил сумку с биноклем по-чапаевски на грудь, рассовал сигнальные ракеты по карманам рабочего комбинезона и, держа ракетницу в руке, спустился с мостика, с досадой взглянув на бесполезное ружье. Запер подсобку с ГСМ на металлическую задвижку, навесил два замка. На задвижку и замок запер и входную дверь на маяк, после чего отошел к стоящему поодаль складу, за которым прямо начинался спуск к берегу. Склад всегда был заперт. Удостоверившись в этом, Василий спустился по едва заметной тропке к берегу, прошел вдоль него метров триста и поднялся на сопку, соседнюю с маячной. Нашел удобную позицию и наставил бинокль на маяк. К этому времени солдат уже поднялся и подошел к кубастому зданию с вынесенным мостиком.

Увидев надежный запор, солдат направился к складу, осмотрел его запор, который, даже истратив пару рожков патронов, вскрыть было нельзя. В отличие от жилых домов, имущество флота помещалось надежно.

Теперь в бинокль хорошо было видно и лицо солдата: скуластый, чем-то похожий на татарина или башкира, с нехорошим, болезненным взглядом. Пилотка со звездой сбилась набок на голостриженной голове тыковой с большими, оттопыренными ушами. На лице явно читалось недоумение: куда же все подевались? Звериным чутьем сумасшедшего тот догадывался, что на острове кто-то есть, но где?

Солдат покрутился у склада, потом снова подошел к маячному зданию (оба были без окон), присел на ступеньках, пригорюнился, поставив локти на колени, а ладонями обхватив голову. Что в ней сейчас творилось? — Предсмертные крики тех семерых, которых он по приказу того, кто вчера поселился в его голове, застрелил в упор, входя в незапертые двери домов берегового маяка. Стрелял очередями, не жалея патронов, благо рожков с батареи забрал полный подсумок, что при ходьбе тяжело бил по пояснице и бедру левой ноги.

А может думал: сколько ему еще часов жить осталось — вообще жить или жить на свободе? Судя по солнцу, было уже часа четыре. Дальний пост, где он сегодня значился на дежурстве, проверяется через час. Но может уже хватились автоматных рожков, которые он утром как-то ловко сумел вынести из оружейной комнаты? В любом случае уже в ближайшее время спохватятся, еще через пару часов найдут на береговом маяке семь трупов — все тамошнее население, дальше пойдут проверять остров... А голос поселившегося в голове упрямо требовал: найди, кто здесь живой, и убей!

♦ Солдат снова подошел к складу, обошел здание, увидел тропку и пошел к спуску на берег. Василий обернулся на соседнюю сопку, оценивая: как ему незаметнее перейти на нее. Однако безумец дошел до берега, потоптался и пошел в противоположную сопке Василия сторону.

Гулко бившееся сердце поуспокоилось, Василий вновь обрел слух. Что это? — Он явственно услышал характерный стукоток дизеля подлодки, а затем и она сама неспешно всплыла из-за той самой сопки, которую только что Василий присматривал для следующего пристанища. Лодка шла совсем рядом с берегом, очевидно, имея намерение обогнуть островок и далее следовать в губу, далеко вдававшуюся в материковый берег, километров на тридцать. Наверное, отрабатывала на учениях какой-то замысловатый маневр.

Лодка приближалась, солдат тоже не мог не слышать стук дизеля. Поэтому, долго не раздумывая, Василий, мало остерегаясь, сбегал на берег, поближе к соседней сопке, встал за камень, закрывавший его со стороны, куда ушел солдат, вставил в ракетницу зеленый патрон и выстрелил горизонтально в сторону подлодки. Затем поднес к глазам бинокль и рассмотрел на мостике рубки головы моряков. Убедившись, что его заметили, уже не торопясь, он одну за другой выпустил три красные ракеты: сигнал высшей опасности. Ракеты опять же пускал горизонтально, хотя солдат все одно его выстрелы слышал.

Вполне может быть, что безумец поначалу двинулся в сторону выстрелов (голос-то будоражил: найди и убей!), но, увидев подлодку, выключившую дизель и взявшую курс на остров, поспешил в обратную сторону.

Лодка с изменившимся курсом и выключенным дизелем еще некоторое время двигалась и остановилась метрах в двухстах от берега; место здесь было глубокое. Из открывшегося палубного люка полезли матросы, вынесли похожее на ватные одеяла резиновые лодки. Через пять минут десять моряков на двух надутых лодках направились к берегу. Первым соскочил на берег офицер с пистолетом в руке, за ним попрыгали матросы с карабинами.

— Ну, что тут у вас,— спросил, поздоровавшись с Василием за руку, офицер в звании капитан-лейтенанта.

Василий кратко объяснил, указав возможное направление поиска. Офицер оставил у лодок караульного, порекомендовав Василию составить тому компанию. Рассыпавшись цепью, моряки скоро исчезли за сопкой.

Василий, не забывший взять с маяка папиросы, присел на камень, предложил курево молодому матросу, явно первого года службы — только что из учебки. Моряк охотно составил компанию, рассказал: кэп связался со штабом; на батарее, откуда ушел солдат, уже подняли тревогу, а к острову идет на всех парах политотдельский катер с военными судейскими.

Оказалось, что морячок вологодский, почти земляк. Разговорились, даже на время забыв о происходящем. Но минут через десять послышались недалекие выстрелы: одиночные карабинные и автоматные очереди.

— Сейчас наши годки * с каплеем ** захомуляют пехоту.

Действительно, еще раз вскинулась долгая автоматная очередь, на нее ответили залпами одиночных выстрелов карабины матросов. И все стихло. Выждав с пяток минут, Василий распрощался с матросом и пошел к маяку.

♦ Солдата живым взять не удалось, тот занял очень удобную стрелковую позицию на сопке поодаль маяка. Отстреливаясь, он легко ранил в руку матроса. Моряки тоже залегли за камнями. Вскоре автомат солдата замолчал. Поднявшись на сопку, увидели, что пуля из карабина вошла в висок. Вскоре прибыл и политотдельский катер.

Лодка ушла по свои делам, убитого солдата унесли на катер. Допросив Василия и заставив подписать протокол, судейские погрузились на тот же катер, который взял курс на зенитную батарею. Василий же скоренько поспешал к проливу, сделал отмашку Жоре с Трещевым, напряженно ждавшими на другой стороне. Захватив Трещева, Жора примчался на моторке. Кратко поведав об окончании истории, Василий отослал Трещева на другую сторону, поискать-покликать маячников и возвращаться домой. Сами же с Жорой пошли осматривать домá — что там успел натворить сумасшедший солдат.

...Прошли означенные года. Старший сын окончил в Полярном школу. Пришло время отъезда. Выделенный гидроотделом катер неспешно катил по июльской гдали Кольского залива, с каждой милей приближаясь к Мурманску, затем поезд с пересадкой — и архангельская родина. Жизнь готовится к новому витку.

* Служивец в военно-морском флоте, эквивалент «земляку» в сухопутных частях (флотск.).

** Капитан-лейтенант (флотск.).

Василий сидел на корме, на бунте троса, курил. С каждой милей он удалялся от своего острова. А тот давно скрылся за бесконечными изгибами берегов залива. Василий докурил папиросу и бросил в бурун, вырывавшийся из-под винта катера, смахнул с ресницы слезинку. Прощай, Север!

◆ Вечер обмена текущими новостями заканчивался. Наши друзья вышли из гостеприимного заведения. Почти стемнело. Серега заметно покачивался и примеривался остановить «тачку» — добираться до своих Глушанок. Мы же с Николаем Андреяновичем нацеливались на трамвайную остановку у ДК комбайностроителей. В сквере шумела подгулявшая молодежь и не только молодежь. Чей-то пьяный, но политически грамотный голос громко твердил модную в сезоне, переиначенную детскую считалку: «Ладушки, ладушки, где были? — У бен Ладушки!»



«КОГДА УСТАЛАЯ ПОДЛОДКА...»

◆ Николай Андреянович в морозный декабрьский воскресный день от души погулял в парке, благо вход в него в минуте ходьбы от дома, посмотрел на уток в зооуголке, сбившихся в серую толпу на незамерзающей, подогреваемой водопроводной водой из шланга полынье, вовсе с содроганием понаблюдав за подледными рыбаками, тож густо обсевшими свои лунки на среднем и нижнем прудах... Жалея от всей души, что в новейшие времена знаменитую на весь город парковую стекляшку-забегаловку «Снежинка» уже несколько лет как приватизировали и переквалифицировали под стриптиз-бар, Николай Андреянович мысленно взгрустнул: теперь некуда пойти после освежающей прогулки со вкусом выпить стопку водки, перекинуться парой слов с непременно встретившимися там же знакомыми, а домой явиться уже не цуциком замерзшим, а этаким розовощеким молодцем. Эх, времена нынче... Уже смеркалось.

Однако поздний домашний обед подвинул к благодушию: стриптиз так стриптиз — по просьбе, так сказать, трудящихся бизнеса. С часок подремал, а потом уселся за свой рабочий столик, место для которого и полки с оперативного пользования книгами с трудом отвоевал в углу комнаты перед окном с балконной дверью. Занялся своим очередным изобретением — на службе времени на эти дела не оставалось.

Справа раздражающе хрюкал, визжал, порой орал телевизор, который урывками между приготовлением котлет смотрела с увлечением жена. Впрочем, когда звук становился совсем уж громким, выходил из своей комнаты сын и приглушал. Все же боковым зрением Николай Андреянович отмечал помимо воли и желания происходящее на экране: все то же самое, осточертевшее. Америкосы заканчивают свой кровавый спектакль в Афганистане, российские генералы в своих высоченных картузах чуть не взасос целуются-милуются с натовцами, какой-то очередной министр по

части экономики со странно звучащей фамилией требует равняться на Европу: там, дескать, население за энергоносители платит в шесть раз больше. Только забывает, малопамятный, что и зарплата у них и не в шесть, а в сто раз больше! Тьфу!

С кухни завлекающе пахло свежеподжаренными котлетами. Скоро и ужинать. Видно и жене наскучило слушать и смотреть про нерушимую отныне и навек нежную любовь двух великих народов: очень великого американского и несколько менее великого российского, и она переключила на другую программу. В этот момент Николай Андреянович вышел в санузел покурить, одновременно ломая голову: как обосновать в своем изобретении, что изменение форм стабилизаторов не скажется на траекторных характеристиках ракеты?

Решение все никак не приходило, потому изобретатель на какое-то время впал в хандру и скепсис: «И зачем я все изобретаю и изобретаю? Вон Серега Зябликов, на что выдающийся по этой части инженер был, а на все плюнул, в бизнес этот самый пошел, весь день телевизор смотрит, ругает нынешнюю жизнь и портвейн пьет, по революционным праздникам — коньяк.

Вот по инерции и для гимнастики ума изобретаю, заявки на патенты подаю, а кому они нужны? Военная промышленность на ладан дышит, да и патенты сейчас сделали все открытые: читай, потенциальный враг, и делай себе на дармовщину. Потом этими же ракетами и нас долбить будут. Ведь до смешного в этой жизни доходит — сквозь слезы конечно. Америкосы не один миллиард своих поганных баксов потратили, чтобы сделать подводную ракету, которая у нас на вооружении подлодок стоит, но не получается. Так они у московского профессора чертежи аж за шестнадцать тысяч долларов (!!) купили — видно подсчитали сколько душа продажная стоит. Самое интересное, что агента американского, что чертежи купил, через неделю отпустили восвояси. Дескать, болен он тяжело! Народ на работе смеялся: наверное и чертежи купленные ему отдали: частная собственность теперь в России священна!» Вдругорядь за вечер сплонув, Николай Андреянович вернулся к рабочему столу.

Жена, расположившаяся по причине готовности котлет перед телевизором, встретила его словами: «Смотри, за четверть века ни капельки не изменилась!» — на экране за роялем сидела Александра Пахмутова, играла свою новую мелодию. «Не четверть века, а тридцать пять лет она одинаково выглядит», — пробормотал Николай Андреянович, наконец-то придумавший обоснование своей технической идеи. Однако с интересом посмотрел на экран, вспомнил давнее, теплое.

♦ Николка, несмотря на свое «дикое» маячное детство, в школьно-

интернатской среде вовсе был человеком не замкнутым, напротив — очень даже общительным, изобретательным шалуном в меру. Однако все же воспитанная веками в его предках старообрядческая традиция отстранения от того, что в наше время называется «общественной деятельностью», зримо жила в школьнике 2-ой ступени. Поэтому Николка очень озадачился, когда его, ничем особым не примечательного девятиклассника, ближе к концу второй же четверти, а точнее в начале опять же второй декады декабря месяца (в новейшие, постсоветские времена это бы называлось: между ханукой и байрамом), через посыльного юного пионера вызвала к себе в крохотный кабинетик старшая пионервожатая Ирина Сергеевна и с порога огорошила: ушел из школы Николаев из 10 «Б» — его отца перевели на Черноморский флот — и появилась *вакансия* заведующего школьным радиоузелом.

Николка, ожидавший чего угодно, только не подобного начала разговора, примерно сообразил, что означает малознакомое слово, на которые Ирина была большая охотница. Припомнил, что и радиоузел, чаще ребятами и учителями называемый по-военному радиорубкой, по сложной должностной расцеховке входит в сферу забот старшей пионервожатой — в миру учителя литературы в средних классах.

— ...Так вот, руководство школы рекомендовало тебя, сама Мария Ивановна о тебе хорошего мнения, Алексей Васильевич говорит, что в радиоделе ты хорошо понимаешь.

По глазам вечно озабоченной своими хлопотными обязанностями Ирины Сергеевны было видно: не отвертись, голубчик!

Здесь и Николке все стало ясно-понятно: недавно ставшая новым директором школы Мария Ивановна хорошо его знала по урокам русского и литературы, начиная с пятого класса, всегда отмечала изустно прилежание устойчивого «хорошиста» (отличникам она вполне справедливо не доверяла — житейский опыт!). А Алексей Васильевич вел у них радиодело — с девятого класса началось производственное обучение, великий эксперимент времен Никиты Сергеевича; Николка выбрал специальность радиотелеграфиста, поскольку с шестого класса уже дружил с паяльником и радиосхемами. Потому был сразу отмечен зорким мичманом-педагогом.

Хотя предложение было совершенно неожиданным, Николка, собрав мысли и доводы, выделил два противоборствующих момента: с одной стороны, дополнительные хлопоты вовсе не к чему, с другой? С другой — дело представлялось не таким уж и мрачным. Надо сказать, будучи наследником духа все тех же старообрядцев, Николка с детства мечтал о своем «угле», где он был бы единоличным хозяином. А до сих пор получалось так, что этого угла он и не имел. До шестого класса включительно, когда семья жила на маяке, а Николка в интернате, и помыслить о подобном нельзя. И теперь,

когда переехали в Полярный, в тесноте маленького домика Николка делил крохотную спальню с двумя меньшими братишками. А тут — радиорубка с двумя помещениями, соединенными занимательным коридором-лестницей, с отдельным входом, со своим ключом... словом, Николка согласился.

— Вот и замечательно,— обрадовалась Ирина Сергеевна, приписав успех дела исключительно своим педагогическим способностям,— подходи после третьего урока к радиоузелу, я освобожусь и все тебе покажу. А пока подумай о помощнике — положено по штату и по технике безопасности. Да-а, надеюсь, что ты не куришь? И курильщиков *к себе* не пускай!

♦ Помощником Николка, не раздумывая, взял дружка и одноклассника Сашку Белозерова, с которым вот уже второй учебный год обслуживал хозяйство радиорубки. Утром он открывал личным ключом дверь, отведя плотную, звукогасящую портьеру, входил в аппаратную — комнатку без окон — и включал студийный усилитель и приемник «Казахстан», тоже профессиональный, находил музыкальную программу и перед общешкольной линейкой с пяток минут транслировал на все три этажа и пристройку для младших классов лихие песни и марши оптимистичных 60-х годов. Затем за портьеру входила старшая пионервожатая или дежурная в этот день по школе учительница, нередко — завуч или сама Мария Ивановна — в зависимости от категории проводимой линейки. Николка переключал усилитель на микрофон.

Другая часть должностных обязанностей Николки и Сашки относилась к озвучиванию всех школьных вечеров и торжеств, происходивших в актовом зале. Поэтому вторая комната, просторная и с большим окном, располагалась на полтора метра выше уровня пола этажа; от входной двери, мимо портьеры аппаратной, в нее нужно было подниматься по крутой лесенке. В стене, отделявшей комнату от зала, имелась пара отверстий, через которые «крутили картины». Кинопроектор был автономным от Николки, а в роли киномеханика выступал учитель труда. Правда, своего ключа от владений Николки у него не имелось.

Музыку на субботние и праздничные танцы Николка давал от проигрывателя и магнитофона «Комета». Имелась и вторая «Комета», считавшаяся хронически неисправной, но Сашка Белозеров как-то привел подчиненного своего отца, матроса-радиста с техникумовским образованием по специальности, и тот за вечер вернул его в строй действующих. Николка с Сашкой поочередно брали его к себе домой.

Вошедши в роль ответственного за музыку на школьных танцах, а также на музыкальных лекториях, что раз-два в месяц проводили в актовом зале для старшеклассников, Николка еще раз проверил на себе великую правоту пословицы: что бог не делает — делает к лучшему. А именно:

общественное поручение заставило его задуматься, склонного сызмальства к философствованию, о сущности музыки, в частности, музыки современной. Анализировал он содержание грампластинок и магнитофонных записей, что входили в репертуар танцевечеров, но многое давали и беседы с Сашкой Белозеровым, закончившим детскую музыкальную школу.

Беседы свои они вели после уроков, вновь пользуясь невиданной привилегией иметь свое «хозяйство» в строгих школьных стенах. Вообще говоря, для ребят заполярного города с его полугодовой северной ночью, да еще и учитывая оптимистические 60-е годы, школа была не только и не столько официальным местом; она же была их клубом. Теплом почти что домашним веяло в стенах здания еще довоенной постройки... По всей видимости, тем же она была и для большинства учителей, то бишь учительниц, как правило, жен офицеров-моряков, которые постоянно и подолгу отсутствовали дома, находясь в дальних походах, на учениях-маневрах, в длительных командировках на другие флота страны. Флоты в те времена были действующими, корабли у пирсов не застаивались до ржавчины.

Может учительниц, бывших ленинградок, и пугала отчужденность и пустота — без мужей — казенных квартир, потому они и проводили в школе целый день, благо и собственные дети здесь же под рукой: на уроках, в кружках, на ближнем катке, на лыжах на недалекой же горке...

Купив в школьном буфете бутербродов с колбасой и пирожков с повидлом, Николка со своим замом забирались в радиоаппаратах, заваривали в чайнике на электроплитке чай, сняв пиджаки, облачались во фрак (в этой же комнате в большом шкафу хранился реквизит школьного театра), располагались около журнального столика с бутербродами и свежей заварки чаем в покойных креслах из того же реквизита, включали магнитофон со свежими записями — ранее сделанных от приемника в аппаратной или взятыми на время у одноклассников-меломанов.

После пары стаканов чая наступало умиротворение: желудки уже не урчали, дисциплинарная настороженность уроков исчезала, в окно через узоры изморози синел зимний полудень, через киношные окошки из зала доносились, вовсе и не смешиваясь с музыкой магнитофона, негромкие голоса: «театралы» репетировали новую пьесу; предыдущий их «Ревизор» имел шумный успех и даже попал во всесоюзную прессу.

♦ Музыкальные вкусы того времени и для возраста Николки и Сашки Белозерова можно определить как конец эпохи Миллера* с его «Серенадой Солнечной долины» и начала царства битлов. Кстати, достаточно хорошо

* Глен Миллер — американский композитор, погиб в 1944 г. в аварии самолета, направляясь в действующую в Европе армию США — дирижировать военным оркестром.

чувствуя музыку, но не имея голоса, Николка с тем большим интересом слушал в свое время историко-музыкальные уроки Ольги Викторовны — главной в школе преподавательницы пения, которая даже не музучилище окончила, а консерваторию в Ленинграде по музыковедению. А в старших классах и вовсе с удовольствием ходил на музыкально-театральный лекторий ученой музыкантши. Вот и беседуя по теме современной американской музыки, она обратила внимание на отдаленное следование тем же Гленом Миллером русской традиции в композиции и оркестровке. Заинтриговав же ребят, с торжеством пояснила, что Миллер и Джордж Гершвин были учениками русского консерваторского профессора, уехавшего в 20-х годах в Америку.

Впрочем, битлов, равно как и Высоцкого, слушали только «для себя» с записанных-перезаписанных магнитофонных лент и рентгеновских «ребрышек». Отдельные фрагменты мелодий «Порги и Бесс» Гершвина наигрывала кружковцам на школьном фортепиано Ольга Викторовна — когда приходила в наилучшее расположение духа, а также одноклассница Люда, которая не только окончила музыкалку, но и сама уже вела группу в Доме офицеров, то есть профессионально работала, набирая, как она объяснила, трудовой стаж для поступления в консерваторию после окончания школы.

На танцах по субботам народ требовал Ларису Мондрус (тогда еще не уехавшую в Израиль) и гвоздь сезона — американскую «Шестнадцать тонн»; свирельствовал шейк, только-только сменивший чарльстон во втором пришествии...

Иногда расшалившийся к концу танцев Николка, когда дежурная учительница, устав бдить, позевывая, уходила в директорский кабинет, ставил «ребрышки» с «Йес ту дей» Пола Маккартни, и для всеобщей потехи — с официально изданной пластинки занимательную песенку в исполнении Эмиля Горовца, начинавшуюся словами: «Из Европы, путь проделав длинный, к нам в Нью-Йорк приехала кузина». Далее Горовец проникновенным голосом распевал, как к кухне сватались всем Брайтон-Бичем, но итог для нее оказался печальным: «Попался ей жених некстати, все ее приданное истратил. Говорят, жених-то был женатым, говорят, что шестеро детей». На этикетке грампластинки имелся подзаголовок: «Народная еврейская песня».

...А по радио, по телевизору звучали бодрые, волнующие душу неясными устремлениями песни Пахмутовой. Они-то Николке больше всего нравились. Что же касается все расширяющегося психоза битлов, то уже в более зрелом возрасте, вовсе не опираясь на разъяснения агитпропа, но только на собственное восприятие и анализ последствий битломании, Николай Андреевич пришел к выводу: если бы ливерпульской четверки не

было, то ее следовало выдумать — придумать тем, кто совершил великую диверсию против человечества, с помощью (хотя бы и невольной) «жучков» свернув массовую и отчасти элитарную музыкальную культуру с магистрального пути мелодичности и гармонии на голый ритм, то есть повернув ее вспять, к доисторическим там-тамам, негрским пляскам и ночным воплям джунглей.

Когда, выпив рюмку-другую под благодушную закуску, Николай Андреевич излагал свою теорию-приговор друзьям-приятелям или сослуживцам — из числа тех кто поумнее, — то те поначалу усмехаясь, недоумевали или откровенно обижались за кумиров всего мира, но, поразмыслив, в основном соглашались. Если собеседницей оказывалась девушка-женщина, то она широко открывала накрашенные глаза, чему-то пугалась и переводила разговор на служебное или житейское.

◆ Надо сказать, что с началом десятого класса забот у Николки прибавилось и весьма значительно. Как всегда в этот период истории страны, виновен в том был Никита Сергеевич, как ранее виновен был в Карибском кризисе (так злые языки утверждали) и особенно в сокращении Советской армии на миллион двести тысяч военнослужащих. Их города, как чисто военного, то и другое коснулось чувствительно. В Карибский кризис весь Северный флот, включая все вспомогательные посудины, ушел в сторону Острова свободы, поэтому жены и дети моряков, то есть почти все учителя и ученики школ, целый месяц волновались. Но сокращение армии и флота, хотя последнее в меньшей степени, стало ударом ниже пояса: многие ребята и даже учительницы навсегда покинули Полярный — вслед за уволенными с неполной пенсией отцами и мужьями. Но разве понять и осознать было неразумным школярам, что означало сокращение для тех капрангов и полковников, на которых уже были в штабах флотов и военных округов заготовлены проект приказов о присвоении адмиральских и генеральских званий? — Ведь генерал в России (в СССР тож) это не звание, а счастье, — так сказал в новейшие времена герой одного фильма из бандитской жизни...

Но вот неутомимый сеятель маиса от Калининграда до Камчатки добрался и до Николки и его однокашников: было объявлено в завуалированной форме, что эксперимент с 11-летним сроком обучения не удался, а система образования возвращается к проверенной временами десятилетке. Самое паскудное, что в следующем, выпускном для Николки и его товарищей учебном году ожидается двойной выпуск: и одиннадцатиклассник Николка, и стоящие рангом намного ниже десятиклассники — все получают аттестат одновременно. А это значит, что конкурсы в институты-университеты, без того немалые в середине 60-х годов, возрастут вдвое.

Было о чем задуматься ребятам и их родителям; в первую очередь, конечно, ребятам, ибо в те времена выпускники сами поступали в вузы, а *не родители их поступали* (так сейчас говорят).

Хотя Николка учился хорошо, почти отлично, а по литературе, немецкому языку и химии, которую очень не любил, и вовсе шел по школьному первому номеру, но, будучи истинным провинциалом из Заполярья, сильно мандражировал, тем более, что тогда лелеял мысль о престижнейшем МФТИ*; очень его интересовали тайны атомного ядра, а еще более — атомной бомбы, которой Никита Сергеевич обещал империалистам кузькину мать показать...

Выход из ситуации подсказал ему отец. По переезду семьи с маяка в Полярный, Андреян устроился работать старшим электриком — по маячной специальности — в Дом офицеров флота. Вот он и завел как-то разговор: дескать, твоя одноклассница Люда уже второй год по музыке у нас работает, стаж зарабатывает, а кто имеет не менее двух лет трудового стажа, того в любой институт помимо конкурса принимают. А вот и кстати его подчиненный, электрик Генка увольняется, тебе же паспорт в мае получать (разговор этот происходил в конце учебы Николки в девятом классе)... Давай, поговорю с полковником Зинченко, начальником ДОФа, а работать будешь во вторую смену, с четырех часов; придешь из школы, переоденешься, пообедаешь, а уроки на работе сделаешь — там тебе нужно-то будет только сцену освещать на концертах, да лампочку-другую сменить, пройдясь по этажам. Все остальное — за мной. Подумай.

Николка особо и не думал, потому согласился и уже с середины летних каникул между девятым и десятым классом влился в ряды пролетариев. Первая в его жизни работа оказалась настолько занимательной, что... впрочем, эта тема отдельного повествования.

Итак, русский человек неприхотлив и счастлив врожденным умением из всякой доуки и обязаловки делать себе и окружающим приятность; истинно, переиначивая пословицу: что немцу смерть, то русскому удовольствие.

Службу в Доме офицеров Николка начал с трудового подвига: обнаружил при досмотре в коридоре, ведущем в котельную, полузалитый водой потолочный плафон. Притащил лестницу и стал этот плафон снимать, а тут его заметил сам полковник Зинченко, проходивший по своим делам на траверсе котельного коридора. Поинтересовался у нового работника, а тот красочно расписал возможные последствия короткого замыкания, если бы вода достигла уровня патрона лампочки. Полковник Зинченко восхитился; с того момента Николка получил статус «серьезного и вдумчивого

* Московский физико-технический институт.

работника», а в его трудовой, совсем еще новенькой, книжке появилась и первая запись в разделе поощрений. Поскольку запись диктовал кадровичке в приказ непосредственный начальник Николки — завхоз ДОФа (со слов полковника Зинченко), человек незамысловатый, но очень любивший употреблять официальные слова, да еще вдобавок и в легком подпитии, то Николка, читая врученную ему кадровичкой копию приказа, даже слегка оробел: по своему содержанию и стилю исполнения приказ соответствовал представлению на боевой орден...

Однако через неделю наш герой впал в конфуз. Приехала с «концертом памяти» уже тогда престарелая бывшая кинозвезда Нина Дорда. Николка, стоя на лестнице на сцене, менял сгоревшую трехсотваттную лампу в верхнем софите, а прямо под ним у рояля перебирала с аккомпаниатором ноты сама Дорда. Менять лампу в верхнем софите — дело очень неловкое, поэтому неудивительно, что вывернутая перегоревшая лампа выскользнула из руки и упала прямо на голову экс-кинозвезды. Та отделалась легким испугом, ибо на голове у нее был надет пышный шиньон — по моде тех лет. Дорда, еще раньше отметившая молодость электрика, нестрого погрозила пальчиком, но на всякий случай, пока Николка возился с софитом, отошла подальше.

Принимая Николку на работу, кадровичка провела с ним инструктаж, особо оговаривая, что ДОФ — это военная часть со всеми вытекающими отсюда обязанностями, и дала ему подписать заполненный типографский бланк, называвшийся «Торжественное клятвенное обязательство». На словах же пояснила, что ему придется обслуживать не только оперы и концерты гастролеров, но и большие собрания флотских соединений с присутствием командования флота. Там говорится иногда то, что всей школе и городу знать не положено. «Уши тебе затыкать, конечно, не следует, но услышанное держи при себе, в чем ты и дал сейчас расписку», — напутствовала его добрая кадровичка на трудовой подвиг в военно-морском учреждении.

И действительно, как в воду глядела добрейшая Варвара Степановна. Не проработал Николка в ДОФе и трех месяцев, как однажды, в начале октября, придя на работу, Николка был удивлен обилием высоких морских чинов, молча прохаживавшихся по бесконечным коридорам учреждения. А на входе стояли два матроса с дежурными повязками на рукавах бушлата. Они было загородили пацану вход, но из окошка караулки высунулась голова Натальи Васильевны, комендантши на правах охранницы и смотрительницы за внутренним порядком:

— Ребята, это наш, пропустите.

Уже в своих владениях под сценой Николку навестил незнакомый каплей, не из ДОФовских, с погонами политработника, поинтересовался

именем и фамилией юного электрика и порекомендовал никого из посторонних, друзей и пр. к себе в электробудку, а тем более в оркестровую яму, не выпускать. С тем и ушел.

Понятно, что после таких строгостей Николка, включив верхний свет в зале и на сцене, не остался в уютной своей электробудке делать уроки, а все долгое собрание офицерского состава всех эскадр, базировавшихся в Полярном и в окрестных «точках», просидел в оркестровой яме, правда, заперев входную дверь изнутри на ключ.

♦ Экстренное собрание, как сразу сообщил председательствующий адмирал, вызвано «известными изменениями в руководстве страны». Понятно, что Николка еще утром, собираясь в школу, слышал по радио об уходе Никиты Сергеевича со всех своих постов по состоянию здоровья — на пенсию всесоюзного значения. В школе тоже никто не комментировал, да это и не принято было.

Однако адмирала, затем заместителя начальника политуправления Северного флота и еще некоторых выступавших Николка слушал с раскрытым ртом. Говорили о сложной внешнеполитической ситуации, с которой генсек не справлялся, о его волонтаризме (чуть позднее в школьные учебники истории и обществоведения к волонтаризму добавили таинственный пробабиллизм), крупно мстили свергнутому за главную боль армии — знаменитое и достопамятное сокращение миллиона двести тысяч человек. Осторожно хвалили вновь избранного генсека — Леонида Ильича Брежнева, боевого офицера, хорошо себя проявившего на высоких хозяйственных и партийных постах. Каждый из выступавших в заключении рекомендовал командирам и политработникам провести основательные собеседования с младшим офицерским составом, старшинами, мичманами и матросами.

Собрание закончилось. Николка выключил свет в зале и на сцене, оставив только боковые дежурные плафоны. Его заботы о сложном электрохозяйстве Дома офицеров на сегодня закончились; семичасовой вечерний фильм в зале обслуживал киномеханик — в его рубке имелась параллельная сеть включения-выключения света в зале. Расположившись в своей уютной электробудке, Николка скушал домашний пирожок, внимательно выслушал в последних известиях сообщения о событии номер один за последние дни (Хрущева он относил ко второму номеру): успешно продолжающемся околоземном полете космического корабля «Восход» сразу с тремя космонавтами на борту.

Посвященный на собрании, Николка уже и не слушал скудного, с утра повторяющегося сообщения диктора о внеочередном пленуме ЦК КПСС и появлении в стране нового персонального пенсионера. Он усмехнулся: знаем, мол, какой-то такой пенсионер! Собрался было взяться за уроки, но

тут из экономно-темного коридора, что сложными ходами выводил из-под сцены в малый холл ДОФа, осторожно выступили и заглянули в приоткрытую дверь электробудки два капитана второго ранга. Предупредительно кашлянув, один из них поинтересовался, сославшись на знакомство с Андреем Матвеевичем, не очень ли они помешают, если разопьют бутылочку в электробудке? Николка радушно показал на стол с графином с водой и стаканами, сам пересев с учебником на диванчик.

Офицер опасливо покосился на дверь, но Николка заверил, что никого не ждет, а начальство Дома офицеров уже дома ужинает.

Судя по тому, что кавторанги нарушали строжайший в зоне дислокации флота сухой закон с использованием «зубровки», Николка мигом сообразил, что спиртным подторговывает кладовщица буфета Зина; именно ящик с такой вот «зубровкой» он заприметил давеча в кладовой — Зина попросила заменить перегоревшую лампочку.

Расслабившись, офицеры с разрешения хозяина закурили, начали обмениваться впечатлениями на злобу дня. Отметили, что «Никиту пас в Пипунде сам двадцать седьмой бакинский комиссар Микоян», говорили о все возрастающей роли Михаила Андреевича Суслова, странном поведении во всем этом деле минобороны Малиновского. А Семичастный?..

Николка — с его ясной юной памятью — припомнил читанное в газетах: в ноябре готовился пленум ЦК, где должна была обсуждаться новая конституция СССР. Какая-то мысль на этот счет вертелась в его голове, но воспитание не позволяло вступить в беседу со взрослыми.

...К концу бутылки капитаны сошлись на том, что предательство безнаказанно не проходит: Хрущев предал дело Сталина и его соратников, а за это и его самого предали. С этим офицеры встали, поблагодарили Николку и ушли в темноту коридора. В зале началось кино, которое Николка уже смотрел, потому взялся за физику с алгеброй.

♦ Убей, Бог, но Николай Андреевич, как ни силился, но за давностью лет никак не мог вспомнить: было это еще в десятом классе или уже в одиннадцатом, когда по вечерам, включая рабочую в то время субботу, он уже не мог обслуживать школьные танцы, перепоручая это дело Сашке Белозерову? Но не в этом суть, ибо дело проходило днем, когда он был полным и ответственным хозяином школьного радиоузла.

В тот день, кстати говоря, раннеосенний... нет, значит это все же был десятый класс. Итак, в этот день Николка собирался после уроков сразу идти домой, поскольку Сашка Белозеров составить ему компанию в послеурочной сиесте в радиоузле не мог, ибо вообще второй день не появлялся в школе по причине температурной простуды. Опять же никаких мероприятий в этот день, связанных с озвучиванием, не предвиделось. Однако в

свою «квартиру» все же зашел — забрать домой пару магнитофонных катушек — в этот месяц отремонтированная «Комета» находилась у него.

— Вот хорошо, что застала тебя,— Николка вздрогнул от голоса бесшумно вошедшей Ирины Сергеевны,— а я боялась, уйдешь домой! Слушай, Коля, директору позвонили: через полчаса у нас будет Пахмутова с Добронравовым. Они сегодня на подводной лодке с нашей базы в море выходили, ну-у, не в море, а так, по заливу прошлись, а сейчас им рояль нужен. Как назло, в ДОФ настройщика из Мурманска привезли, ремонт тамошнему инструменту задал, вот к нам и обратились. Ты жди, свет им включишь, может магнитофон понадобится... я не знаю, но Мария Ивановна просила — тебе остаться.

Оставшись один, Николка заволновался и по двум причинам сразу: во-первых, боялся, что именитые гости, как люди творческие и увлекающиеся, облюбуют рояль надолго, а он может опоздать на работу в ДОФ (вот теперь Николай Андреевич точно вспомнил: дело было в десятом классе), во-вторых, все дело в той же именитости; Николка заранее оробел. Конечно, пусть за небольшое, но время работ кой-кого из известных артистов и прочих людей творческих профессий он повидал, по привычке: та же Дорда, которой он лампочку на голову уронил; популярный в школьной среде поэт Андрей Вознесенский, приезжавший на литературные гастроли, заходил к нему в электробудку в неизменном своем шарфике на шею (он уже ранее в ней бывал — в прошлый приезд), спрашивал Андреяна, а потом попросил разрешения воспользоваться стаканом: налил в него из плоской бутылочки коньяка, выпил, пояснил: приходится, дескать, в медицинских целях, чтоб сгладить остатки заикания... Многие в электробудку к Николке за время его работы заходили: ближайшее к сцене помещение, а потом для людей театральных электрик — самый доверенный человек. Это у них в обиходе.

...Однако в ДОФе Николка был членом коллектива, на службе, приезде знаменитости и не совсем — тоже. А здесь он как бы будет представлять лицо школы, один-на-один с ними остается. Было Николке от чего разволноваться.

И третий момент его волновал: если придется к гостям обращаться — как их отчества? Действительно, по радио и телевидению их по принятому в отношении творческих людей называли только по именам: Александра Пахмутова и Николай Добронравов. Покопавшись в памяти, но неуверенно он вспомнил, что Пахмутова — Александра Николаевна, а вот Добронравов так для него и остался без отчества.

Минут через двадцать через киноокошки из актового зала донеслись голоса, Николка прильнул к окошку: на входе в зал стояла хорошо знакомая по телеэкрану очень маленького роста женщина — Пахмутова, полно-

ватый мужчина явно был Добронравовым. Они разговаривали с Марией Ивановой, а старшая пионервожатая показывала рукой на противоположный конец зала, где на сцене, полуприкрытый занавесом, стоял рояль. Продолжая беседовать, вся группа двинулась к сцене. Ирина Сергеевна отодвинула занавес, включила свет на сцене, хотя в зале было светлым светло. Пододвинув стулья к роялю, гости уселись. Николка рассмотрел, что Добронравов вынул из-за пазухи пиджака узкий и длинный блокнот. Директорша и Ирина пошли на выход. Через минуту-другую пионервожатая зашла к Николке:

— Магнитофон им не нужен, зал я потом сама закрою. Так что можешь быть свободен, а хочешь — послушай, ведь они сейчас будут музыку новой песни подбирать — по впечатлениям от плавания на подлодке. Добронравов сказал, что стихи к песне он начерно еще на лодке записал. Так что будешь первым слушателем! Я бы и сама здесь осталась, да Мария Ивановна, как назло, малый педсовет в два часа собирает. Ну, я пошла. Счастливо оставаться.

♦ Николка поуспокоился, сердце чувствительное послушалось и тоже забилось пореже. Он присел на высокий стул-треногу киномеханика; с него можно смотреть через окошко не задирая голову и не вытягивая шею. Занятия второй смены начались, потому в школе стояла тишина, а акустика актового зала позволяла Николке хорошо слышать не только звуки рояля, но и звонкий голос Пахмутовой, даже отдельные тихие слова Добронравова различал.

Закончив разбираться с записями в блокноте, причем Добронравов активно чиркал в нем, оба развернули стулья к роялю — Пахмутова по центру, Добронравов сбоку. Прозвучала долгая первая нота. Затихло. Затем прозвучала вторая — тоном пониже, потом еще одна — повыше первой. «Как артиллеристы цель нащупывают,— подумал Николка,— недолет, перелет и цель!»

После паузы и обмена короткими репликами прозвучала в выбранной тональности уже фраза, хотя и короткая. Полуречитативом Александра Николаевна протянула: «На пирсе ти-и-хо...» Эту музыкальную фразу, сопровождаемую текстом, она повторила раз пять. Затем фраза и текст удлинились: «На пирсе ти-ихо в час ночной...» И опять несколько повторов, с каждым из которых музыка принимала все более и более законченный вид. Как музыкально непросвещенный школьник понимал, что она приобретает именно законченную форму? — Этого он объяснить не мог, но понимал. Далеко не все в музыке можно пояснить словами и понятиями. Когда уже шибко взрослый Николай Андреевич прочитал основной труд Шопенгауэра, то раздел «Мира как воли и представления» о сущности музыки

потряс его и привел в полный восторг. И читая староизданный том, он сразу вспомнил то первое, юношеское сопричастие к творчеству в музыке. Но — это все сначала в светлом советском, а потом и вовсе в темном демократическом будущем...

Меж тем песня приобретала законченную форму. Как тотчас сообразил Николка, эмоционально-смысловым центром произведения являлась строка: «Когда усталая подлодка из глубины идет домой». Николка прикрыл глаза, представил спокойную гладь прибрежного моря, отсвечивающее неяркие лучи летнего, незаходящего солнца, огромным багровым шаром зависшим над горизонтом, где это тихое море сливается с небом. Тишина, покой и нежаркое солнце. Николка с веранды маячного дома смотрит прямо на солнце, а справа и слева от багрового шара — крутые скалистые берега, выпускающие Кольский залив в море.

Но вот Николка уловил далекий, колотящий звук, а напрягши зрение, увидел, как на входе в залив появилась серая точка — всплыла подводная лодка, возвращающаяся из дальнего похода, а колотящий звук — это включенные на всплытии дизеля. Время ускорилося и вот уже подлодка, бокастая, атомная, напичканная крылатыми ракетами, проплывает мимо острова с опершимся на перила веранды Николкой: усталая, прошедшая два-три месяца под водой океана, а на мостике рубки сменяют друг друга моряки: поглядеть на забытый свет, в лихорадочной торопливости выкурить забытую уже сигарету — и уступить место такому же страждущему товарищу, «годку» по-флотски...

А дальше Николка, не открывая глаз, перенесся в бухту Ягельную, прямо на пирс 4-ой точки — военного городка подводников. Та же светлая летняя ночь. Тихо стуча на самых малых оборотах дизеля, усталая подлодка приближается к пирсу... «на пирсе тихо в час ночной».

Николка открыл глаза и посмотрел в окошко: судя по всему, Александра Николаевна записывала ноты. Закончив с нотами, вновь повернулась к роялю и проиграла-пропела уже всю песню: «На пирсе тихо в час ночной...»

Посмотрев на часы, Николка спохватился: времени дойти до дома, наскоро поесть и обратным ходом в ДОФ, — оставалось в обрез. Песню, первым слушателем которой он был, исполнили по радио через пару недель. Пел известный певец.

♦ Николай Андреевич переписал начисто откорректированную формулу изобретения. Остальное, то есть составление описания, было делом механическим, на работе доделает, когда устанет чертить. Супруга, также доделавшая кухонные дела, то есть испекшая пирожков с капустой и картошкой, в чем была большой искусницей, щелкала пультом, переключая канал телевизора: всюду скакали с воплями какие-то немыслимые уродли-

вые рожи, здоровенные негритосы в голливудских боевиках взводами и ротами расстреливали белокожих полицейских и прочих законопослушных граждан; на одном канале вкрадчивый политдеятель с физиономией потомственного дегенерата убеждал в экономической мудрости партии (демократической) и правительства. Еще на одном экране усталый и разочарованный в жизни коммунистический лидер лениво отбивался от телеведущего с веселым именем Славик Шустрик, а на соседней «кнопке» пузатый и молодой генерал — рост метр пятьдесят, а с фуражкой и под все два — аргументировано доказывал, что именно он предназначен богом и судьбой быть президентом крохотной сибирской республики, бывшего национального автономного района...

Генералом Николай Андреянович почему-то слегка заинтересовался, но того сменил осанистый поп в праздничной малиновой рясе, сообщивший, что-де России очень повезло с нынешним ее руководством: люди там собрались *неистово* верующие.

Николай Андреянович отдал пульт жене, мимоходом подумав: много каналов теперь на телевидении, да все какие-то кособокие, с воровским уклоном. Ушел на кухню и с возобновившимся аппетитом скушал полную тарелку пышущих жаром духовки пирожков, предпочитая которые с капустой. Затем вернулся в комнату и прилег на диван, отвернувшись от телевизора: на экране страшная образаина в очках и видом напоминавшая типичную школьную заучиху, вела популярную в этом сезоне игру «Как украсть миллион». Супруга с интересом смотрела; женщины, даже самые благовоспитанные, очень любят дармовые деньги.

Полуприкрыв глаза, Николай Андреянович вернулся к теме, навешанной далеким воспоминанием.

Справедливым будет отметить, что, в соответствии со всеми законами физиологии, открытыми на заре Советской власти И.П. Павловым, с возрастом в части восприятия музыки с Николаем Андреяновичем ничего не изменилось, то есть слушал он ее с удовольствием и правильно понимал: где музыка, а где малоосмысленный набор звуков. Со временем хорошо изучил классику, а так называемая «легкая музыка», то есть эстрада и все эти, постоянно нарастающие ВИА-группы, малопопулярные в стране — до демократов — западные «звезды» — это и само в уши лезло. А про последние десять лет ушедшего века и говорить нечего: телевизор выбросить в окно? — Жена не позволит, ибо женщины, пенсионеры и дети уже нагло тались этого опиума, не оттянешь за уши, не перевоспитаешь.

Еще отметил Николай Андреянович, что на ТВ музыкальное неистовство почему-то нарастало к концу каждого года, особенно сейчас — в декабре: от хануки до байрама, далее до рождества католического, а там уже и Рождество Христово Православное...

Видно супруга, еще в полной мере не отошедшая от горячечной суеты с печением пирожков, нажала на пульте не ту кнопку, потому телевизор взревел звуком и монотонным полуречитативом: «...В желтой подводной лодке мы живем, в лодке мы живем, в лодке мы живем». Упоминание про подлодку Николаю Андреяновичу даже и понравилось бы, но желтый цвет он не любил, потому раздраженно порекомендовал супруге убавить звук. «А я думала — ты уже заснул», — наивно удивилась она, но звук убрала. Заодно и канал переключила.

Николай Андреянович полагал себя консерватором в самом здравом смысле слова. Отсюда и его твердые, никем не навязанные, самолично выработанные на жизненном пути принципы, в том числе и в восприятии различных искусств, музыки и живописи в первую очередь. Проще всего дело обстоит с живописью; здесь Николай Андреянович рассуждал с римской прямолинейностью: если художник умеет рисовать, то он и изображает на своих полотнах людей, как они есть в жизни, точно также животных, деревья, корабли... А если он малюет черные квадраты, кучи угадываемого с трудом дерьма, уродов непонятных, да все это нечетко, грубыми мазками, вместо кисти пользуется дворницкой метлой, а то и просто растопыренной пятерней — это вовсе не художник, а прохиндей, расчетливый делец от так называемого модернизма, кубизма и прочего футуризма. С музыкой же было сложнее, потому Николай Андреянович сосредоточился и постарался сделать для себя некие выводы. Он многожды пробовал собрать в этом вопросе воедино свои размышления, но сегодня вроде как расставил все точки над «и».

♦ Почему в настоящее время сосуществуют музыка и та воинствующая дребедень, которую вернее всего называть антимузыкой? Более того, антимузыка в так называемом «цивилизованном мире» господствует полностью. Но разве это удивительно с позиций эволюционных? Возьмем самое разумное на Земле — человека. Разве до настоящего времени дошел человек, прошедший *последовательно* и строго все ступени эволюции *homo sapiens*?

Николай Андреянович хорошо учился в школе, а биология — особенно в части происхождения человека — входила в число любимых предметов. Именно поэтому, спустя десятилетия, он живо помнил картинки из школьного учебника, изображавшие дедушку человека — неандертальца и непосредственного отца его — кроманьонца. Помните, наверное, и вы: неандерталец — этакий увалень, что в народе зовут сибирским валенком, со здоровенной башкой, низким, заросшим лобешником, с плоским затылком. А вот кроманьонец — почти уже человек, можно даже уточнить: восточный человек, юркий, подвижный, со смыслеными, верткими глазками,

высоким, хотя и несколько покатым лбом, затылок — тыковкой. Словом — наш человек, только бедный очень, нет денег в цирюльню забежать да в магазин готового платья...

И действительно, приглядитесь со вниманием к окружающим вас и просто случайно встречным людям, всматривайтесь в мелькающие на экране телевизора лица заморские — вы придете к парадоксальному выводу: независимо от национальности, расы, степени пресловутой «цивилизованности», географического места проживания, словом — независимо ни от чего, все типы делятся на две основные группы; в одной из них четко прослеживаются потомки неандертальцев, в другом — несомненно кроманьонцев. Понятно, согласно законам генетики, как их не перекрещивай, все одно нечто усредненное не получится.

Николай Андреевич вдохновенно детализировал свою теорию. Попробуйте проанализировать профессиональную принадлежность потомков неандертальцев и кроманьонцев? Получится весьма любопытная картина. К первым относятся (опять же независимо от национальности) по преимуществу уголовники-рецидивисты, профорги и парторги крупных предприятий*, генералы и маршалы, ротные старшины, милиционеры-гаишники, завскладами и кладовщиками, шоферы-дальнобойщики, женщины-прокуроры, буфетчицы, продавщицы продовольственных магазинов, изобретатели вечных двигателей и пр.— то есть люди, обладающие гигантской волей, которая у них верховодит над разумом (который, конечно, у них также имеется) и эмоциями.

Ко вторым же по-преимуществу относятся люди искусства, гуманитарии, ученые, рабочие со средним образованием, воры-карманники, инженеры, истеричные дамы, шулеры высокого полета, университетские преподаватели. Их отличительной чертой является как раз наоборот: преобладание разума и эмоций над волей, несколько ослабленной.

Раз заинтересовавшийся им же сделанным открытием, Николай Андреевич не поленился сходить в областную библиотеку, порылся в каталоге и взял для домашнего прочтения книгу по исторической антропологии. С восторгом вычитал он, что эпохи неандертальцев и кроманьонцев пересекались. Они сосуществовали в исторических и географических ареалах, но что взяло современное человечество от тех и от других — об этом ученые авторы книги ничего сказать не могли, мысленно разводили руками. Однако, Николай Андреевич на этот вопрос ответ уже знал.

Попутно он существенно дополнил и френологическую теорию Чезаре Ломброзо. Об этой теории, не вдаваясь в обсуждение ее сути, неодобри-

* Свою теорию Николай Андреевич развивал еще в советское время, отсюда и название исчезнувших в новейшее время профессий и увлечений.

тельно отзывались в отечественных учебниках физиологии и солидных монографиях, дескать, если у человека низкий лоб и плоский затылок, то не совсем обязательно это преступный тип... может быть даже и наоборот.

Николай Андреевич созвонился с давней своей знакомой — доцентом философии местного пединститута, у которой имелась роскошная наследственная библиотека, и уже на следующий день бережно переворачивал пожелтевшие страницы дореволюционного издания тома. Все правильно написал знаменитый психиатр и психопатолог, но не объяснил эволюционную причину наследственного разделения людей по их наклонностям, совпадающим со строением черепа. Николай Андреевич придал теории Ломброзо логическую завершенность.

...Итак, по планете рассеяны потомки неандертальцев и кроманьонцев. И смотря по тому, в ком преобладает генотип того или другого, формируется и индивидуальный характер с преобладанием воли или эмоциональной чувствительности, склонности и рефлексии, учености в том числе.

А какое отношение к музыке имеют эти биологические теории? — А прямое, самоутверждался наш герой.

Вся история развития музыкального искусства от примитивных свистелок до высшего развития симфонизма есть совершенствование гармонического строя. Музыка Вагнера и венской школ, русская классическая опера XIX века, а под несомненным влиянием последней и феномен Грига — это вершина гармонической музыки. В России, то есть уже в СССР, в лице живого классика Свиридова гармоническая традиция в высшем ее развитии продолжилась почти до самого конца XX века.

Но с конца века девятнадцатого замечается развитие внутри гармонического симфонизма постепенное усиление ритмики. В следующем веке ритмика уже торжествует, например, у Шостаковича, да и у Прокофьева тоже. Как положено, появился и теоретик ритмизма в музыке — Арнольд Шёнберг.

♦ Этот самый Шёнберг подарил наступившему веку XX и всему человечеству додекафонию, то есть двенадцатитоновую музыкальную систему, полностью отвергавшую гармонию. С того времени вся западная классика молится на Шёнберга.

В легкой музыке в XX веке гармония и ритмика в приятном для слуха сочетании держалась достаточно долго. Передовым бойцом здесь оказался джаз. В умной Советской стране были и дураки; к последним первоочередно следует отнести агитпроп и минкульт. Обладай они хоть средним умом, то не плевали б на джаз, а заполнили джазбандами все эстрады от Бреста до Камчатки — по горизонтали, от Земли Франца-Иосифа до Кушки — по вертикали (если размышлять, глядя на карту 1/6 суши Земли).

Против искусного саксофона, аранжированного вспомогательными инструментами и мужественным, хорошо поставленным голосом, не устояли бы безголосые певцы и певички, отвратительно тренькающие электрогитары и вершина музыкального суррогата — синтезатор. Все-таки Россию губят даже не дороги (национальный транспорт России-СССР — танк* грязи не боится!), но исключительно дураки. Про новейшие времена и говорить не приходится: покрой всю страну от Земли Франца-Иосифа... (см. выше) немецкими автобанами или штатовскими федеральными магистралями — уже ничего не изменишь.

С джазом или без джаза, но в СССР до его разрушения силами Мирового зла гармония еще как-то сдерживала натиск ритма, но в остальном (западном) мире, как уже сформулировал ранее Николай Андреевич, смертельный удар по гармонии в популярной музыке нанесли жучковатые битлы. И понеслось!

Далее наш музыковед-любитель сделал основополагающий вывод: гармонию, адекватную самой эволюции человека разумного, к концу века и тысячелетия отеснил голый ритм, присущий человеку на самых ранних ступенях его развития, а в наше время сохранившийся только у диких африканских племен. А вторгся он в современный мир через негритянскую музыку в США: отсюда и Шенберг, отсюда и битлы (джаз не в счет).

Другой вопрос: естественный это процесс или кому-то очень нужно? Николай Андреевич склонялся ко второму, связывал это с одним из стратегических направлений деятельности сил Мирового зла, кардинальная цель которого: превращение основной массы человечества в скотов с минимальными духовными потребностями, апологетов набитого желудка и кармана, которых интересует только эта самая жратва, койка, доступные бабы и — все. Таким скотом крайне легко управлять, двигая в нужных направлениях. Мелкобуржуазная биомасса и только.

И подобно тому, как человечество и ныне представлено потомками неандертальцев и кроманьонцев, так и в современной музыке сосуществуют воинствующий ритм дикарей и облагороженная веками и тысячелетиями гармония.

...Николай Андреевич таки вздремнул от умственного усилия, но его легонько тронула за плечо супруга:

— Рано еще, не засыпай, а то всю ночь ворочаться будешь. Съешь-ка еще пирожков.

* Очень умный анекдот на эту тему: Собрались в кучку американец, француз, немец и русский (т.е. советский). Разговаривают о транспорте: кто и на какой машине ездит на службу, к любовнице и за границу. Доходит очередь до русского: на работу, дескать, на трамвае удобно ездить; к любовнице пешком хожу — рядом живет, а за границу я выезжаю, как все нормальные сограждане, на танке!

Николай Андреянович повернулся лицом к комнате, с интересом посмотрел на тарелку с горкой пирожков, на свежесваренный чай в личном стакане с подстаканником. Все это супруга поставила рядом с диваном на низенький столик. Занялся делом. Поневоле смотрел и на экран телевизора. Все каналы крутили музыку. Сначала юная татарка из Бугульмы, дочь нефтяного короля тех мест, спела искусственно прерывистым слабеньким голоском невесту о чем. А вслед за ней вскочил таким чертом некто лохматый, раздрыганный, в цыганской рубахе без опояски и звенящим голосом запел нечто двусмысленное, явно относящееся к половым извращениям: «...Каждый хочет любить: югославский солдат и английский матрос, каждый хочет иметь и невесту, и *друга*».

Николай Андреянович легонько мотюгнулся и потребовал переключить на другой канал, а там Боярский в своей знаменитой шляпе мелодично гнусил о зеленоглазом такси... На смену ему вышел голливудский мальчик Басков и спел про шарманку. Николай Андреянович поуспокоился, докушал пирожки и принялся за чай, с удовольствием обнаружив с стакане и лимонный кружок.

Этой ночью ему приснился хороший сон из детства-юности на Севере. По тихой глади залива неторопливо шли крейсера и эсминцы, которым почтительно уступали форватер сухогрузы и рыбацкие сейнеры. Из упрянтанных в расщелинах береговых скал губ-фиордов с дизельным стукотком выходили крутобокие подводные лодки. Во всех направлениях между островами сновали быстрые катера. Жизнь была ключом светлой полярной ночью. «На пирсе тихо в час ночной...»



ГОСТИ НА СЕВЕРЕ

*Бревенчатые пирсы. Серый блеск
натянутого Кольского залива.
Мыс Мишуков. Желтеет редкий лес,
но выглядит он слишком неправдиво.*

Виктор Тимофеев

♦ Гости на Севере, имеются в виду не соседи по дому, улице или городу, а настоящие гости — родственники, давние сослуживцы, друзья детства и юности, которых жизнь разбросала по необъятной Советской стране,— столь же редки и дики были во времена проживания Николая Андреяновича в Заполярье, как и в нынешние дни завершения великих реформ от Чубайса и К°. То есть следствия одинаковые, но причины глубоко различные. Если в сегодняшнее время рядовой инженер на месячную зарплату от Москвы до Ленинграда, или как он там теперь называется, не доедет, а студент некоммерческого вуза на месячную же стипендию только от Тулы до Москвы и обратно сумеет провояжировать, то в прежние годы вопрос о стоимости проезда вовсе и не стоял. За тридцатку — стоимость пары приличных мужских туфель — тот же рядовой труженик кульмана мог с комфортом и «Аэрофлотом» преодолеть шесть часовых поясов, то есть совершить четверть кругосветного путешествия. Студент же с его льготами и вовсе на единоразовую стипендию мог всю страну с запада на восток проехать.

Нет, вовсе не копеечная стоимость железнодорожного, авиационного, речфлотовского или морфлотовского билета препятствовала гостеванию калужских родственников Николая Андреяновича на скалистых островах за Полярным кругом. Вовсе нет. Мог, конечно, дядька отца Николая Анд-

реяновича, пенсионер по части железнодорожного ведомства Мирон доехать до Мурманска вовсе бесплатно, как льготник МПС (один раз в год в любую точку СССР, до которой дотянулись рельсы — туда и обратно), а дальше надо следовать до Полярного рейсовым катером, а перед трапом, что соединяет пирс с бортом этого катера, стоят два здоровенных матроса с красными повязками на рукавах бушлатов. Впускают же они на трап гражданских личностей при наличии у них двух предметов: билета за 90 копеек и паспорта со скромным штампом в графе «Особые отметки», гласящим, что имя-рек является жителем Североморского района Мурманской области.

Точно такой же казус может случиться и с другим дядькой Андреяна — ныне туляком Илизаром Варфоломеевичем (чудковатые имена дядек и самого их племянника Андреяна — от старообрядческого их происхождения), хотя бы он и был бывшим полковником грозного бериевского НКВД.

♦ Этот самый штампик в паспортах всех, кто проживает по берегам Кольского залива, а далее и побережья одноименного полуострова севернее Мурманска, означает, что живут они во владениях героического Северного флота, который только через несколько лет после описываемых событий получит почетную приставку «краснознаменный». А в этих владениях, сохранности гостайн ради, посторонним делать нечего. Они туда особо и не совались, тем более, что шпионов-демократов тогда не было и в заводе.

«Вот времена-то были тоталитарные,— возмутится нынешний одемо-краченный обыватель,— даже в лагзак к ударнику-зеку его родственники могли на три дня приехать, а здесь?!» Пальцем в небо попал гражданин демократ! При известных бюрократических усилиях, без которых на Руси советской ли, феодальной, буржуазной и шагу не ступить, мог и железнодорожник Мирон, и энкавэдешник Илизар, а при желании и многочисленные тетки, двоюродные братья, тож племянники с племянницами Андреяна, приехать погостить на остров Большой Олений — даже не на три дня, а на целых две недели, а если у принимающей стороны есть медицинская справка о необходимости стороннего больничного ухода, то и на больший срок.

Итак, проникнуть во владения военно-морского полярного Посейдона можно было, имея на руках документ, называемый вызовом-разрешением, который оформлялся очень долго, требовал прохождения различных чекистских и милицейских инстанций и прочих заинтересованных служб. Но вот тот же Мирон или Илизар Варфоломеевич получали в калужском или тульском, соответственно, околотках вожделенный пропуск и... Вот здесь начинается наш рассказ.

♦ Начинается, да не совсем. Еще одно предупреждение. Такую вот грозную справку достаточно легко, не считая хлопот Андреяна и его самого по бюрократическим местам, получить Мирону, всю жизнь, включая военные годы, проработавшему машинистом на паровозах и тепловозах, имевшему за героический труд полстены почетных грамот с профилями вождей и трудовые медали. А как быть бывшему лагернику Илизару, многочисленные боевые ордена и медали которого хранятся в архиве вещдоков где-то по ведомству «Детского мира», Лубянки то бишь? Вот потому первым в гости к североморскому племяннику приехал железнодорожник Мирон.

Николай Андреянович в те времена даже и в мыслях не держал, что когда-нибудь его будут величать по отчеству, а потому и мы будем звать его Николкой. Однако — к делу.

♦ В советские времена люди любили гостевать по-старинному, по-помещичьи: неделями, а то и месяцами. И чем дальше — по меридиану или параллели — в эти самые гости забирались, тем радушнее была встреча. А рассказов по возвращении домой хватало в кругу ближней и окрестной родни на целый год. Особо престижным считалось побывать у племянников-внуков где-нибудь в Находке, Петропавловске Камчатском, легендарной Кушке или за Полярным кругом, хотя бы и был он всего в двух сутках комфортной езды в экспрессе «Арктика», что отходит от Ленинградского вокзала в Москве и точно по расписанию прибывает в метельный Мурманск, бывший Романов-на-Мурмане. Любят русские люди общение с родственниками, волею или неволею судьбы разбросанными по 1/6 части земной суши. Но — это все в славном прошлом. Сейчас же, жалея своих близких и родичей в части непосильных трат на дорогу, даже о состоявшихся похоронах спустя пару дней сообщают... Вот до какого состояния людей довели выдающиеся наши реформаторы с неправославными именами и фамилиями.

Однако откинем на четверть часа грусть, читая нехитрое это повествование.

♦ Почти четверть века прожил Андреян в Заполярье: две войны отвоевал, женился, народил троих сыновей, да еще двух воспитал, что жена его с собой на Север малолетками привезла из сгоревшей архангельской деревни — от первого мужа, погибшего на фронте в самом сорок первом... И все эти годы, исключая военные, только он — сначала один, потом со все увеличивающейся семьей — ездил в отпуск к своим калужским родственникам, кстати — многочисленным. И только в начале 60-х годов уже в обратном направлении, на Север, навестили его с интервалом в год дядьки Мирон и Илизар.

Опять-таки поясним, что железнодорожник МIRON и полковник НКВД — оба в отставке — вовсе не являлись дядьками Андреяну, равно как и он не был их общим племянником. И МIRON, и Илизар Варфоломеевич своими племянниками имели Николку и других детей Андреяна, а сами были женаты на старших его сестрах, которых в большой некогда деревенской семье было множество, причем очень даже различных по возрасту. Если младший в семье Андреян родился спустя три дня после отречения Николашки Кровавого, то самые старшие сестры, впоследствии ставшие супругами Мирона и Илизара, явились на свет Божий еще в веке предыдущем, правда, в конце его.

Понятно, что и мужья соответствовали их возрасту. В старообрядческих семьях очень уважают старшинство, поэтому Андреяну с детских лет внушили именовать взрослых уже мужей своих сестер дядьями. Ведь смешно бы было: закричи пионер Андреяшка, увидев, как к домику их на Подзавалье, что на яченском берегу, на окраине Калуги, подходит бравый старшина-артиллерист, опоясанный портупеей с саблей Илизар Варфоломеевич: «А вот и шурин-своjak Илизар со своей службы идет!»

Так оно на всю жизнь и осталось: условные дядьки и условный племянник.

◆Первым посетил семью Андреяна, что тогда жила на острове Большом Оленьем, МIRON, чему в немалой степени, учитывая скупость почтенного паровозника, способствовала железнодорожная льгота, проще говоря — бесплатный проезд по родным магистралям. Как известно, скупость включает в себя качество бережливости, но несколько своеобразно, кривозеркально так сказать: имея ежегодный бесплатный проезд, МIRON вполне здраво полагал, что неиспользование этого дармового права равносильно потере кошелька с суммой, эквивалентной стоимости проезда. Рассуждая в этом житейском ключе, оптимальный родственник Мирона должен бы проживать во Владивостоке... Дальше проезда нет, а на пароходы льгота МПС не распространяется. Жаль, конечно.

...В одно хмурое позднееянварское утро Николка, скучно позавтракав интернатской рисовой запеканкой с ложкой фабричного варенья, манной кашей с растекшейся масляной лужицей, запив все это сомнительным какао, собирался в школу. Такими же хмурыми и неразговорчивыми были его соседи по спальне. Казалось, все старое, довоенное еще, здание интерната трещало на двадцатиградусном морозе. В чернильной темноте рогатая молодая луна холодно и отстраненно мутнела в окне. В такое утро даже забывалось, что впервые, начиная с четвертого класса, он свободен от хлопотных обязанностей по воспитанию младших братьев: у второклассника Сережки в классе сразу трое прихватили какую-то детскую заразу,

поэтому на время карантина мать забрала его домой, на остров. А Славка, в детстве имевший неполадки с легкими, и вовсе этот учебный год проводил в школе-санатории где-то возле Мончегорска. Впрочем, там морозы еще посильнее трещат чем на побережье. Зато старший брат, взрослый и с семьей, в соседнем Оленегорске проживает, часто навещает и кучу еды вкусной привозит...

Собрав портфель, Николка достал из шкафа шапку, а из личной тумбочки шарф и рукавицы (пальто вешалось внизу, на первом этаже, в общей раздевалке) и поплелся к двери спальни, но та опередила его: в комнату вошла дежурная по интернату и, остановившись, нашла глазами Николку:

— Вот хорошо-то, ты еще здесь. А к тебе дедушка из Калуги приехал!

В раскрытую створку двери надвинулась солидная фигура Мирона в громоздком драповом пальто с воротником, а из-под глухо надвинутой шапки-хрущевки хитровато смотрело памятное по ежегодным отпускным поездкам в калужскую деревню — с неизменным заездом и в саму Калугу — крупное, несколько продолговатое лицо отставного железнодорожника. Мирон почтительно, адресуясь к старшей воспитательнице замечательной стройности, кашлянул и вступил в спальню. Обут он был по погоде — в высокие серые валенки с калошами.

— Ну, Мирон Тимофеевич, вы немного пообщайтесь с Николаем, а то ему в школу пора, потом позавтракайте, я поварихе уже сказала; зайдете затем ко мне в воспитательскую — я вам дам ключ от изолятора, слава богу, у нас все здоровы, там и расположитесь, отдохнете с дороги. К обеду Николай придет из школы, позвоните с ним на маяк, договоритесь как вам туда добраться. Переночуете у нас, а завтра с утра в путь. Все, я пошла по делам.

Белла затворила за собой створку двери, а Мирон уже по-хозяйски осматривал комнату, изумленного до остоленения Николку-племянника, притихших и озадаченных появлением здоровенного мужика ребятишек.

— Вот и добрался,— добродушно сказал Мирон, снимая с головы шапку-хрущевку.

♦ От громоздкой фигуры Мирона, присевшего в расстегнутом пальто на кровать напротив племянника, на Николку повеяло летним теплом калужской окраины, что спускалась заливным лугом к невеликой речке Яченке, за которой темно-зеленой стеной стоял недалекий лес... Настроение сразу исправилось. Хорошо бы сейчас с Мироном на остров, домой.

— Ну, брат ты мой, и места у вас! Холод, темень сплошная, скалы. Да-а-а, не доводилось в таких местах бывать. И как здесь только люди-то живут? Андреян много чего рассказывал, да пока сам не увидишь, не почувствуешь.

Как выяснилось из словоохотливого рассказа гостя, тот прибыл в Мурманск еще вчера днем, но по причине темноты уже в три часа пополудни, с непривычки, далее ехать не решился, остановился по своим великодушным льготам в железнодорожной служебной гостинице, прогулялся по вечерней столице Заполярья, изумляясь изобилию в магазинах, в гостиничке от души напился чаю в компании собратьев- железнодорожников, а утром поспел на самый первый рейсовый катер до Полярного. Поэтому уже в девять утра вступил в интернат (как в письме объяснил ему Андрей) и застал Николку, собиравшегося в школу, где занятия по зимнему времени начинались поздно.

Впрочем, привыкший к дисциплине Мирон сам заторопил Николку:

— Наговоримся еще, ты в школу-то не опоздай, учителя ругаться будут! А я пока пойду подхарчусь, да расположусь где указано. Гостинице тебе, придешь из школы, дам.

Мирон, держа в руке знаменитую свою шапку, а в другой поместительный чемодан, наверное, набитый гостинцами, перепоясанный плетеными ремнями с ручкой, спустился вслед за Николкой на первый этаж, повернул направо, безошибочно определив направление на столовую и кухню. Николка же помчался в школу, горделиво поглядывая на хмуро тянущихся к знаниям однокашников.

Время в школе пролетело единым мигом.

♦ Влетев в интернат вместе со стаей проголодавшихся ребят и скидывая пальто в гардеробной, краем глаза подметил в растворенную столовую дверь: раскрасневшийся Мирон за служебным столиком, где обедал хозперсонал, что-то веселое рассказывает, а свободные кухонные тетки и дворничиха Зина в голос смеются. Хорошо Мирон устроился!

Переодевшись- переобувшись в спальне, дождался с ребятами звонка (до этого кормили уходивших в школу во вторую смену) и помчался в столовую, перед дверью которой уже волновалась легкая толпа: медсестра с дежурной старшекласницей проверяли на чистоту руки. Когда перед Николкой оставалась пара пацанов, медсестра и старшекласница почтительно пропустили выходящего Мирона, лицо которого прямо-таки светилось доброжелательностью.

— А, Николай! Двойку-то седни не принес? Шучу-шучу, родители пишут — хорошо занимаешься. Ты вот что: пообедаешь и загляни ко мне в *изоляционную* за гостинцем. Я хотел подремать часок-другой, да подожду тебя.

Ребята, уже второй раз за день слышавшие о замечательном гостинце, с завистью посмотрели на меня: повезло же человеку!

Еще памятна для всего города была недавняя знаменитая забас-

товка интернатских, поэтому кормежка была хорошая, иногда и просто замечательная, особенно за день-два до плановой проверки из городской санэпидемстанции. Видно, сегодня и был такой день, поэтому поварихи с лихвой компенсировали рядовой завтрак: борщ желтел слоем жира, был наварист, даже с маслинами; винегрет щедро оделен зеленым горошком и мелко порезанной селедочкой; котлета радовала голодный глаз своим размером, а язык изрядным содержанием мяса; картофельное же пюре к ней было залито распустившимся сливочным маслом, а вместо обычного компота с размахренными сухофруктами полагался стакан неразбавленного виноградного сока. Еще и по горячему пирожку с повидлом выдали!

Дружное чавканье радовало старшую повариху, что вышла с кухни и любовно смотрела на обедающих ребят. Одному лишь Николке, никогда не страдавшему отсутствием аппетита, все было не по вкусу: винегрет с вымоченной селедкой казался пересоленным, великолепный борщ, даже и не борщ, а настоящая ресторанная сборная солянка, — безвкусным... Расковырял котлету, что-то в ней не понравилось. Только сок выпил. Застольщики понимающе смотрели на мучающегося Николку: конечно, нужна ему эта котлета и винегрет с горошком, если сейчас калужский гость гору гостинцев — вон какой у него чемодан! — вывалит.

В глазах ребят читалось явное желание помочь счастливчику донести гостинцы до спальни.

Обед прошел в нетерпении.

♦ Николка поспешно вышел из столовой, великодушно предложив оставшимся за столом разыграть его пирожок с повидлом. Поднялся на второй этаж и свернул влево, в девчачью половину, где располагался хорошо знакомый ему изолятор; трижды за долгую интернатскую жизнь доводилось там пребывать: с ветрянкой, желтухой в вяло текущей форме (со слов врача) и с сильной простудой, с температурой под сорок и горячечным бредом, когда ночь тянется бесконечно долго, в закрытых глазах сплошь желтые круги, а в голове один за другим накатываются тяжелые, липкие валы чего-то темного, нехорошего... Николка неприятно поморщился, открывая дверь памятного помещения. Правда, вспомнил, что с желтухой провел в изоляторе только одни сутки, а потом его, как легкого больного, перевели в оставленный на это время директорский кабинет, ибо изолятор понадобился сразу для двух scarlatinных. Здесь настроение Николки улучшилось: во-первых, вернулся к радостной ситуации настоящего, во-вторых, вспомнил, как хорошо он провел почти целый месяц в директорском кабинете.

Мирон сидел на стуле, притулившись к тумбочке, что стояла у изголовья кровати и под светом настенного бра; окна в изоляторе не полагалось.

Великолепный его чемодан, запертый, но уже со спущенными ремнями, стоял у одежного шкафчика.

— А я тут письмецо решил на родину написать, а то ведь с маяка- то вашего почта не ходит, да? Ладно, вечером допишу, а завтра мы с тобой мимо почты пойдем, там и брошу в ящик.

— Мы завтра идем... а как же домой звонить?

— Да пока ты в школе школьничал, я с директором вашим познакомился. Милейшей души женщина! Она же меня и соединила с маяком, Федоров, начальник ваш, Андреяна розыскал. Договорились, что к двенадцати часам ты меня к пирейме — не знаю что такое — сведешь, а там он сам меня переймет и доведет до дома. Ты насчет школы не беспокойся, директор и туда позвонила: со второго урока тебя отпустят.

Да-а, хорошо у вас кормят. Сытно! Я, пожалуй, вздремну, хе-хе, по-солдатски: после щей и каши спрячусь от командира и поспи. По-суворовски, так сказать. А ты пока иди уроками займись, наговоримся еще. Гостинец-то забери! — Мирон открыл тумбочку, уже освоенную им по-домашнему, достал пачку печенья «Привет» и торжественно вручил поскучившему Николке.

...У себя в спальне он по-братски разделил с двумя лучшими друзьями печенья из пачки за двадцать одну копейку; в прошлом, дореформенном еще году, она стоила два-десять.

Вечером с Мироном поговорить не удалось: до ужина он обстоятельно беседовал с директрисой, пришедшей на дежурство Беллой, двумя другими воспитательницами, даже со старшеклассниками. Позвонили на ужин. Мирон уже на правах старшего сидел за служебным столиком, а потом и вовсе застрял на кухне до девяти часов: пил чай с пирожками в обществе поварих и примкнувшей к ним Беллы. При этом поварихи успевали делать всю вечернюю работу, готовя полуфабрикаты на завтрашний день, а Мирон консультировал по рецептуре тефтелей для супа и оригинальному рецепту плова по-армейски.

Когда поварихи разошлись по домам, а Белла, раскрасневшись, ушла в директорский кабинет описывать в дежурном журнале сегодняшнее житейство богоугодного заведения, Мирон переместился в классную комнату, вечером — телевизионную, где, обняв за плечо скучающего Николку, с удовольствием комментировал фильм на производственную тематику.

Прощаясь до утра на развилке второго этажа, Мирон напомнил о завтрашнем походе, поинтересовался: поделился ли гостинцем с друзьями?

На ужин, который Николка съел подчистую и с добавкой, была треска под маринадом и яичница (не омлет!) с колбасой. Уже засыпая, Николка вспомнил, нет, почти наяву представил себе лето в калужской деревне у младшей сестры отца, поездку в город к Мирону, в его поместительный

дом на самом краю Подзавалья. Мужики сидят в садовой беседке, пьют водку из довоенных еще граненых стопок, каких теперь не увидишь, а Полина, жена Мирона, тут же на летней кухне жарит на керогазе большую сковороду яичницы. Николка с восторгом наблюдает, как Полина режет на доске крупными ломтями розовое сало с мясной прослойкой, ссыпает на раскалившуюся сковороду. Сало шипит и брызжет на отодвинувшуюся Полину. Когда сало подтопилось, она ставит на старую тумбочку миску с крупными гусиными яйцами и начинает вбивать их одно за другим в кипящее сало. Закончив колотье, Полина щедро посыпает яичницу заранее мелко порезанной зеленью. Недовольно гогочут гуси: жалко им свои произведения. «Скоро лето,— последняя мысль ухнувшего в счастливый сон Николки,— в отпуск поедем...»

♦ Утром, входя в столовую, Николка поздоровался с сидящим на *своем* месте Мироном, а после второго урока пошел в интернат. Мирон в полном облачении уже ждал его в холле, как с легкой руки Беллы Нурьевны с недавних пор стали называть интернатскую прихожую; провожать его вышла вся обслуга во главе с директрисой.

В полчаса Николка довел не умолкавшего говорить о северном гостеприимстве гостя до пиреймы — узкого пролива, соединявшего Екатерининскую гавань с Кольским заливом. За проливом располагался остров Екатерининский же, который на противоположной стороне тоже проливом нешироким отделялся от Большого Оленьего.

От противоположного берега отвалила шлюпка-двойка, взятая Андреевым у знакомого из поселочка на берегу Екатерининского острова, рядом с пиреймой.

Передав гостя Андрееву (обнялись, похлопали друг друга по спине), Николка немного посмотрел на удаляющуюся шлюпку, махнул на прощанье рукой и пошел с грустью восвояси.

...Надо сказать, что с Мироном Николка в следующий раз увиделся только летом в Калуге, хотя гость пробыл на маяке без малого месяц. Начались февральские шторма с бесконечными снежными зарядами, затрещали непривычные морозы, пролив между Екатерининским и Большим Оленьим забило льдинами: ни пройти, ни проехать. Больше всех был доволен младшеклассник Сережка: его двухнедельный карантин чудесным образом превратился в более чем месячное житье-бытье в домашнем тепле и сытости, без учебников и прописей.

Когда шторма стихли, мать привела Сережку в интернат, сказала, что Мирон шел с ними, а в Старом Полярном сел в автобус, шедший к пирсу с рейсовыми катерами. Просил передать привет Николке и всему персоналу интерната.

Мать все время, что сидела на стуле, а Николка на своей кровати, посмеивалась, рассказывая о гостевании Мирона. Как всегда, говоря о родне своего мужа, она садилась на любимого конька. Будучи уроженкой Архангельского края, где, хотя росли только рожь и ячмень, во все времена — в царские и советские — с едой вопросов не возникало, она не могла понять естественной, наследственной скуповатости жителей нечерноземной, сплошь песчаной калужской земли. Вот и теперь весь ее рассказ о госте свелся к двум моментам: как хорошо Мирон кушал, бесконечно нахваливая радушие северян, и как привез в своем объемистом чемодане множество узелков с различными крупами, сахаром, даже солью — и все увез назад в Калугу. Впрочем, назад он ехал уже с двумя чемоданами: второй, такой же поместительный, дала ему мать, заполнив банками с засахаренной морошкой и клюквой, вяленой треской и палтусом, солидным балыком соленой семги. «Угощайтесь у себя нашим северным гостинцем!».

Еще Мирон пару-тройку раз ходил с Андреем на охоту — стрелять гаг, а по вечерам с удовольствием смотрел телевизор, только-только появившийся на маяке у начальника Федорова. «Приеду домой в Калугу — будем всем семейством думать о покупке».

Убывая с острова, Мирон сердечно благодарил, прощался до недолгого уже лета, когда они вновь увидятся в Калуге.

Однако, время шло к темноте и без того несветлого зимнего полярного дня. Мать засобиравшись в обратный путь. Сложив в личную тумбочку пироги и другие гостинцы, одевшись, Николка с братом проводили мать до пиреймы...

♦ Второй гость пожаловал год спустя и угодил к началу зимних каникул Николки, так что он много чего узнал о втором своем дяде, знаменитом в отцовом роду Илизаре Варфоломеевиче, тож калужском уроженце, но теперь жителе Тулы.

О Илизаре в семье Николки говорили как-то двусмысленно, со смешками, но детям или при детях — осторожно. На дворе хотя и стояли либеральные времена, что позже назовут «хрущевской оттепелью», но старшее поколение еще не отошло от героической суровости предшествующей эпохи, лишнего не болтали, над чужим несчастьем не злословили, памятуя замечательную русскую пословицу о тюрьме и суме.

Самое главное, кроме Андреева, никто из семьи и в глаза Илизара до того не видел, да и Андреев последний раз встречался с условным дядькой в середине 50-х годов. Но — все по порядку.

В жизни интернатских зимние большие каникулы — самое счастливое время. Даже каникулы летние, сверхбольшие, не вызывают той радости. Должно быть потому, что очень длинные, переходящие в обыденность.

Это как бутерброды с красной икрой, что в школьном буфете по 12 копеек (когда деньги есть): один съешь — вкусно необыкновенно, весь день на языке необычное ощущение; а вот в позапрошлом году отец выловил после шторма пятилитровую жестяную банку с этой самой икрой (тамошнее море и не то после штормов на берег выбрасывает), мать по три раза на день ребятам — для пользы здоровья — большие ломти хлеба намазывала, так только скука стала ее есть; лучше сала соленого на горбушке!

Но вот и каникулы с Новым годом, домой! А тут и легендарный Илизар припожаловал, предварив приезд телеграммой, переданной из почты Полярного на остров, когда на безоблачном черном небе светились звезды и во всю красу играли всполохи северного сияния, а в сыром зимнем воздухе трещал нешуточный мороз, заиндевивший бороду веселого Андреяна и покрывший серой пудрой дородное лицо Илизара.

— Ну и красотища у вас! — восхитился Илизар, входя в маячную квартиру общего дома, — видывал я сияние в Ленинграде и в Воркуте, в Игарке тоже, но такое впервые наблюдаю. Здорово, Андреевна! И вы, племяши, — громко и раскатисто приветствовал гость семейство Андреяна.

Пока Андреян и гость разоблачались, переобувались в домашние укороченные валенки-обутки, оробевшая быть в ожидании Илизара мать бросилась накрывать стол: на плите все уже кипело и шкворчало.

— Зови Федорова, — распорядился Андреян, помогая Илизару распаковывать увесистый его баул, выставляя на стол запретную в этих «сухих» краях водку и вино. Вручив ребятам от имени гостя по большой шоколадке и кулек с мандаринами, он же и отослал ребят, тесноты квартиры для, заняться своими делами: хочешь в квартиру соседей Федоровых телевизор с праздничной передачей смотреть, а хочешь — на большую маячную кухню, где все ребята у елки собрались. Можно и на веранду, где собираются по вечерам ребята — помечтать и потрепаться.

В этот долгий праздничный вечер Николка и его братья были центром детского внимания: и у телевизора Федоровых, и в кухне-клубе, где девчонки Седалиных крутили радиолу у елки, а также на холодной веранде, где старшие маячные ребята затеяли философский диспут о смысле бытия. Понятно, в доступной им терминологии и логике мышления. Затемненная веранда, врывающиеся через открытую коридорную дверь потоки тепла, света и музыки, а за окнами в частых переплетах разбушевавшееся северное сияние, бесконечное холмистое полотно снега, заканчивающееся непроглядной теменью моря — все это способствовало философичности неспешных разговоров. Дети тогда еще не пили, не курили и не сквернословили. Счастливое было детство.

♦ Утром, уже в новом году, Николка проснулся к полудню, а младшие

братья еще счастливо сопели в послепраздничном сне. Сквозь занавески на окне в спальню еле-еле пробивался тот свет, который и светом-то не назовешь — а это самый рассвет северного дня! Но в чуть приотворенную дверь из кухни-гостиной падал косой и светлый электрический луч, слышались негромкие голоса отца и Илизара, изредка слово-другое вставляла мать. Вместе со светом и голосами в остывшую за ночь комнатку тугими волнами вливалось и жаркое тепло от кухонной печки; даже здесь было слышно как трещат хорошо просушенные с лета поленья.

Николка потянулся, зевнул, но, несмотря на духовитое тепло, почти оттеснившее ночной холод к окну, вылезать из-под набитого гагачьим пухом одеяла было страшновато. Николка прикрыл глаза, решил еще полчасика понежиться.

Речь разговаривавших на кухне, да еще заглушаемая включенным приемником — батареей «Родиной» (свет в дом от маячного дизеля давали только зимой — по два часа утром и вечером), не разбиралась. Поэтому Николка попробовал систематизировать все, что он слышал от родителей и калужских родственников о знаменитом Илизаре Варфоломеевиче. Получалось, что не так уж и много.

Знал Николка, что отец его с малолетства воспитывался в семье Илизара, ибо родители его, крестьяне из деревни Дворцы, что в двадцати верстах от Калуги, умерли в самом начале двадцатых годов в эпидемию тифа (По версии матери, когда она находилась в соре с отцом, родители последнего померли от пьянства; однако, Николка уже кое-что понимал в жизни, в частности, что к мнению женщин надо относиться осторожно). В пионерские годы Андреяна Илизар служил ефрейтором, а потом старшиной в конной артиллерии, полк которой обосновался в Калуге, был членом партии. Отец, посмеиваясь в духе хрущевской критики сталинизма и тоталитаризма, вспоминал, как Илизар проходил чистку рядов ВКП(б) — в порядке своей очереди выступал по городской радиотрансляции. Сам малолетний Андреян с тетей Полиной (его старшей сестрой) и всеми калужскими родственниками сидели вокруг домашнего рупора-громкоговорителя и серьезно слушали, как Илизар Варфоломеевич, который был родом из одной деревни с будущим народным героем Георгием Константиновичем Жуковым, даже жил по-соседству, хорошо поставленным голосом ротного старшины рассказывал про нищету своих родителей, про родственников — участников Гражданской войны (в Красной Армии, конечно), про свое трудное раннекрестьянское детство, воспоследующие трудовые и воинские достижения. Клеймил врагов народа — выкормышей Троцкого, Каменева и Зиновьева, агентов мирового империализма, диверсантов и шпионов. Призывал к бдительности и трудовому энтузиазму, крепить оборону и досрочно перевыполнить очередную сталинскую пятилетку.

...Дальнейшая жизнь Илизара Варфоломеевича в восприятии Николки представлялась отрывочной: перед войной уже служил в НКВД, кажется в Ленинграде. К окончанию же войны был в высоких чинах, но внезапно сам угодил в сибирский лагерь, одиннадцать лет пробыл там, а по освобождению был направлен в Тулу, доменщиком на тамошний металлургический завод. Там и посейчас живет с женой Прасковьей, сыном-инвалидом и дочерью, окончившей заочный экономический институт.

Что же еще? Да, как-то рассказал отец, что в середине пятидесятых годов, Николка еще в школу не пошел, Илизар, только что приехавший в Тулу из заключения, списался с Андреяном, а тот во время летнего отпуска в калужской деревне навестил родственника. Уже будучи в возрасте сознательном, услышал Николка от отца о причинах и последствиях той летней поездки в Тулу. Дело в том, что еще зимой, до отпускной поездки, Илизар предложил Андреяну паевое участие в строительстве дома: во-первых, Илизару одному не осилить на новом месте, во-вторых, Андреяну с большим семейством не вечно жить на Севере. Наконец, будучи человеком крестьянским, домовитым, Илизар хотел хоть одного родственника, чтобы стопку с кем в праздник было выпить, иметь в тесном соседстве. Кстати, как понял Николка, Илизар после лагзака мог и в Калугу вернуться, но та же крестьянская стыдливость (из полковников НКВД в эки!) не позволила.

Андреян, с самого окончания войны все размышлявший о переезде на родину, оценил доводы своего условного дядьки и воспитателя, выслал несколько тысяч — сумму, которой по расчетам Илизара вполне хватило на строительство половины дома на индустриальной окраине — о двух комнатах, с кухней и подсобными помещениями, с отдельным входом с улицы.

Будучи человеком военно-морского воспитания, а во флоте все делается быстро и исполнительно, Андреян, отправляясь в летнюю инспекционную поездку в недалекий город (несколько часов на поезде), полагал уже получить ключи от отстроенного полудома и обмыть житье с благодетелем Илизаром в его, уже обжитой половине. Однако вернулся уже на следующий день злой, раздосадованный донельзя, жаловался жене и сестре своей Настасье, в доме которой северное семейство проводило каждое лето: «Приехал, на вокзале никто не знает, где это самое место. Таксист еле нашел. Смотрю: посреди окраинного пустыря несколько времянок стоят, одна из них Илизарова. А перед халупой его досчатой яма вырыта, поодаль — куча песка. Вот и весь дом!»

Вот с тех пор от Илизара — до нынешнего приезда — ни письма, ни денег возвратных.

◆ Николка довспоминался до просыпания брательников, а тут и мать завтракать позвала. На кухне Андреян с Илизаром опохмелялись по малой. Гость добродушно приветствовал детей, утешил младшего, явно переевшего в новогоднюю ночь конфет и мандаринов, дал дельный совет: «Ты, Андреевна, дай ему теплого чая с солью. Соли-то не жалей, через пару часов и не вспомнит о своем животе. Средство армейское, проверенное самим, ха-ха!»

Илизара слегка развезло от утренней опохмелительной стопки, а может и по причине того, что попал в новую обстановку, но он начал говорить о своей энкавэдешной жизни, чего, как уже потом пояснил Андреян, он обычно не делал. Вспомнив о средстве излечения живота, пока мы завтракали остатками вчерашних яств, Илизар и рассказал, как он на себе проверил действенность народного лечения.

— Ха-ха, пройдет твой живот, Серега! У меня вот хуже было. Когда перед войной в Ленинграде раскрутка началась, город стали очищать от сомнительных людей, осужденных эшелон за эшелонами в Воркуту повезли. Конвойных команд не хватало, поэтому мобилизовали на время штабных, хозяйственников навроде меня — я тогда в питерском ХОЗУ НКВД* служил, куда меня из Калуги перебросили.

Вот поутру, воскресенье было, спал себе с устатку, а в дверь на́рочный с приказом: явиться к десяти ноль-ноль на запасные пути станции такой-то для целей откомандирования. Задание — на месте. Делать нечего — приказ! А в голове муторно, стал портупею надевать — живот как клещами схватило, еле до сортира в своей коммуналке добежал. Я тогда холостяковал, Пашу в Калугу на время отправил, пока квартиру поприличнее дадут. А живот? — Все понятно. Как раз накануне мне старшего лейтинанта присвоили, вечером с ребятами отметили это дело — погуляли в известном месте, что-то навроде ресторации при ведомственной гостинице. Теперь сообразил: копчушки, которыми закусывали, еще тогда подозрительными показались, мягковатые какие-то, с душком. Пожадничал значит.

Посыльный с машиной был, доставил на пути, а там майор незнакомый пакет мне под расписку: так и так, поедешь с эшелонном в Воркуту старшим команды. А тут и эшелон этот самый подают, уже с пассажирами, конвойные бойцы из своих теплушек посыпались, вдоль состава рассредоточились, задвижки на дверях проверяют, сцепки вагонные, под днища заглядывают, по лестницам поднимаются и крышами интересуются. Слаженно работают, деле свое хорошо знают. Потом построились в шеренгу, майор отрекомендовал меня, дает вводную, а я еле стою, коленками перетираюсь, сдерживаюсь из последних сил, аж язык прикусил.

* Хозяйственное управление войск наркомата внутренних дел.

Майор откозырял, а я мимо бойцов в штабной вагон — и прямо на толчок. Только встал — опять колотье во всех кишках. Понял, что так дальше не пойдет, выскочил — хорошо, майор что-то замешкался, с каким-то железнодорожным разговорился, кричу: «Товарищ майор! Разрешите обратиться...» И далее все ему рассказываю. Задумался майор, предварительно матюкнув меня: «Поторопились тебе звание присваивать ... Разбаловались вы там в ХОЗУ!»

Однако надо и майору что-то делать. Приказал ждать, а сам в железнодорожную комендатуру, что поблизости располагалась.

Через пяток минут майор выскочил из комендатуры, ну, говорит, Илизар Батькович — а сам уже усмехается, отошел — поедешь равно генерал, с личным врачом! Заменять тебя некогда и некем, а эшелон через двадцать минут строго по расписанию убывает. Иди к команде, врач сейчас будет, прокатится с тобой до Воркуты, там у него какие-то дела, но быстрые, с тобой же и вернется. Будь здоров, а званья аккуратнее обмывай, главное — закусывай дома, там не отравишься.

Майор убыл, а вскоре на эмке подкатил и доктор, пожилой военврач званием намного выше Илизара.

В штабном вагоне было жарко натоплено (на улице стоял крепкий мороз), эшелон тронулся, седой доктор расспросил Илизара, помял живот, посмотрел язык, дал выпить порошок. Вестовой принес в командирское купе крепко заваренный чай в стаканах с обычными железнодорожными подставками.

«Ну-с, батенька,— доктор с наслаждением отхлебнул чай,— ничего у вас страшного, хотя помучаться придется. Если бы сразу промыли желудок... но уже поздно. Одними порошками и таблетками вашу хворь неделю выводить надо. Вы — человек молодой и крепкий, поэтому сделаем по-армейски: чаек сейчас чуть поостынет, так вы в стакан ложечку соли того... и прихлебывайте неспеша, и так через каждые час-полтора, К вечеру я вам пилюлю особенную сооружу, а завтрашним утром жеребчиком будете прыгать. Я же, с вашего разрешения, закушу под чаек, утром с дежурства и позавтракать не успею».

И действительно, просолил я организм «чайком» до вечера, ночью раза три еще бегал на толчок, а утром только слабость легкая осталась, да и та к обеду прошла. За окном тянулись бесконечные вологодские заснеженные леса, а мы с доктором на длинном перегоне, когда и конвой отдыхал, пообедав горячим, приняли по стопке медицинского разведенного из запасов военврача под макароны с тушенкой и порезанную тонкими ломтиками «краковскую» — опять же из запасов основательного лейб-медика. «Жирненьким, батенька, всегда закусывают, им не отравишься, а рыба — самый бесполезный продукт, окромя, конечно, свежескопченной семушки или толь-

ко что выловленного судака в ущице», — поучал от диетологии добрый доктор.

Вот так я единственный раз в жизни и ездил с «личным» доктором, — закончил свой рассказ Илизар Варфоломеевич.

Братишки, мало что поняли по причине возраста и недавнего сна, мать почтительно смотрела на гостя, а Николка, уже наслушавшийся на уроках истории про сталинский культ личности, с ознобом восторга смотрел на Илизара: вот он, живой, весело улыбающийся, добродушный сталинский палач!

Он не успел еще осмыслить услышанное, как отец засобирался на дневную вахту на маяк. Засупонивался и Илизар — пройтись с Андреем, посмотреть на его службу. Мать налила в термос свежей заварки чая, собрала в узелок кой-что из закуски, а Илизар, подмигнув всем сразу, достал из баула водочную четвертинку: «Гулять так гулять!»

После ухода мужиков мать почему-то шепотом сообщила старшему, что-де ушли вдвоем поговорить. Илизар-то деньги долговые привез, дом собирается расстраивать и все прежнюю мысль о переезде Андреяна с семьей в Тулу в голове крепко держит. «Илизар-то неспроста, как и все в жизни, это делает. Хотя он как огурчик выглядит, но возраст-то набирается, а Паша хворая, дочь его Зинка хоть и засиделась в девках, но выйдет замуж — отрезанный ломоть, своей семьей будет заниматься. А Андрей — инвалид по детству, по голове, все дома сидит, надомником и работает. И у него, и у Паши все болезни от жизни такой; когда Илизар в заключении находился, то они троем очень бедствовали, по родственникам деревенским проживали. Баско* ли так жить? Вот и сказалось все сейчас. А Илизар мужик правильный, о семье заботливый, вот и мыслит, чтобы в случае чего было кому об Андрюше позаботиться».

Под неторопливые рассуждения-гадания матери Николка с братьями доели сладкие пироги, запивая их чаем со стуженным молоком, а потом поспешили на улицу, откуда уже доносились веселые крики раскрепостившихся на каникулах сверстников. Новый год начался с ясной погоды, тихого моря и чистого, похрустывающего под ногами снега.

♦ Первый день нового года пролетел как миг. Николка и прочая детвора маяка все успели: на лыжах покататься с сопок, посмотреть как Федоров с Седалиным здоровенного тюленя, вылезшего на отмель погреться от холодной воды, подстрелили и ошкурили, полюбоваться новеньким крейсером, что неторопливо шел из Североморска на выход из Кольского залива — на учении или в дальний поход; про то знали командир корабля и в

* Баско — красиво, хорошо (архангельск.).

штабе флота... Много чего успели, не забыв забежать домой пообедать. Только к ужину, когда ни зги стало не видно (ночь была безлунная), а на всем окутанном непролазным мраком острове светились окнами только маяк и жилой дом маячников, к этому-то дому ребята собрались. Нешуточный мороз надвигался, но только матери, поминутно появлявшиеся на веранде, смогли позвать детей в дом — ужинать.

Отец с Илизаром еще не приходили, вахта заканчивалась в двадцать ноль-ноль, полусуточная. Мать сказала, подавая замечательные пельмени и вареную вяленую треску с жареной (настоящей, не сушеной) картошкой, а к чаю печенье и банку сгущенки на троих, что Илизар днем заходил пообедать и отцу поесть отнес. «Целый день разговаривают, до чего-то договорятся? Илизар своего всегда добьется, глухому втолкует...»

Ребята уже доскребали печеньем остатки сгущенки в своих блюдах, когда по коридору дома затопали две пары мужских ног, сопровождаемые веселым басистым голосом гостя. Дверь шумно отворилась, кухня вмиг оказалась заполненной Андреем и Илизаром в шубах, валенках, с громким разговором, присказками совершенно довольного Илизара:

— Ну, Андреевна, вроде как в жизни везде побывал, вахты и караулы по двое суток нес, а здесь такая ответственность? А говорят: длинные рубли, длинные рубли... Так за эти самые рубли по полсуток в темень вглядываться, да одновременно за дизелем присматривать, за маяками аж двумя, световым и звуковым, да еще куча дел: и журнал поминутно заполнять, метеосводку слушай... Нет, врагу не пожелаю таких вот длинных рублей!

Мужики разоблачились, переоделись в домашнее в «большой» комнате, она же родительская спальня, да и гость там помещался на ночь, присели ко второму столу на кухне, рядом с книжной этажеркой, на которой голосом Райкина язвительно веселился приемник.

Мать суетилась у плиты, метала на стол мужчинам пельмени и жареного палтуса, наливала в тарелку жирный борщ, жарила на закуску омлет из яичного порошка, резала на закуску колбасу. Илизар, опять-таки подмигнув всем сразу, сходил в спальню к своему баулу и торжественно поставил на стол бутылку столь любимой Андреем «старки» (Илизар хорошо знал, что такое полный сухой закон, и в бауле его поместилось число бутылок равное количеству дней гостевания). Андреев радостно заулыбался, с любопытством посматривая на темнокоричневую этикетку с золотыми витиеватыми буквами. Райкина в приемнике сменила совсем молодая, только-только зазвучавшая с эстрады певица с необычным именем Эдита Пьеха. Мать порекомендовала ребятам, захватив по паре мандаринов и шоколадной конфете, заняться своими делами, благо по коридору маячного дома уже ходили табунами их друзья.

♦ Праздник праздником, но первое января в этот раз пришлось на субботу, то есть по военному маячному расписанию (первая и третья субботы месяца) день выпечки хлеба. Поэтому в общей маячной кухне-клубе стояла банная жара, обе огромные печи раскалены, пышат жаром, поленья трещат. Играла радиоло, пластинки меняли дочери Седалиных, они же и танцевали вокруг елки под одобрителные улыбки женщин, то и дело забегавших посмотреть на свои формы с хлебами и противни с пирогами.

От духоты печей Николку потянуло в ранний сон, а ведь еще по телевизору Федоровых фильм интереснй смотреть? Пошел на веранду охолонуть, присел на скамейку у стола. К ночи небо очистилось от снеговых туч, трещал мороз, снова разгулялось, как и в предшествующую ночь, северное сияние, которое будоражит человека, будит в душе неясные, беспокойные мечтания. Замечтался и Николка, потому вздрогнул на открывшуюся из коридора дверь. На веранду вышел Илизар в накинута на плечи шубейке, в своей папаше-хрущевке, с раскрасневшимся лицом.

— А, Николка, прохлаждаешься? А я до ветру, ха-ха,— и Илизар, хлопав племянника по плечу, спустился по лесенке и вышел из дома (туалет помещался в отдельном помещении с торца дома).

Илизар скоро вернулся, но задержался на веранде, подсел к Николке, залюбовался разошедшимися в небе сполохами всех цветов радуги, повторил давешнее, что такой красоты не видел ни в Ленинграде, ни в других северных местах, в Воркуте тож.

Вспомнив рассказ гостя о поездке в Воркуту с «личным» врачом, Николка, несмотря на строгие предупреждения отца и матери не задавать Илизару лишнх вопросов, неожиданно для себя самого коснулся запретной темы:

— Илизар Варфоломеевич, а вот нам в школе на истории говорят, что при культе личности людей понапрасну сажали, эшелонами в Сибирь и на Север везли...

Улыбка сошла с лица гостя, он скучно и невидяще посмотрел в угол веранды, задумался, вздохнул, потом, словно очнувшись, потеплел лицом, положил тяжелую руку на плечо съжившегося от своей бестактности Николки:

— Это, брат, дело сложное. Хорошо, что вам в школе обо всем говорят, вообще хорошо, что народ посвободнее в разговорах стал. Однако, ты учителей-то слушай, а и сам себе вопросы задавай. И чем взрослее будешь становиться, тем чаще эти вопросы задавай — и старайся на них себе же отвечать. Вообще говоря, только прожив на свете лет тридцать-сорок человек начинает все понимать правильно. И ты до истины доберешься сам, только не торопись. Неизвестно еще, что в долгой жизни придется увидеть, мир-то он меняется, порой так, что и в страшном сне не присниться...

Вот сейчас за Сталина взялись, такой он и сякой... тоже со временем разберешься. Кстати, Иосиф Виссарионович — читал я недавно в одной книге — предупреждал, дескать, много мусора нанесут на мою могилу, да только ветер истории его рано или поздно разметет. Вот так-то, хватит мерзнуть, дрожись уже, пойдем в тепло, в пекарню вашу заглянем.

В пекарне Илизар скинул шапку и шубейку, присел на лавку, весело поглядывая на детвору, перекинулся словами с женщинами у печи, вспомнил, что у Федорова есть гармонь, на которой никто на маяке играть не умел, послал за ней Николку.

Седалинские девочки выключили радиолу, а Илизар разыгрался, да так хорошо, что скоро в пекарне собрались все от мала до велика. Действительно, в деревне, откуда родом были и Илизар, и маршал Жуков, все искусно играли на трехрядке.

Николка же все думал над словами дяди, даже засыпая после полуночи. Что ему покажет жизнь?

♦ На следующий день Андреяну предстояло заступать в ночную вахту на маяке, поэтому светлое время суток он знакомил Илизара с хозяйством острова и занятием его обитателей; зимой из таких занятий важнейшим полагалась охота. Николка, как человек вполне взрослый, пристроился к ним. Собственно это Илизар предложил ему составить компанию, ибо по серьезным делам гость с отцом, видимо, все обговорили накануне.

После завтрака, когда чуть посветлело, засупонившись по случаю неотступающего сильного мороза, отправились в личный сарай семьи Андреяна, где в одной половине помещалась домашняя мастерская с полным набором столярного и слесарного инструмента, с верстаком и кладовкой, где в ящиках хранилась вяленая треска, палтус, на полках громоздились банки и боченочек с засахаренной морошкой, клюквой и брусникой. Все было аккуратно, по-флотски расставлено, развешено, уложено. Илизар всячески хвалил порядок в сарае и рачительность хозяина. Однако здесь его внимание привлекли стуки и неясные звуки явно животного происхождения из-за досчатой стенки, перегородившей сарай посередине.

— А-а,— засмеялся Андреян,— это наши козы, Машка и Дашка, к ним вход отдельный.

«Козий отсек», как его называл Андреян, был утепленным, с двойными досчатыми стенками, промежуток между которыми был засыпан опилками и стружками, мелко порубленным вереском, поэтому вошедших обдало жилым если не теплом, но остро-пряным запахом обычного деревенского коровника или конюшни. Машка и Дашка, тоже приученные к флотской дисциплине, стояли каждая в своей загородке, правда условных, из редких досок, что позволяло им ходить друг к другу в гости, и каждая из

своей посуды хлебали мучную болтушку, совсем недавно принесенную матерью. Видно они доканчивали это занятие, ибо увидев гостей, поприветствовали их коротким бляением, с интересом посматривая на свет божий в растворенную дверь, затем улеглись, подломив колени ног и серьезно занялись жеванием сена, рассыпанного также отдельно в загородках.

Надо отметить, что на стенах висело множество полуобглоданных березовых веников.

— Полная картина жизни на воле,— засмеялся Андреян на немой вопрос Илизара,— чего-чего, а березы-то, хоть и карликовые, у нас имеются, козам же гимнастику надо делать, вот и попрыгают вволю на стены за вениками-то.

Илизар изумился было такому научному подходу, но вспомнил, что Андреян в свое время и с его же Илизара подачи окончил Калужский молочный техникум.

— Коз-то для молока держишь?

— Вроде как для молока, здесь ведь только сухое, порошок молочный, когда ребята совсем маленькие были, да и сейчас оно не лишнее, правда, ребята всю зиму в городе, в интернате... А потом привыкли к ним, хоть какая-то живность, деревню напоминает. Опять, не корова ведь, даже здесь без хлопот прокормить можно. Месяцев пять, пока снега нет, подножного корма им хватает, зимой — болтушки всякие, веники, а в этом году и вовсе повезло: летом в шторм на берег выбросило пару тюков прессованного сена, видно с палубы баржи смыло — здесь сено по точкам* развозят, где подсобные хозяйства, коровы имеются. Теперь на эту и следующую зиму хватит.

Николка вспомнил и живо представил, как в начале прошедшего лета он же самолично, гуляя по берегу, обнаружил эти два тюка, каждый размером со шкаф, что стоял в спальне родителей, перетянутый сеткой стальной проволоки. Сами по себе, да еще промоченные водой, весили каждый, наверное, с полтонны, так что Андреяну с Николкой, да с пришедшим на помощь Седалиным пришлось тюки кантовать, подсовывая крепкие слуги, чтобы оттащить от полосы прилива. Потом Николка помогал отцу распускать тюки, разворачивать туго спрессованное сено, которое образовало после просушки настоящий стог. Андреян накрыл его от дождей брезентом и куском тюля. До самого отъезда в отпуск все семейство, включая младших, переносили в мешках сено. Илизар поднялся на сарайный чердак по лесенке, стоявшей в углу «козьего отсека», восхитился качеством и количеством сена, вениками для бани, развешанными под застрехой крыши. Затем все перешли в мастерскую половину, присели на скамейку, Андреян закурил. Илизар чему-то усмехнулся, как бы вспоминая:

* Точка — военный поселок, база ВМФ (военн.).

— А знаешь, Андреян, я вот с такими же тюками почти три года в войну дело имел, по ночам они мне снятся.

— Это как же так?

— Я же перед войной, как уже говорил, в ХОЗУ ленинградского управления НКВД служил, в самом начале войны помотался с полгода по разным местам и делам, а потом вызвали к начальнику главного хозуправления наркомата и назначили главноуполномоченным по заготовке фуража конницы НКВД. Я — старший лейтенант, а должность старшего офицера... тут же приказ о моем капитанстве утвердили. Помотался я по стране за этим самым фуражом, ведь двадцать конных полков в подчинении наркомата было! И все на передовой, а как немца поперли, так, начиная с Западной Украины, все эти бандеровцы, лесные братья и прочие самостийники на нас и повисли. А сейчас вот по радио и газетам слышишь: бериевцы мол, сатрапы... Николка, вспомнив вчерашний разговор на веранде маячного дома, понял, что дядька адресуется больше к нему; отцу, судя по его равнодушному виду, все это было известно. Педагогическая беседа.

♦ Перекурив, Андреян занялся заготовкой дробы, то есть брал свинцовый блин толщиной миллиметра три-четыре из стопки их, еще на прошлой недели отлитых в обычную чугунную сковородку из расплавленного на домашней плите в ковшике свинца, и сначала резал его на узкие полоски с той же шириной, что и толщина, ножницами для металла, одной рукояткой зажатых в тиски, а затем уже пучки полосок резал на собственно заготовку дробы.

Илизар с интересом присматривался к ловким ухваткам Андреяна, потом не выдержал («Дайкось погреюсь»), вошел в азарт и в какой-нибудь час перевел в четырехгранную дробь всю стопку блинов. Андреян тем временем занялся починкой капустной кадушки — менял проржавевший обруч. И Николка нашел занятие: на верстаке выстругивал рубанком досочку, снимая слой за слоем.

Илизар, закончив резку дробы, присел на скамейку:

— А ты, Николка, что творишь?

Николка охотно пояснил, что недавно читал книжку о жизни северных народов Сибири и там обнаружил любопытное: поскольку у полудиких народов темных очков и в заводе не было, а зимнее низкое полярное солнце, отражаясь от снега тундры, слепит глаза («оттого они у них и узкие», — сделал смелую догадку), то эти самые чукчи и ханты с мансями додумались делать из дощечек что-то внешне похожее на обычные наши очки, а для света оставлять напротив каждого глаза крохотную дырочку в миллиметр-два. Эффект получается как если бы надеть темные современные очки. Вот он и хочет проверить: правда это или сочинитель книги придумал «на дурачка»?

Илизар одобрил естествоиспытательские наклонности племянника, заинтересовался общенным, дескать, и среди этих самых народов приходилось бывать, а таких очков не выдывал.

В этот момент в полукоткрытую для света (и полужакрытую для мороза) вбежал, отчаянно колотя пушистым хвостом по двери и косяку Боцман III, чуть не сшиб с ног Николку, радостно подкатившись ему под коленки, почтительно ткнул носом в валенок Андреяна, несколько озадаченно посмотрел на Илизара. Но, поскольку уже встречал его на острове, вежливо махнул хвостом и ему. Боцман III уселся на подстилку — квадратный кусок тюленьей шкуры, поднял уши и стал внимательно вслушиваться в беседу людей.

Всех собак, бывших в семье Андреяна, он по-флотски называл Боцманами, присваивая в порядке очередности императорские имена; первого Николка ясно не помнил, очень мал тогда был, второй жил у них на острове Седловатом (IV и V Боцмана жили у них уже позже, по переезду в Полярный, причем одновременно; а уже в Туле короткое время вертелся под ногами веселый пуделек с номером VI, который по весне убежал на собачью свадьбу и не вернулся. Его заменила овчарка, прожившая десять лет, но, поскольку была сукой, то получила имя Норка).

Собаки на Севере, особенно на островах, есть существа автономные, то есть в перевозданной и естественной биологической сущности здесь выполняется закон стаи: хозяин собаки — вожак, но в остальном его четвероногий коллега свободен. Здесь собаку не приводят в дом, а она сама избирает хозяина-вожака. Так и Боцман III все теплое время года проводил на полной воле в компании других собак и ребятни. Если взрослый человек позовет — с удовольствием побежит за ним хоть на край света: не позовет — почешется и побежит по своим делам. Летом собаки спят где пожелают, впрочем, исправно по утрам и вечерам прибегают на кормежку — приятную добавку к корму естественному, коего на острове великое множество; зимой — кто где устроится. Боцман III зимней квартирой имел козий отсек, куда его пускали на ночь или просто в непогоду. С козами он дружил, а в маячный дом собак не пускали. А то разбалуются.

Илизар и обратил внимание, что у собаки какой-то белый пух на усах, а вид очень сытный.

— А-а,— рассмеялся Андреян,— этой зимой наши собаки жируют. Вот и Боцман, судя по всему, сегодня уже успел кролика поймать и употребить по назначению.

— Какие-такие кролики?

— Как в Австралии. Этим летом Седалин привез из Полярного — купил за бутылку в подсобном хозяйстве — две пары кролей. Он все с сельским хозяйством экспериментировал! К осени поздней уже весь сарай ими

наполнился, а потом в сарае ветхая доска выпала и все кролики ушли, по острову разбегались, норы себе вырыли, одичали. Седалин по всему острову с собакой бегал, кой-кого поймал и в сарай возвратил, остальных сейчас Боцман с приятелями унюхивает через снег, норы разрывает и сжигает. И то польза, все одно на зимней бескормице подохнут. Все же не Австралия...

— Однако, если на охоту идти, то по времени пора,— Андреян ссыпал заготовки дробы в рогожный мешочек, посмотрел на сытого, уже клевавшего носом Боцмана и за холку перевел его, несопротивлявшегося, в козий отсек.

Обе сарайные двери, понятно, на замок не закрывались — только на задвижку, чтобы ветром не распахнуло или глупые козы не выбрались в пургу (умный Боцман такой глупости не сделает).

Ссыпав дробь в барабан ветряка, что располагался по другую сторону маячного дома, около бани, пошли домой. Мать предложила мужчинам наскоро пообедать, но те ограничились чаем:

— На охоту, как собака, на сытый желудок не ходят, так что обед перенеси на ужин,— заметил Андреян, надевая патронташ и снимая со стены двухстволку,— по очереди постреляем, пошли, Илизар Варфоломеевич.

Николка в компаньоны не набивался, поскольку в шлюпке-двойке, с которой стреляют летящих над проливом между Большим Оленьим и островом Екатерининским гаг, троим тесно. Потому и занялся тонкой работой: выстукиванием остро отточенным сапожным ножом ханты-мансийских солнцезащитных очков. Мать раскатывала на клеенке стола, посыпанной мукой, тесто. Прибежавший из пекарни Славка пристроился к столу — вырезать краями стакана кружки теста, в которые мать заправляла пельменный фарш. Тихо включенный приемник — экономил батарейки — голосом известного актера читал чеховский рассказ о сельском эскулапе. Забежал распаренный Сережка, нагло схватил с полочки конфету и умчался вновь на елку.

♦ На принаитованных к кухонной стене круглых флотских часах с точным циферблатом показывало без четверти пять (на циферблате — семнадцать), в окна сквозь полную уже темень заглядывала луна.

— Не потонули ли наши мужики? — мать ставила на плиту большую кастрюлю с водой под пельмени, озабоченно поглядывая на часы. Еще полчаса тому назад она отнесла кормежку Машке с Дашкой и Боцману III. Последний сыто дрыхнул и даже не поинтересовался: что ему принесли?

Николка, к тому времени вырезавший из дощечки очки и отполировавший их осколком стекла, занимался самой ответственной работой: приоткрыв дверцу полыхающей печи, зажав в плоскогубцах кусок стальной

проволок, раскаливал ее добела и прожигал отверстия в деревяшке. Попутно обдумывал: как быть с дужками? Привязывать бечевку, как то делали чукчи с самоедами, не хотелось. Сами дужки выточить из дерева труда не составляло, но как их прикрепить, чтобы складывать было можно?

За этими учеными раздумьями он не расслышал шагов и голосов в коридоре, оглянулся только уже на распахиваемую дверь.

— Ну, Екатерина Андреевна, вычеркивай из «Красной книги», или как там она называется, еще шесть гагачьих душ,— басил с мороза Илизар, одежда которого была покрыта вьевшимся мелким снежком. За ним вошел с полностью заиндевевшей бородой Андреян, перепоясанный патронташем с пустыми теперь латунными гильзами, с ружьем через плечо. Оба держали в левых руках за лапы по три отменной упитанности гаги.

Пропустив мужиков, мать ссыпала в закипевшую воду пельмени и сдвинула с края плиты на самый жар кастрюлю со щами. Серые гаги грудой лежали в углу рядом со сдвинутыми валенками охотников.

Переодевшиеся в домашнее охотники с красными, отходящими в банном тепле кухни от мороза лицами, с пылающими ушами усаживались за стол с приемником. Помятуя, что Андреяну идти в ночную вахту, Илизар захватил из своего неистощимого баула всего лишь четвертинку, которую и выпили в один присест под дымящиеся щи с бараниной. Мать ждала команды подавать пельмени.

Медленно и с явным удовольствием выпив свою «сотку с довеском», малопоющий Илизар, точнее говоря, спиртное не брало его отменно здоровый организм, крякнул:

— Всегда наша водочка к месту: после бани и охоты, в горе и в радости! Вот довелось мне сразу после войны почти полгода столоваться в компании не кого иного, как бывшего коменданта крепости Бреслау, генерал-полковника вермахта, потомственного пруссака-вояки, фамилия с приставкой «фон» — осанистый мужчина, воспитанный, но и не сухарь (По вьевшейся на всю жизнь энкавэдешной привычке Илизар старался не называть фамилии, даже если это никакой тайны не составляло).

Когда наша армия в сорок пятом на Берлин текла, а кавалерия НКВД занялась очисткой западной Украины и Прибалтики от бандитов и пособников, к этому времени я фуражирное снабжение хорошо отладил — на свою голову, как у нас принято: раз все наладил, так начальника обязательно нужно дернуть и на другой какой прорыв бросить. Вот и меня вызвали в Москву, сам Лаврентий Павлович мимоходом руку пожал, а в управлении кадрами огорошили: дескать, даем вам, Елизар Варфоломеевич, ответственнейшее назначение — начальником спецлагеря для высших немецких военных чинов: от полковников или оберштурмбанфюреров СС и выше! Будешь их опекать, пока по ним решения в верхах не примут. И

еще успокоительное сказал: в Сибирь ехать не надо, это все здесь, в центре. Уже прощаясь, начуправ порекомендовал поаккуратнее с содержащимися в лагере генерал-полковником обращаться — он почетный пленный, к обеду его к себе зови. «Так сверху приказали», — многозначительно обронил он.

Ехать на новое место без своих, проверенных людей, не принято, потому, поторговавшись, получил разрешение взять трех-четырех своих подчиненных, в том числе двоих из нашей же деревни, что раньше к себе подобрал в фуражиры. С тем и убыл на новое назначение в..., впрочем, это неважно.

Покончив со щами, похвалив их и придвинув миску с пельменями, Илизар, разговорившись необычайно, продолжил:

— Так вот, завтракал и ужинал этот генерал-полковник вместе со своими, а на обед приходил ко мне в комендантскую столовую, у нас там отдельный столик за загородкой стоял, вестовой обслуживал и графинчик из погреба, со льда приносил. Генерал пил по-немецки, то есть опрокинет рюмку, глаза прищурит, замрет, как будто к тому что творится в желудке прислушивается, потом выдохнет и не применит сказать (по-русски хорошо говорил): «О-о-о, герр полковник, русская водка это превосходно!»

Кстати,— Илизар хохотнул,— генералу этому было оставлено личное оружие, что-то навроде кортика с затейливыми ножнами. Так наши ребята из охранников раза два пробовали спереть его. В конце концов генерал отдал мне на хранение. Я его в личный сейф положил.

— А что, дядя Илизар, Паулюс тоже в вашем лагере содержался? — встрял Николка.

— Эх, куда хватил! Этот Фридрих Вильгельм в высших сферах обитал, говорят, что обменивался своим военным опытом в Академии Генштаба, лекции по тактике читал. Он же у нас до самой смерти Сталина в плену считался, потом отпустили его в ГДР, в Дрезден. Не знаю — правда ли, но поговаривают, что служил там обычным инспектором полиции. Кстати, умер-то он не так давно, лет пять тому назад, в газетах читал.

Ну, Андреян, после таких пельменей часок-другой вздремнуть не грех, а тебе так и вовсе перед вахтой обязательно.

Убрав и помыв посуду, мать принялась ошипывать гаг («Ужо завтра нажарю-напарю птицы-то...»), а Николка полировал взятой из материнской шитьевой шкатулки большой «цыганской» иглой прожженные отверстия в очках. Время от времени забегали «попить водички» младшие. Все на елке веселятся! Мать приказала через полчаса быть здесь, второй раз разогревать ужин не будет.

В половине восьмого проснувшийся Андреян собрался на маяк (Илизар проснулся только в девять). Николка, наконец-то решивший задачу с

креплением дужек очков, ушел с отцом — поискать в маячной мастерской нужной кондиции проволоку. Кстати, Николка сразу отметил, что в разговорах с маячными мужиками на вопрос о воинском звании Илизар рекомендовался ефрейтором.

♦ Остаток вечера Николка вырезал дужки и с помощью проволочных шарниров прикреплял их к очкам. Испытания оставил до завтрашнего дня; судя по ночному безоблачному небу, завтра могло хоть не надолго, но появиться низкое полярное солнце, а снега для проведения опыта на островах хватало.

Проснувшийся, отдохнувший после охоты Илизар взялся помогать матери ощипывать гаг; эта работа ему была хорошо знакома: и в деревенском детстве доводилось ощипывать кур, и сейчас, как он сообщил, держат десяток хохлаток.

Ночью Николке приснился плененный Илизаром генерал-полковник вермахта: длинный, поджарый, в николкиных ханты-мантйских очках с личным оружием на поясном ремне: двуручным мечом-кладенцом.

На следующий день солнце и вправду выглянуло. Николай убедился в природной мудрости ханты-мансийцев и чукчей: действительно, в очках можно было даже на зимнее солнце в упор смотреть. И обзор в них был вполне достаточным, а плоская форма очков не закрывала боковое зрение.

Следующий день по маячному расписанию был баннным для семейства Андреяна (после ночной вахты у него было два свободных дня), поэтому после раннего обеда с супом и жарким из гаг мужики ушли топить общую маячную баню, что стояла в двухстах метрах от дома — через небольшое озеро, зимою бывшее для ребят катком. С левого, глубокого берега во льду поддерживалась прорубь, из которой брали воду для дома и бани.

Николка после сытного обеда прилег с книжкой на кровать, предвкушая — какой он произведет фурор в интернате и в школе своими очками. Поскольку младшие отправились на улицу, в отсутствии лишних ушей и неразумных голов мать рассказала о конце карьеры полковника НКВД в версии, бытовавшей у калужских родственников.

Выходило так, что Илизара подвели именно те два его земляка, что он взял с собой в лагерь для военнопленных. Поскольку они всю войну не были в родной деревне, которая была в зоне оккупации, половину домов немцы при отступлении сожгли, остальные без мужских рук полностью обветшали... словом, разжалобили они своего командира и подтолкнули под должностное преступление: выписал им Илизар служебные командировки на пару недель, а по пути следования на родину, уже в Калуге, патруль заподозрил что-то неладное и отвел двух сорокалетних лейтенантов в комендатуру, где их быстро раскрутили.

Невзирая на былые заслуги, отменно поставленную службу фуражирования конных полков НКВД, образцовый порядок в спецлагере, получил Илизар 11 лет лагерей. Время тогда было строгое, дисциплину и порядок не полагалось нарушать и рядовым, и полковникам; по трофейной жадности в поверженной Германии, например, много и генеральских карьер завершилось досрочно...

Правда, оценивая данный Илизару срок, мать выражала сомнение, что так строго наказывают за отпуск подчиненных, хотя бы и незаконный. Женщины по своей природе всегда думают о другом человеке хуже, чем тот есть, а в отношении своих близких — намного лучше.

Видно, что Илизар был хороший по натуре человек, поэтому судьба не бросала его в самые тяжкие стеснения души и тела. Иначе почему так случилось, что комендантом дальнего сибирского лагеря, куда этапировали после суда трибунала бывшего полковника, оказался не кто иной, как его бывший в военные годы адъютант, ныне — капитан и начальник лагпункта с двумя тысячами заключенных, в основном проштрафившихся военнотружущих.

Не успел Илизар после развода вновь прибывшего пополнения положить свой вещмешок на свободные нары в отведенном ему бараке, как вошедший вертухай велел следовать за ним «с вещей». Эки многозначительно переглянулись: выдать новичок успел что-то на этапе натворить, раз сразу в БУР* потянули...

Бывший адъютант, впрочем, не проявляя амикошонства, посочувствовал Илизару, но самое большее, что он мог сделать, это поставить экс-начальника почтарем, то есть на высшую придурочью эковскую должность. Поселился он сам-двое с помощником в отдельной комнате при почте, вдали от барачных, ближе к лагерной администрации, столовался с лагерной аристократией: поварами, фельдшерами больнички, бывшим доцентом, учившем грамоте и счету малолетних детей начальника лагеря.

Мать язвительно заметила, что другие посылки в лагерь посылали, а Илизар из лагеря слал в калужскую деревню своей бедствующей семье. Николай же подумал, что не так уж Илизар, водя дружбу с поварами, и сильно объел две тысячи заключенных, зато семью от голодной смерти спас и сохранил. Не говоря уже о самом Илизаре, который, отбухав полный срок, не выдает себя, как другие, за жертву «сталинских репрессий» и по сей час работает горновым на металлургическом заводе, льгот себе всяческих не ищет...

Уже затемно, когда баня растопилась и согрелась, попарились в две смены: сначала мать с младшими, потом мужики и Николка.

* БУР— бригада усиленного режима, то есть коллективный карцер с выводом на работы.

Поздний ужин Андреяна с Илизаром (ребят покормили пораньше) прошел весело, под «зубровку». Гость не уставал хвалить баню, тушеную в картошке птицу из «Красной книги»; мысленно уносился в спроектированное им будущее, представлял их скорую соседскую жизнь в Туле: «Вот выйду я поутру в свою половину сада, крикну: «Андреян! Выходи водку пить!» А ты — ко мне в беседку. Вокруг яблоки наливные ветки оттягивают, вишни у меня уже плодоносят, груша и слива есть, крыжовник и другие кусты разрослись... Хорошо, понятно, здесь у вас, но ведь всю жизнь за полярным кругом не проживешь?»

Николай блаженно — после бани — засыпал, а младшие уже пару часов как дрыхнули.

♦ Все сбылось, как и загадал Илизар: через несколько лет, в год окончания Николкой школы, семейство Андреяна перебралось в Тулу. Первым, сразу же после выпускного вечера, прибыл туда Николка — готовиться к поступлению в тамошний технический институт. А ранней осенью, когда он уже проходил курс молодого бойца-студента на уборке свеклы и картошки в глубинном колхозе рядом с мелеющей речкой Непрядвой, приехали со всем скарбом и остальные — прямо в новоотстроенную половину дома на индустриальной окраине города, завершать которую Николка помогал Илизару в перерыве между повторениями школьных предметов и сдачей экзаменов. Впереди ждала его и младших новая жизнь, новые люди, новые знания...

А те давние каникулы остались в памяти как необычайно светлое пятно в сумраке полугодовой полярной ночи, видно, Илизар был из тех истинно русских людей, которых даже в самой обыденной жизни принято называть богатырями духа.

Но на фоне этого-то самого светлого пятна и что-то неуловимо тревожное, долгое ожидание неизбежного, непонятного, страшющего поселилось в совсем юной душе. Виной тому стал, как намного позже понял Николка, точнее уже Николай Андреевич, случайно услышанный разговор-монолог Илизара с Андреем.

Потребовалось Николке обработать малую железку для очередной подделки и пошел он на маяк, где отец нес дневную вахту. Туда же часом раньше ушел прогулки для и Илизар. Взяв у отца ключи от мастерской-подсобки, Николка занялся своим делом, которое спорилось и вскоре завершилось. В машинном зале никого не было, поэтому Николка с ключами поднялся на открытый мостик, что на самой верхушке башни маяка галереей опоясывал три ее наружные стены. Выбрался на мостик и замер в невольном восторге. С высоты маяка и без того стоявшего на верхушке сопки чудесная, хоть и бесконечное число раз виданная картина развернулась

перед ним: сквозь высоко летящие на свинцово-синем небе мрачные, темно-пепельные тучи временами показывалось низкое солнце — со стороны материкового берега. А опустив глаза с неба, видел Николка застывшую картину... нет, не картину, на тех всегда выписана перспектива, а здесь была настоящая икона: прямо от берега их острова, что в двух десятках шагов от маяка, уходила вдаль и чуть поднималась вверх доска этой самой иконы. Нарисованы было на ней замершая, иссиние-черная вода залива, расширяющая заснеженные скалистые берега по мере выхода к полярному морю. Белыми шапками рассыпались по этой воде островки. На дальнем расстоянии смотрелись неподвижными и корабли, спешащие по своим делам: сухогрузы и рыбацкие сейнеры, распластавшаяся подводная лодка и словно парящий над гладью залива эсминец с гордо поднятым форштевнем... Дух захватило у Николки от этой, рукой Верховного мастера написанной величественной и суровой иконы...

Солнце в очередной раз нырнуло за тучу, икона помрачнела, насупилась, а Николка явственно расслышал слова Илизара: они с Андреяном стояли за углом маячной башни на том же мостике.

— ...Конечно, заводы уральские, Днепрогэс, Кремль и Исаакий — красиво и мощно смотрятся, но ведь только здесь, на краю света понимаешь всю державную силу создателей государства в стране, которую я, да и ты в малолетстве, застал еще лапотной и неграмотной.

Ведь еще каких-то тридцать лет назад здесь ни души не было, ни единого оконного огонька ночью; даже рыбацкие шнявы только летом и можно было увидеть. Пустыня каменистая и дикая! А сейчас вот мы с тобой здесь стоим, в заливе круглосуточно корабли и суда теснятся, города стоят, в каждой губе — база военно-морская, жизнь кипит не хуже, чем в центре страны. По радио сейчас модное слово все талдычат: цивилизация и цивилизация! А вот она, настоящая цивилизация советская, русская: мощная, военная, трудовая...

— Ты, Илизар, не хуже политработника речи научился двигать, — усмехнулся Андреян.

— Жизнь заставила. А здесь, кроме как высоким штилем, и не скажешь. Я вот радуюсь, восхищаюсь — но и грущу. Непокойно мне за будущее, слишком все хорошо в жизни наладилось, а так вечно не бывает.

— Это ты об Америке, о кубинских делах?

— Так... обо всем. Ты, Андреян, счастливой жизнью почти четверть века живешь, как судьба сюда занесла: несмотря на войну, неустроенность полуказарменной жизни, голые скалы и полугодовую ночь. Потому как здесь царство бога Марса, где начальство за тебя отвечает, а воинская дисциплина упрощает жизнь. Да и лишних людишек здесь нет — лишних по подлости, по воровству, по болезненности наконец.

Но ты-то ладно, за половину жизни уже прожил, а вот ребятам твоим будет трудно, когда попадут в иное течение на большой земле. Переустраиваться тяжело, ох, тяжело им будет! И что-то у них впереди? Дело все, Андреян, не в Америке. Америку и все эти европы с азиями мы сейчас наследством Иосифа Виссарионовича с его пятилетками, заводами, ракетами и бомбами атомными, а главное — народом образованным и трудолюбивым, за глотку твердо держим: не шелохнутся против нас. Как-никак полумиром владеем! Дело все в людях, увы...

В каком-то смысле и весь наш народ, особенно два последние поколения, что после революции на свет появились, в таком же отчуждении от действительности живут, как ты вот здесь. Отвыкли опасаться чего-либо и кого-либо. Расслабились душой, посмеиваются над предупреждением Вождя, а ведь он страшные в своей правдивости слова сказал: «Классовая борьба будет нарастать по мере приближения к социализму». Только гениальный провидец мог до этого додуматься. Ну не зря же, как я в одной газете читал: подсчитали досужие архивисты, что в кремлевской библиотеке Сталина пятнадцать тысяч книг с его карандашными пометками!

А враг-то не дремлет; я имею в виду не кого конкретно, а того самого врага человечества, что церковники Антихристом зовут (На девятом десятке лет жизни, уже проживая в Ленинграде, Илизар стал церковным старостой). Вот и нынешние хрущевские штучки, разоблачения эти всякие: ГУЛАГ, лагеря.. Мне-то, как побывавшему в этих самых лагерях и по ту, и по эту сторону, так сказать, лучше знать. Многих, может быть и напрасно туда засадили, а вот еще более многих напрасно туда не заслали! Они же и подставляли вместо себя маловиноватых. Такие затаились. Ждут своего часа — не сами если по старости, то через детей и внуков своих, которым через кровь передали ненависть к равенству и жадность к деньгам и власти. Вот и боюсь, что еще одна-две встряски типа нынешней — и прогнет власть, а ее- то уже надежно подхватят эти самые сыновья и внуки.

Эк, разговорился, — Илизар хохотнул и говорил уже в шутиливой своей манере, — я тут четвертиночку прихватил, на море спокойно, тумана нет, снег сегодня не пойдет, так что бдительность свою стопкой не ослабишь! Пойдем-ка в помещение.

Николка услышал хлопок двери, что вела с мостика в помещение смотровой рубки, выждал пару минут и вошел следом — отдать ключ.

♦ Верный друг Николки и утешитель, подсказчик и веселый фантазер — его сон в эту ночь и вовсе огорчил. Снился сон, о котором он на утро забыл, но вспомнил тридцать лет спустя. Привиделась давешняя древняя картина-икона, которой он восторженно любовался на мостике маяка. Но застывшая икона вдруг пришла в движение: гулко бухавшая дизелем

подводная лодка, чем-то подтолкнутая снизу, из глубины вод, гигантской играющей рыбиной выпрыгнула, переломилась надвое и ушла навечно в глубину; торговые суда вмиг покрылись ржавчиной неустроенности и на глазах рассыпались; сейнеры, шедшие в Мурманск с уловом трески, получив команду по радио, резко повернулись и потянулись к выходу из залива: повезли продавать за бесценок рыбу норвежцам, а красавец эсминец, шедший в океан на боевое дежурство, застопорил ход и поднял флаги расцвечивания. Вышедший из-за угла маячной башни Андреян, бывший флотский сигнальщик, поднес к глазам бинокль и вслух прочитал: «Приказано сдать эсминец на утиль. Погибаем, но не сдаемся!»

Бинокль перенял Николка и со слезами смотрел, как медленно тонет корабль с открытыми кингстонами, команда в парадной форме одежды, офицеры с кортиками — стоит по стойке смирно, а безветренный воздух донес до острова слабые, еле уловимые голоса моряков, поющих «Варяга».

Налетел на тихую и спокойную картину-икону ураган, небо закрылось черным сплошным тучами, завывало, загрохотало, море опрокинулось на небо, а по нему носились какие-то рожи, отягченные всеми пороками, рогатый дьявол, сыпя искры, хохотал во всю глотку, развязал свой заплочный мешок, из которого с восторгом посыпалось на мир войско Антихриста: с каиновыми отметинами на лице, с одутловатыми пьяными харями, с щетинистыми бородами, с усами и без них, сонмы коротеньких пузатых генералов в натовской форме. А над всеми ними, паря на вонючем, изрыгающем нечистоты, грязном и облезлом облаке, плясала и пела старая патлатая ведьма...

Однако наступившее утро, быстро перешедшее в полдень, было великолепным, с зависшим над горизонтом багровым солнцем, легким морозцем, предвещавшим обильный и пушистый снегопад. Этот светлый день в полярную ночь сбил воспоминания дурного сна, Николка забыл о нем на целых тридцать лет. Эти-то долгие годы он радовался жизни.



С ЛУКОШКОМ ПО ЯГОДЫ И НЕЧТО О РЫБЬЕМ ЖИРЕ

*Какое лето, что за лето!
Да это просто колдовство —
И как, прошу, далось нам это
Так ни с того и ни с сего?*

Ф. И. Тютчев

◆ В конце июля этого года установилась невыносимо жаркая для наших мест погода: ясная, чистая, без намека на дожди. Казалось, даже ночное незаходящее солнце полярного дня согревает холодный край, низко вися над далеким горизонтом.

Семейство Андреяна в этом сезоне ездило в калужскую деревню рано — с конца мая до середины июля. Так график отпусков отвел. А так как до школы оставался еще целый август и неделя оканчивающегося июля, то лето для Николки неимоверно растянулось, особенно-то после калужских впечатлений: жизни в отцовской деревни, где половина жителей — родственники, поездок в Калугу, где несколько крепких домиков в Подзавалье, откуда открывался великолепный вид на пойму реки Яченки и дальний лес, тоже заселяли родственники отца, а главное — купания в полноводной Угре и целодневного загорания на ее песчаных берегах...

Ах, какое выдалось лето!?

С вечера Николка собрался было идти на рыбалку с полночи в присмотренное место на небольшом мыске за зданием маяка, но уже на улице, с удочкой через плечо, был остановлен матерью, шедшей от сарая — ходила кормить коз:

— Давай-ка возвращайся да спать ложись, Федоров моторку дает, завтра на тот берег залива пойдем за черникой и морошкой.

Вот это да! Николка присвистнул, развернулся, отнес удочку в кладовку в маячном доме. Понимая, что заснуть в одиннадцать вечера все равно не удастся, Николка забежал в свою квартиру, взял книжку «Детство в Уржуме» о Сергее Мироновиче Кирове — из числа рекомендованных в школе на летнее чтение (Николке в сентябре предстояло идти в четвертый класс), отрезал от буханки горбушку и еще кусок, положил на них по ломтю вяленой трески и ушел на мостки, полуопоясывающие маячный дом, присел на ступеньки лестницы, ведшей от мостиков вниз, к продуктовому складу, раскрыл книгу и не заметил как пролетела пара часов. Теперь в сон все же потянуло, поднялся и пошел домой.

Броде только голову на подушку положил, а уже мать трясет за плечо:

— Вставай, Федоров с Седалиным уже моторку к причалу подогнали, Улита с Седалиной нас ждут на улице (Улита — маячное, «заглаза», прозвище Федоровой жены).

Встать с постели, особенно если лег в час ночи, тяжело, когда сам просыпаешься, но если тебя решительно будят, то дело вовсе иное. Словом, через пару минут одетый Николка, жуя на ходу пирог с палтусом, выскочил вслед за матерью из дома. Понятно, что младших она с собой не взяла. И Седалина захватила тоже только старшую Катю.

♦ Большая маячная моторка, на которой обычно ходили в Полярный, а в хорошую летнюю погоду какая-либо из островных семей — в гости на соседний маяк: Седловатый, Ретинское, Палогубский (семья Андреяна уже успела пожить на всех трех), управляемая Седалиным, застучала мотором и, огибая по правому борту северную оконечность острова с высоко стоящим маячным домом и пониже, у основания выдающегося в море зданием маяка, взяла курс на дальний отсюда правый же берег Кольского залива. Снизу, от воды маленькой фигуркой смотрелся Федоров, поднимавшийся от причала по деревянным мостикам к маячному дому. С мостика же маяка пару раз махнул рукой Андреян — его вахта была сегодня дневная.

Седалин, как и положено старшине моторки, сидел на кормовой банке. Под правой рукой у него, прижатая локтем, находилась рукоять (леер пофлотски) руля, а левой он что-то подкручивал в моторе, принайтованном к низкой площадке днища в кормовой части шлюпки, так что Седалину приходилось растопыривать ноги в матросских яловых сапогах справа и слева от размеренно стучащего мотора...

На двух средних банках разместились мать Николки, Улита, Агриппина — жена Седалина с дочерью, а сам Николка занял почетную носовую площадку, свесив с нее ноги, а сам изогнувшись лицом по ходу моторки,

опершись правым локтем о борт. Шлюпка шла на набравших оборотах мотора полным ходом, так что нос частенько и вовсе нависал над гладью воды. Николка же с приятностью качался. Хотя и отмечено, что килевая качка намного неприятнее бортовой, но в здешних местах про морскую болезнь не слыхали.

Остров быстро уменьшался, а его очертания сливались со следующим за ним Екатерининским островом, а тот и вовсе со стороны залива неотличим от материкового берега. Николка вновь развернулся по курсу, тем более, что курс этот явно пересекал ходко шедший на выход из залива эсминец, а со стороны моря неспешно двигался рыболовецкий сейнер. С военным кораблем не шутят, поэтому, прикинув расстояние и скорости, Седалин сбросил обороты до минимума, нос моторки упал в воду. Через четверть часа всего в паре-тройке кабельтовых невероятно высокий прошел эсминец, подобранный, с изящно изогнутым фарштевенем, с трубами торпедных аппаратов по бокам палубы, со стволами пушек и кассетами установок реактивных снарядов.

— Да-а-а,— протянул Седалин, переключив руль и устанавливая шлюпку строго перпендикулярно крутым волнам, шедшим от следа прошедшего эсминца,— хороший флот у нас стал, океанский, а в войну только и были, что миноносцы, от царя еще оставшиеся, тральщики минные да фанерные ленливовские торпедные катера. Но и с ними воевали на славу! На подлодках и держались в основном.

Моторка закачалась на волнах, нос зарывался так сильно, что лицо Николки близко приближалось к волнам и он чувствовал холод и йодистый запах воды. Однако качание на волнах закончилось, Седалин раскопчил мотор, шлюпка понеслась, не дожидаясь уже тихоходную рыболовецкую посудину к приближающемуся высокому скалистому берегу. Но в километре-полуторе от него моторка опять попала по курсу наперерез — на этот раз стае касаток. Если бы Николка не знал, что эти киты-хищники, которые своими полутораметровыми костяными хребтами-пилами перерезают настоящих гигантов-китов, крайне осторожно относятся ко всем другим плавающим на море предметам, то было бы от чего смертельно перепугаться. А рыбины эти, каждая размером с их шлюпку, сверкнув над гладью воды своими светло-синими брюхами по правому борту, с плеском ушли в глубину и только через несколько минут, уже метрах в ста слева, мелькнули вновь их хвосты. Более их курс до самого берега никто не пересекал.

◆ По мере приближения моторки к берегу Николка недоумевал: куда будем причаливать? — И прямо, и слева, и справа, как виднелось, берег бурыми отвесными скалами поднимался вверх на сотню с лишним метров,

вырастая из воды. И Седалин что-то засомневался, мотор прикрутил до самых малых оборотов, рулем брал вправо-влево, внимательно всматриваясь в отвесные скалы.

— Ага, вспомнил,— обрадовался он и резко взял вправо, а через четверть мили, обогнув выступавшую в залив скалистую косу, ввел моторку в малоприметную, узкую губу все с такими же высокими и обрывистыми гранитными берегами. Вдобавок губа извивалась почище змеи, Седалин и на самом малом ходу едва успевал перекладывать руль, а Николка потерял счет этим изгибам, поэтому ахнул от удивления и восторга, когда за очередным поворотом от моторки вдруг резко убежали вправо и влево неприступные, дикие скалы, открыв внутренний залив размером с хорошее озеро. Скалы не только ушли по сторонам, но превратились в обычные береговые сопки, очень пологие, поросшие березками, густым кустарником, перемеживаемые полянками, синевшими северным цветком колокольчиком. Местами берег и вовсе был песчаным. Вот в такой песчаный берег и ткнулась носом моторка. Николка выпрыгнул первым, не забыв захватить моток тонкого причального троса.

Когда все выбрались из моторки на гостеприимный берег, Седалин, Николка и женщины, ухватив цепко трос, вытащили шлюпку на песок на полкорпуса. Седалин поискал глазами, нашел подходящий камень и, обмотав его, зацепил трос: со здешним приливом, особенно в узкой губе, шутить нельзя.

Николка пока осматривался и с удивлением обнаружил в метрах двадцати от их стоянки что-то похожее на проторенную дорожку, хотя и не очень ухоженную, скорее широкую тропу, извивавшуюся между каменистыми выступами и неподъемными валунами. У воды тропка эта заканчивалась невысоким, естественным каменным приступом-причалом.

— Смотрите, дорога! А куда она идет?

— Вот пойдешь по ней и узнаешь,— заухмылялся Седалин,— ну что ж, заблудиться здесь не заблудишься — хоть на километр, хоть на два поднимайся в гору, все одно залив как на ладони будет. Так что равномерно разбредитесь кто куда, не путайтесь под ногами, а ягод всем хватит. Пошли!

♦ Черника, любимая северная ягода, росла, конечно, и на их острове, и на соседнем Екатерининском, но у себя ее объедали маячные ребята, Николка тоже, солдаты с зенитной батареей и матросы с поста, тогда еще располагавшихся на Большом Оленьем. А на Екатерининском хозяйничали городские — из Полярного. Здесь же заросли ягоды начинались в нескольких метрах от берега. К тому же здесь росла и кустилась костяника, которой на их острове не водилось.

Женщины принялись собирать чернику и костянику прямо от берега, а Николка, взяв свое ведро и грабилку*, пошел исследовать: куда ведет дорога? Дорога же резко взяла в гору, затем через небольшой перевал пошла вниз, но уже в густом кустарнике, выше Николки, так что видел он только тропу перед собой, а перевал позади уже закрывал и залив.

Но закончился и кустарник, а дорога далее спускалась в котловину, посередине которой изумленный Николка увидел... гигантскую бочку высотой с трехэтажный дом и с соответствующим диаметром. Тем не менее, это была стократ увеличенная копия обычной бочки, только изогнутые доски ее вытесаны из бревен, а обручи, как рассмотрел подошедший к бочке Николка, сделаны из стальных полос шириной с четверть метра и толщиной в два пальца.

Еще на подходе он начал вертеть носом от странно знакомого липкого запаха, а подняв глаза, увидел над бочкой черную тучу мух, их была тьма, а слитное жужжание напоминало прибой при беспокойном море. Временами подлетали несколько чашек, что-то выхватывали сверху из бочки и уносили в клювах. Запах вблизи оказался невыносимым, тошнотворным. Николка, пока рассматривал чудо-бочку, зажимал нос. Потом и вовсе отошел, все недоумевая: что за черт! Так ничего и не придумав, вернулся на перевал, свернул вправо от дороги, вскоре нашел поросшую черникой поляну и принялся за дело.

Дело спорилось. Через полтора часа, перейдя на третью по счету поляну, Николка заполнил ведро. Судя по солнцу, до общего сбора на берегу оставалось времени достаточно. Оставив ведро на приметном камне посередине поляны, Николка налегке быстро поднялся на сопку, нашел плоский, размером с хороший стол, нагретый солнцем камень, снял телогрейку, вытащив из кармана сверток с едой, расстелил ее и полуприлег. Развернув газету, с аппетитом приступил к обеду, неспешно откусывая от большого ломтя хлеба с копченым салом и вяленой треской.

♦ Чудесную картину видел поуставший от собирания черники Николка со своего теплого камня: прямо под ногами, глубоко внизу высвечивали косые солнечные лучи круглый заливчик с темневшей на песчаной полосе берега моторкой; подняв глаза повыше, за грядой прибрежных сопок он видел Кольский залив во всей его ширине — близко уже к выходу в море, и на противоположном его берегу различил и свой остров, отсюда — сливавшийся с берегом. Даже белое маячное здание крохотно, но четко вид-

* Это то, чем в тех местах собирают чернику, бруснику, клюкву — то есть низкорастущие ягоды; представляет собой кузовок с ручкой сверху, одна боковая стенка которого удалена, а в этом месте в торец днища вставлены металлические прутки с заостренными свободными концами.

нелось. С пару минут, напрягши глаза, Николка всматривался в него — и вот ярко блеснуло — это значит, что несущий дневную вахту его отец задал профилактику вращающемуся маячному фонарю с рубиновыми граничными стеклами. Тепло стало на душе — как и всякому человеку, наблюдающему за родным домом издалека.

Казалось, что залив в этот летний полуденный час вымер, но вот слева, тихо и крадучись под самым берегом, появилась подлодка; все громче и громче стучал ее дизель; лодка приближалась к траверсу этой маленькой губы. А навстречу ей, но по середине залива, со стороны моря потянулся здоровенный сухогруз под греческим флагом: явно в Мурманск за аппатитовым концентратом — удобрять свои греческие оливки или что там у них растет?

Вот из-за Большого Оленьего, отсюда прикрывавшего выход из Екатерининской гавани Полярного справа и слева, выскочил сторожевик и деловито взял курс вроде как на выход в море, но придерживаясь своего, левого берега. Значит после прохода Седловатого свернет влево, в бухту Ягельную — на 4-ю точку, где атомные подлодки, только-только появившиеся у нас и американцев, базируются. Много чего знал Николка в свои одиннадцать лет! И в страшном сне ему тогда присниться не могло: пройдет сорок лет, будут у пирсов в Ягельной ржать еще оставшиеся на плаву стратегические атомные подлодки, а вся «демократическая общественность» с остервенением станет защищать от трибуналов Северного и Тихоокеанского флотов предателей с погонами капитанов второго ранга...

И сине безоблачное небо (доев, Николка с наслаждением растянулся на телогрейке) не скучало без людей: со стороны Мурманска набирал высоту аэрофлотовский лайнер — в сторону моря, значит, рейс «Москва — Гавана», опять же только что открытый. А вот сразу два дальних бомбардировщика полетели на свое неблизкое дежурство явно с аэродрома Сафоново. Навстречу же им с Рыбачьего неспешно и на малой высоте шел старинный торпедоносец с характерными, одному ему присущими крыльями: в форме двуручной пилы с выгнутой стороной назад.

Устав смотреть на оживленное небо, Николка повернулся на бок, перевер ладонью голову. Здесь его внимание привлекло нечто, а именно белесое пятно метрах в пятидесяти: тонкий слой торфа был содран неведомой силой, а гранитный монолит как теркой алмазной продраян. Поломав голову, Николка таки сообразил что к чему.

...Прошедшей зимой, прибыв под самый Новый год на каникулы, Николка с удивлением обнаружил: все окна в маячном доме, в солдатской казарме были крест-накрест заклеены полосами бумаги — как в фильмах о войне. Кое-где в маячном доме хозяйки уже успели эти полосы смыть. Здесь Николка вспомнил, что по дороге мать говорила о учебных стрель-

бах зенитной батареи. Про заклеенные окна она сказать забыла, впрочем, Николка знал для чего это делается.

— Оглохли мы тут совсем, ведь всю неделю палили: день и ночь !

Тогда Николка сообразил — откуда неслась канонада в последние дни, хорошо слышная и в Полярном.

Вечером отец, пришедший с вахты, рассказал: стреляли не в небо, а плашмя — через залив по безлюдным сопкам на другом берегу. Как пояснил отец, ухмыляясь, стреляли не на меткость, а чтобы солдаты не отвыкали от обращения с зенитками, главное — сроки хранения снарядов, чуть ли не с войны, вышли; вот и учение придумали: лучший способ избавиться от них.

Николке стало зябко, он поежился на двадцатиградусной жаре. Здесь это жара.

♦ Задремал незаметно, а проснулся от дальнего хлопка. Открыл глаза и увидел делающего в воздухе дугу зеленую ракету — условный сигнал к общему сбору из ракетницы, захваченной с собой Седалиным.

Николка накинул телогрейку, спустился на полянку, взял свое ведро и тем же путем, мимо гигантской бочки, над которой бесновалась уже целая стая чаек и чириков, вернулся на берег. Пока подтягивались остальные, Седалин объяснил ему: в бочку эту с весны загружают с сотню тонн тресковой печени, что привозят баржой с мурманского рыбокомбината. Все лето печень дает рыбий жир, который вытесняет кверху бочки вытопленные печеночные шкварки, которые под солнцем образуют корку, по которой дождевая вода стекает на внешние стенки бочки. Осенью приходит другая баржа, с цистерной. Протягивают до бочки шланг, выбивают затычку, вставляют концевик шланга и весь жир скачивают в цистерну. Потом, уже на фабрике, жир очищают и используют на всякие аптечные и иные дела. Такие бочки по многим тихим местам расставлены — подальше от чувствительных носов.

— А почему печенки эти прямо на рыбозаводах не вытапливают, как вот мать ее на сковородке жарит: быстро и без хлопот.

— Э-э-э, это дело тонкое. Здесь процесс идет естественный, поэтому жир сохраняет свои полезные свойства, а только такой для медицины годится. А в печах тоже топят, но — для всяких технических дел. Ну, вот и бабы идут, пора уже, дело к вечеру, а мне в ночную отца твоего менять.

На обратном пути им встретились только неугомонные касатки. На этот раз они шли своим кильватерным строем параллельно с моторкой, потом им это наскучило и они свернули в сторону моря.

Остаток дня Николка провел деятельно, а засыпая в первом часу светлой ночи, подумал: вот почему все дети, он в их числе, в дошкольном возрасте с таким отвращением глотают утреннюю ложку рыбьего жира.

ПРИМЕЧАНИЯ

«*Души на островах*» — рассказ впервые был опубликован под названием «На островах» в книге: Яшин А. А. На островах: Рассказы; Повесть.— Тула: Приок. кн. изд-во, 1987.

«*Прогулка с переправой*» — рассказ впервые был опубликован в книге: Яшин А. Трамвайное кольцо: Современный городской рассказ.— Тула: «Тульский полиграфист», 1999.

«*Серебряная ложка*» — рассказ ранее публиковался в изданиях: Яшин А. А. В конце века: Роман. Рассказы о конце века.— Тула: Петровская акад. наук и искусств (Тульск. отд-ние). Изд-во «Тульский полиграфист», 2001; Яшин А. Серебряная ложка (Рассказ-быль) // В кн.: Прикосновение: Лит.-художеств. альманах.— Тула: «Гриф и К°», 2002.

«*Каникулы с продолжением*» — рассказ ранее публиковался в изданиях: Яшин А. А. В конце века: Роман. Рассказы о конце века.— Тула: Петровская акад. наук и искусств (Тульск. отд-ние). Изд-во «Тульский полиграфист», 2001; Яшин А. Каникулы с продолжением: Отрывок // В кн.: Тула литературная / Сост. В. Ф. Пахомов.— Тула: Издат. Дом «Пересвет», 2001.

«*Совесть союзника*» — рассказ ранее не публиковался; датируется 12 августа 2001.

«*Покушение на члена правительства*» — рассказ ранее не публиковался; датируется 19 августа 2001.

«*Урок классовой борьбы*» — рассказ ранее не публиковался; датируется 30 августа 2001.

«*Десант с подводной лодки*» — рассказ ранее не публиковался; датируется 7 октября 2001.

«*Когда усталая подлодка...*» — рассказ ранее не публиковался; датируется 22 декабря 2001.

«*Гости на севере*» — рассказ ранее не публиковался; датируется 9 декабря 2001.

«*С лукошком по ягоды и нечто о рыбьем жире*» — рассказ ранее не публиковался; датируется 5 января 2002.

ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора.....	5
Души на островах.....	7
Прогулка с переправой.....	27
Серебряная ложка.....	40
Каникулы с продолжением.....	65
Совість союзника.....	85
Покушение на члена правительства.....	108
Урок классовой борьбы.....	125
Десант с подводной лодки.....	154
«Когда усталая подлодка...».....	182
Гости на севере.....	202
С лукошком по ягоды и нечто о рыбьем жире.....	233
Примечания.....	240

Алексей Афанасьевич ЯШИН

Тяжело дышит синий норд

Северные рассказы

Литературно-художественное издание

Авторское редактирование, корректура
и художественное оформление

Компьютерный набор О. А. Седова, А. К. Мелентьева
Компьютерная верстка С. В. Никитин

ЛР № 040905 от 22 июля 1998 г.
ПД № 00188 от 3 декабря 1999 г.

Подписано в печать 01.06.2002. Формат бумаги 60х84 1/16.
Бумага типографская №2. Офсетная печать. Усл. печ. л. 13,2.
Усл. кр.-отт. 13,2. Уч.-изд. л. 16,8. Тираж 200 экз. Заказ №

Отпечатано с оригинал-макета в Государственном
унитарном издательском полиграфическом предприятии
Тульской области «Тульский полиграфист».
300600, Тула, ул. Каминского, 33